

# СИБИРСКИЕ ОГНИ



Литературно-художественный  
и общественно-политический  
ежемесячный журнал

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:  
Правительство Новосибирской области

Редакционная коллегия:

Б. Л. Аюшеев (Улан-Удэ)  
А. Б. Байбородин (Иркутск)  
Б. Я. Бедюров (Горно-Алтайск)  
Т. Г. Четверикова (Омск)  
Б. С. Дугаров (Улан-Удэ)  
А. В. Кирилин (Барнаул)  
Э. И. Русаков (Красноярск)  
В. Н. Сероклинов (Новосибирск)  
А. Б. Шалин (Новосибирск)  
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)  
Н. М. Закусина (Новосибирск)  
Е. Ф. Мартышев (Новосибирск)  
А. Ф. Косенков (Новосибирск)  
В. С. Никифоров (Новосибирск)  
Виталий Сероклинов (зав. отделом прозы)  
Станислав Михайлов (зав. отделом поэзии)  
Владимир Титов (ответственный секретарь)  
Михаил Косарев (зав. отделом критики)  
Марина Акимова (зав. отделом публицистики)

Главный редактор: М. Н. ЩУКИН

**10 октябрь 2014**

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА

<b>Михаил ЧВАНОВ. Серебристые облака. Роман-реквием.</b> .....	3
<b>Сергей КРУЧИНИН. Патерик говорящего скворца.</b> Документальная повесть. ....	56
<b>Нина ВЕСЕЛОВА. Музы. Рассказы.</b> .....	95

### ПОЭЗИЯ

<b>Василий КОВАЛЕВ. Горький воздух. Стихи.</b> .....	53
<b>Пётр МОРЯКОВ. «Сто рек и радуг за плечами...» Стихи.</b> .....	91
<b>Марина МАТВЕЕВА. Кино «Без тебя». Стихи.</b> .....	117

### ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

<b>Валерий ТАРАСОВ. Три судьбы. Документальное исследование.</b> .....	121
<b>Геннадий АГАМАНОВ. Мои родные старoverы.</b> .....	148
<i>Народные мемуары</i>	
<b>Дмитрий НЕЧИПУРЕНКО. Воспоминания.</b> .....	169

### КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

<b>Татьяна ЛАПТЕВА. О поэзии Станислава Золотцева.</b> .....	181
<i>Книжная полка</i>	
<b>Михаил КОСАРЕВ. Без пафоса и романтики.</b> .....	188
<b>Владимир КУНИЦЫН. «Очарованный странник» Ферамон.</b> .....	189

<i>Авторы номера</i> .....	191
----------------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г. Главный редактор, директор-руководитель ГБУ «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

# СЕРЕБРИСТЫЕ ОБЛАКА

Роман-реквием

Многими скорбями надлежит  
нам войти в Царство Божие.

*Деян. 14, 22*

Не хочу же оставить вас, братия,  
в неведении об умерших, дабы  
вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды.

*1 Фес. 4, 13*

## Жизнь еще при тебе, но почти уже без тебя...

Я уже неделю жил в Париже...

Говорят: «Увидеть Париж — и умереть!» В другое время я, может, был бы счастлив, что, раньше даже не мечтая о нем, вдруг оказался в Париже. Но сейчас я не испытывал ни капли радости оттого, что нахожусь в Париже. Я не чувствовал с Парижем никакого родства, его красота не трогала мою душу, она была для меня чужой, холодной, даже мертвой. В своих прежних дорогах по другим странам, если не сразу, то через какое-то время, я чувствовал если не родство, то какую-то душевную близость с городами, в которых оказывался, с Софией, Римом, Варшавой, Краковом, о Белграде особый разговор... Разумеется, с красавицей Прагой, хотя Прага в моем сознании, вопреки разуму, существует как бы отдельно от братьев-чехов. Я знаю, что не прав, нельзя судить прямолинейно-односторонне, но я не могу простить их неоднократного предательства, начиная с нашей Гражданской войны, которую они практически спровоцировали, когда, пленными солдатами кайзеровской Германии оказавшись в России, где к ним относились как к братьям-славянам, повели себя в поверженной революцией стране практически как оккупанты, ничем, пожалуй, не уступая в мародерстве немцам в Великую Отечественную войну. Я не могу им простить, что за возможность втихую вывезти российский золотой запас они сдали большевикам Колчака и потом безбедно на это золото жили до самой Второй мировой войны, не очень-то сопротивляясь гитлеровской аннексии, и две трети танковых армий, брошенных Гитлером на Россию, были изготовлены на чешских заводах. Еще много чего я не могу им простить. Так что прекрасная Прага существовала для меня как бы сама по себе, а чехи, словно тараканы в ней, сами по себе. Конечно, я не прав, потому что и мы по отношению к ним не всегда вели себя по-родственному, достойно, но ничего не могу с собой поделать. Не найдя в Праге путеводителя на русском, я купил на немецком, в списке достопримечательностей прежде всего почему-то перечислялись многочисленные синагоги. Я находил родство даже с Дамаском,

в котором оказался в разгар американских бомбардировок Ирака: в стремительно сгущающихся сумерках, вглядываясь в силуэты минаретов на закатном небе, я совсем не как в чужие вслушивался в перекликающиеся голоса муэдзинов. Но с Парижем я не чувствовал никакого душевного родства.

И с самими французами, например, в отличие от итальянцев, я не чувствовал никакого душевного родства, впрочем, французов в Париже я почти и не видел. По крайней мере, в районе, в котором я жил, настоящих французов было меньше, чем негров и арабов, которых несколько разбавляли туристы да редкие странники вроде меня, мечущиеся по Земле и не находящие себе на ней места. А если встать пораньше, то вообще можно было подумать, что ты не в Париже, а где-нибудь в Африке или на Ближнем Востоке.

Спал я плохо, можно сказать, что вообще не спал, потому что измученной душой был далеко от Парижа, и потому вставал очень рано и выходил в город, в котором, как я уже говорил, в эти часы сновали, словно муравьи, одни только негры и арабы: рабочие коммунальных служб, ночных кафе и ресторанов, мусорщики... Я смотрел на еще сонный город со знаменитого Монмартра, недалеко от которого жил, и даже начинал чувствовать нечто вроде родства с Парижем, пока не вылезала из тумана эта самая Эйфелева башня, являющая собой яркий пример того, как с помощью назойливого пошлого пиара можно всего лишь за несколько десятилетий изменить понятие о красоте у целого народа, если не сказать — у всего мира, когда символом древнего, наверное, на самом деле прекрасного города становится нелепое подобие нефтяной вышки или гигантской высоковольтной опоры линии электропередачи...

### Жизнь еще при тебе, но почти уже без тебя...

Давно живущий в Париже, — нет, не как потомок несчастных русских беженцев в Гражданскую войну, а как международный сотрудник ЮНЕСКО, — и, разумеется, влюбленный в него, любезнейший Владимир Николаевич Сергеев вызвался показать мне ночной Париж. Полагаю, он специально готовился к этой поездке и, как только мы въехали в старый город, нетерпеливо спросил меня:

— Вы не будете против, если я включу Джо Дассена?

— Конечно, — сказал я, внутренне вздрогнув и напрягшись.

Разумеется, он включил «Если б не было тебя...». Он включил не что иное, как то, что сейчас особенно рвало мою душу, но откуда ему было знать об этом. Да еще взялся переводить мне на русский, а я из деликатности вынужден был скрывать, что знаю слова песни, что каждая строчка больно режет меня по сердцу: «Если б не было тебя, зачем, скажи, тогда б я жил? По земле я бродил бы, скорбя, без надежды и без крыл...» Эта песня всегда трогала меня, но до последнего времени я воспринимал ее отвлеченно, не принимая на свой счет.

А милейший Владимир Николаевич включал ее снова и снова, стараясь доставить мне удовольствие. Откуда ему было знать, что эта песня Джо Дассена сейчас имела ко мне самое прямое отношение, наполнялась самым прямым и жестоким смыслом? Я здесь, в Париже, если не в самом красивом, то, несомненно, в одном из красивейших городов мира, а дома у меня осталась, доживая последние месяцы, умирая от рака, жена, и я остаюсь один в этом все более непонятном для меня мире, со ставшими еще более тупиковыми вопросами: зачем существует он сам, этот мир, и зачем существую в нем я, зачем в нем существовала ты, когда все вдруг разом обрывается... И остаюсь я не просто один, я знаю, что оставшаяся жизнь будет для меня постоянным ощущением неискупимой вины перед тобой, хотя, наверное, я виноват перед тобой не больше, чем ты передо мной. Но зачем Бог из нас двоих оставляет на этом свете меня? В наказание? Впрочем, может у него на этот счет еще не все решено...

«Если б не было тебя, то для кого тогда б я жил?.. Я жив, пока ты есть...» — пел уже ушедший в мир иной Дассен, которого в России знают и любят больше, чем во Франции. Для французов это необъяснимая загадка, а объяснение этому, может, простое: в его песнях, о чем, скорее всего, он сам не подозревал, подспудно выразилось если не русское, то хотя бы российское происхождение его предков. Я видел, что Владимир Николаевич, наблюдая сбоку за моим бесстрастным лицом, если и не обиделся на меня, то был, мягко говоря, удивлен. Он ожидал от меня если не бурного восторга, то хотя бы какой-то реакции, какого-то слова, хотя бы молчаливой улыбки, а я, то и дело сглатывая спазмы, которые перехватывали горло, каменно молчал, тупо уставившись в лобовое стекло автомобиля, вернее, в асфальт перед ним, и совершенно не обращал внимания на окружающие дома, площади, соборы, фонтаны, я почти не слышал его... Да, своим поведением я, конечно же, обижал его. Но я почему-то не мог ему сказать, что эта песня, которую он включал снова и снова, имеет ко мне самое прямое и страшное отношение, что за тысячи километров отсюда медленно, но неотвратно умираешь ты, что ты еще у меня есть, но в то же время тебя уже нет. Но почему-то я не хотел, точнее, не имел права сейчас ему об этом сказать, чтобы не испортить его романтически-возвышенного настроения и чтобы мне не пришлось объяснять, почему в такую жуткую для себя пору я оказался здесь, в Париже, ведь я, по всему, должен быть в эти последние дни рядом с тобой. А он кружил и кружил по ночному прекрасно-холодному Парижу, снова и снова включая Дассена...

Все было бы, может, не столь жутко, если мы были бы счастливы друг с другом, если бы у нас были дети, внуки, если бы ты оставила свое продолжение на Земле, а ты уходишь из этой жизни безродной, не испытав счастья и горя материнства, и в этом была моя главная и страшная вина перед тобой, которой, я знаю, нет прощения...

### **Жизнь еще при тебе, но почти уже без тебя...**

Мой друг летчик-космонавт Виктор Петрович Савиных однажды подарил мне свою сугубо научную книгу «Серебристые облака», с подзаголовком «Взгляд из космоса». Принимая книгу, я еле сдержал свое волнение, сам факт дарения показался мне не случайным, даже мистическим, потому что название книги разбудило во мне дремлющие, но время от времени ярко и томительно вспыхивающие смутные воспоминания-ассоциации, душевные потрясения детства, связанные с этими самыми серебристыми облаками.

У меня даже защипало в глазах, зачастил пульс. Придя домой, я сразу же раскрыл книжку, отбросив в сторону все свои дела: «Серебристые облака были обнаружены в 1885 году почти одновременно Т. Бакгаузом в Киссингене 8 июня, В. Лаской в Праге 10 июня и московским астрономом В. К. Цераским 12 июня. Летней ночью 12 июня 1885 г. В. К. Цераский, возвращаясь домой из обсерватории, по привычке посматривал на небо и вдруг заметил над Пресней, там, где только что были звезды, яркие, с голубым отливом, призрачные облака. Они были настолько яркими, что блеск от них ложился на мостовую. В. К. Цераский назвал обнаруженное им явление ночными светящимися облаками. Впоследствии немецкий ученый О. Иессе дал им более поэтичное и, может быть, потому прижившееся название — “серебристые облака”. В. К. Цераский очень образно описал увиденное им: “Это настолько блестящее явление, что совершенно невозможно составить себе о нем представление без рисунков и подробного описания. Некоторые длинные, ослепительные серебристые полосы, перекрещивающиеся или параллельные горизонту, изменяются довольно медленно и столь резки, что их можно удерживать в поле зрения телескопа... Отличаясь видом от прочих облаков, они бросались в глаза, прежде всего, своим блеском. Облака эти ярко блистали в ночном небе чистыми, белыми, серебристыми лучами, иногда с легким голубым отливом...”

Бывали случаи, что от них становилось светло, стены зданий весьма заметно озарялись и неясно видимые предметы резко выступали...»».

Далее в книге Виктора Петровича следовало перечисление различных гипотез, пытающихся объяснить происхождение серебристых облаков, временами зависающих над Землей на высоте примерно 80 километров.

В первый раз я увидел серебристые облака (или обратил на них внимание), кажется, после смерти деда, которого любил, как мне казалось, даже больше отца и матери. Правда, тогда я не знал, что у этих облаков есть свое название, как не знал и того, что они являются в своем роде необыкновенными. В неизбывном детском горе своем, при живых родителях, когда у всех моих сверстников отцы не вернулись с войны, и я слыл среди них счастливым, поздним вечером, снедаемый отчаянием и одиночеством, я вышел за околицу на обрыв реки, к притягивающей к себе, словно магнит, воде, и вдруг они засветились над горизонтом, еще больше тревожа и одновременно успокаивая душу, и почему-то я знал, что они засветились именно для меня. Может, они светились и раньше, а я, убитый горем, только сейчас поднял глаза? Или как раз они заставили оторвать от воды взгляд?

После этого случая мне не единожды в детстве приходилось видеть серебристые облака, почему-то всегда, когда мне было особенно горько, когда я особенно страдал от одиночества, тоскуя по чему-то или по кому-то неведомому. Я по-прежнему не знал, что у них есть название, что они своей необычностью волнуют не только меня, тем более, что они волнуют ученых, но они всегда почему-то странно беспокоили и в то же время успокаивали мою душу. Со временем, повзрослев и переехав жить в миллионный город, я не то чтобы совершенно забыл о них, но больше не замечал, или они исчезли совсем, или исчезли для меня, больше не нужные моей душе, может быть, я мог жить уже без них, а скорее, теперь их глушил искусственный электрический свет, отрывающий людей по ночам от неба, от звезд.

И вдруг эта книга Виктора Петровича Савиных! Я вдруг все вспомнил: как они не просто волновали меня в детстве, а, как тогда мне казалось, спасали от одиночества и, может, даже от последнего опрометчивого непоправимого шага. Я вдруг все вспомнил, в том числе то, о чем не хотелось вспоминать, что я специально постарался забыть, и несколько дней ходил взволнованный воспоминаниями, благодарностью к серебристым облакам и чувством вины перед ними, что я так легко их забыл, и почему-то я знал, что они тогда, в детстве, светились если не именно для меня, то в том числе для меня. И тогда же родилась тревога: Виктор Петрович мог и не догадываться, что подарил мне свою тоненькую книжицу не случайно, может, это своего рода напоминание серебристых облаков о своем существовании, в преддверии каких-то важных и печальных для меня событий, когда мне, как в детстве, никто и ничто не сможет помочь, кроме серебристых облаков... Летчик-космонавт В. И. Севастьянов, летавший в космос раньше Виктора Петровича, еще в 1970 году, записал в корабельном боржурнале: «Что меня поразило при наблюдении серебристых облаков, кроме того, что они так восхищают и притягивают наблюдателя своей необычной картиной? Меня поразили их блеск (матовый, но очень сильный, я назвал его “перламутровым”), их протяженность (мы наблюдали их над Камчаткой, а на следующем витке — от Урала до Камчатки, а затем в эти же сутки — над Канадой), их тонкая лазурная структура, похожая на блеск перьев лебедя». А. А. Леонов, летавший в космос еще раньше, в марте 1965 года, назвал серебристые облака «голубым поясом Земли» и позже не однажды рисовал их на своих картинах.

Почему серебристые облака были обнаружены только в 1885 году? Неужели до того времени они вообще не существовали? Как бы в подтверждение этого предположения: они были обнаружены в разных точках планеты практически в одно время: в июне 1885 года... Может быть, к этому времени в атмосфере Земли произошло накопление чего-то — своего рода критиче-

ской массы? Не может же быть, чтобы до этого на них просто не обращали внимания?

Я залпом, не отрываясь, прочитал книжку Виктора Петровича, но ответа не нашел. Сугубо научная, сухая, наполовину состоящая из схем и диаграмм, она снимала с серебристых облаков покров таинственности и приводила к выводу, что они не что иное, как всего лишь «спорадический плазменный слой в летней полярной мезопаузе», и что они «образуются в результате конденсации водяного пара на мельчайших пылинках в области самого глубокого минимума температуры во всей толще атмосферы». Правда, вывод этот был с некоторой оговоркой, что «до последнего времени остается нерешенным вопрос об источниках паров воды и о ядрах конденсации, хотя можно предположить, что проблеме генезиса серебристых облаков можно решить на основе притока в атмосферу Земли огромного количества (порядка 20 в одну минуту) снежных ядер мини-комет», и что «для подтверждения и уточнения этих представлений необходима организация комплексных экспериментов».

И хотя книга Виктора Савиных вроде бы ясно и убедительно с точки зрения физики и метеорологии объясняла происхождение серебристых облаков, ее выводы не то чтобы вызвали у меня сомнение, но было ощущение, что они лишь поверхностно объясняют глубинную суть серебристых облаков. Более того, было такое чувство, что эти выводы как бы специально кем-то подсказаны ученым, чтобы они, якобы докопавшись до их сути, успокоились, чтобы по какой-то причине до поры до времени скрыть от нашего несовершенного ума, а главное — несовершенной души, их истинную сущность. Тем не менее книга гвоздем застряла у меня в голове. Если умом я — с некоторым разочарованием — согласился с ее выводами, то моя душа не то чтобы не приняла ее выводов, но она чувствовала, что они объясняют только внешнюю суть явления, скрывающую, как яичная скорлупа, зародыш внутри нее. Но я был благодарен этой книге, что она разбудила в моей очерствевшей душе детские воспоминания о встречах с необыкновенными облаками, которые спасали меня в минуты самого беспросветного детского и юношеского одиночества и сиротства и, может, даже однажды спасли от самоубийства. Что касается ученых, они любят ясность, если ее нет, они ее придумывают, в конце концов, если их устраивает такое, может, подсказанное кем-то объяснение происхождения серебристых облаков, пусть они так и считают. Со странным чувством я поставил тоненькую книжицу на полку, зажав ее между другими книгами, но неясная тревога осталась жить во мне.

Я пытался объяснить себе причину воздействия серебристых облаков на мою детскую душу, я словно пытался вспомнить утром печальный, но светлый сон, но мысль моя, вроде бы уцепившись за краешек этого объяснения, тут же натыкалась на подобие кодового замка и срывалась, словно кто-то отсекал ее от того, что по каким-то причинам мне еще не дано или уже не дано знать. Книга Виктора Петровича как бы вернула меня в детство, и я не знал, быть ему за это благодарным или нет. Я даже намеревался позвонить Виктору Петровичу и спросить: почему он, картограф и оптик, вдруг занялся серебристыми облаками? Какие он испытывал при встрече с ними чувства, что осталось за пределами его ученой книги?

Через некоторое время после этого я ехал поздней ночью через Уральские горы. Влетел-въехал на большой скорости на очередной хребет — и вдруг они повисли передо мной над близким окоемом. А потом как бы даже резко приблизились — и висели теперь уже чуть ли не надо мной: то впереди, то слева, то справа, в зависимости от поворота дороги, душа замирала в какой-то мучительно-сладкой, мучительно-тревожной истоме, серебристые облака, мягко переливаясь изнутри перламутром, словно что-то говорили, о чем-то предупреждали, но я не понимал — что говорили и о чем предупреждали. Силился понять, вот-вот вроде пойму, но все равно не понимал, и от этой науги даже звенело в ушах, и от этого непонимания почему-то хотелось закричать или

заплакать, и в то же время засмеяться сквозь слезы. Свернув на первый грунтовый перекресток, я остановил машину, мне ничуть не было страшно одному среди глухих гор в глухой ночи, под повисшими надо мной странными, будто живыми и говорящими, облаками, я чувствовал, я был уверен, что сейчас они, как тогда, в детстве, что-то говорят — именно мне и что-то очень важное для меня, мне казалось, что за десятки, а может, за сотни километров в этой странной ночи больше, кроме меня и кроме них, никого нет. И тревожно было, что я их языка не понимаю. Нет, это был не лунный свет, хотя Луна в полдиска тоже висела над хребтами, ее томительный свет тоже по-своему беспокоил душу, но это было совсем другое. Мгновением мелькнула простая и ясная мысль, не то чтобы объясняющая природу серебристых облаков, но приближающая к объяснению, но тут же, чуть зацепившись, не удержавшись, унеслась вверх. И тут я вдруг вспомнил (не приснилось же мне во сне, не придумал же я все это?!), как однажды в детстве я разговаривал с ними, а потом как бы заснул этот разговор, или кто-то заставил забыть его. Тогда они, как и сейчас, молча разговаривали со мной, но тогда мне был понятен их язык. Одиноким при живых родителях, мучающийся от их разлада, я часто уходил за деревню, на берег текущей, я уже тогда понимал, из Вечности в Вечность реки, и они иногда, мне казалось, когда мне было особенно горько, вдруг как бы специально для меня повисали над горизонтом, странно освещая ночную Землю, и бредили мою детскую и одновременно уже не детскую душу, словно пытались успокоить меня или давали знать о другой жизни, может, даже не земной, и хотелось плакать неизвестно отчего, и я уже не чувствовал себя одиноким в ночи. И однажды, когда текущая из Вечности в Вечность вода властно и бесповоротно потянула меня в себя, убедив, что в ней разом разрешатся все мои горести и печали, и я уже почти по плечи вошел в реку по стремительному перекаату, который в следующую минуту был готов, сделав невесомым, поднять меня и унести в крутящийся воронкой ниже переката под скалой омут, как они вдруг, каждую секунду изменяя цвет или идущий изнутри свет, тревожно мерцали в вышине, бросая отблески на воду, на которую я замороженно смотрел. Тревожное мерцание серебристых облаков заставило меня поднять глаза, и в этот момент я услышал как бы исходящий из них немой, но, удивительно, понятный мне ласковый голос: остановись, ты не одинок, мы с тобой!

И сейчас вот, в глухих ночных горах, мне показалось, что я снова услышал исходящий из серебристых облаков тот же голос, что и в детстве, я не различал слов, но смысл их мне, как тогда, был почти ясен, он выражался не в словах, и было в нем тревожное предупреждение и знак, что меня не оставят одного. Я не был абсолютно уверен, что голос был женским, он точно не был мужским, хотя никакого звукового выражения у этого голоса не было, как не было и самого голоса, тем не менее я его явственно слышал, раз мне был понятен смысл сказанного.

Руки так и чесались: взять ручку и записать! Мне показалось даже, что мне открылась тайна серебристых облаков, и она связана с тайной моего неясного бытия, они сами раскрыли мне ее, или я разгадал ее, только взять ручку и записать! Я сунулся во внутренний карман пиджака, в бардачок автомобиля, но — ни там, ни там ручки не оказалось. Ладно, запишу, когда доеду до дома или утром, успокоил я себя. И, когда серебристые облака через какое-то время немного померкли, как бы замолчали, я завел мотор и осторожно выехал на большую дорогу, с чувством, что не один в этой глухой ночи...

Но утром я уже ничего не помнил. Как ни старался, ничего не мог вспомнить, словно заснул сон: вот-вот вроде начинаю вспоминать, но нет, не получалось, словно срабатывал какой-то запрет. Брал в руки ручку, но записывать было нечего...

— Ты знаешь, мне приснился сон, что мы с тобой расстаемся, — перебив мои потуги, утром сказала ты. — Я уезжаю куда-то далеко-далеко, как мне кто-то сказал, навсегда, и я прошу тебя заботиться о собаках. Чтобы ты, когда



Динка станет совсем старой, забрал ее в город... Сон сном, а на самом деле, если что вдруг: ты заберешь ее потом в город?

— Ну, ты что?! — пытался я тебя успокоить, хотя глухая тревога обдала меня студеным ветром. Я вспомнил сон о серебристых облаках. Что они мне хотели сказать?

— Я вполне серьезно, — не унималась ты. — Обещаешь?

— Ну что у тебя за мысли?!

— Нет, ты скажи: обещаешь?

— Ну разумеется!

— Сон какой-то странный, нехороший... Всю ночь у меня снова ныло колено. Видимо, все-таки придется оперироваться. А я уж надеялась, что обойдется.

— Я тебе уже несколько раз говорил: не тяни с операцией. Давай вот прямо завтра позвоним в клинику.

— Сейчас не самое лучшее время для операций: лето, жара. Да и в саду самая работа: огурцы, помидоры поспевают, да и подходит самое любимое мое время: август, сентябрь. Теперь уж поздней осенью, когда слякоть, дождь, снег. Тогда не так тоскливо будет в больнице.

Спорить я с тобой не стал, да и бесполезно было с тобой спорить с твоим упертым характером, из-за которого, я считал, во многом и были наши беды. К тому же я считал себя отчасти виноватым в твоей беде с коленом: мениск ты надорвала ранней весной при обрезке яблонь, сорвалась с поставленной мною в снегу вместо стремянки перевернутой бочки, я потом проклинал себя, что, возможно, плохо поставил ее. А теперь думаю, что, может быть, моей вины в том не было, бочку, я помню, ставил прочно, несколько раз проверил. Скорее всего, уже тогда у тебя из-за метастазов в мозг была нарушена координация движений, и, может, надрыв мениска был предупреждением нам свыше: пока не поздно, обратиться к врачам, когда, может, твою судьбу определял не только каждый день, но даже час. Надо было силой везти тебя в больницу, но я, стараясь избежать очередного конфликта, не стал настаивать. Ты дотянула до декабря, а в декабре ты пришла из поликлиники, где проходила обследование перед операцией на колене, с потухшим потусторонним взглядом.

— Что? — замерев от дурного предчувствия, спросил я. За тридцать лет совместной жизни я привык к тому, что ты впадала в панику по любому, даже самому мелкому поводу, но таких безнадежных и потухших глаз я у тебя еще никогда не видел.

Ты молчала, не в силах что-нибудь выговорить.

Я снял с тебя шубу, ты, казалось, даже не заметила этого: как стояла, так и стояла, гуттаперчево-послушная. Я не мог смотреть на твои безвольно опущенные плечи, в такие минуты я как никогда испытывал перед тобой великую и неискупимую вину:

— Ну, говори...

— У меня подозревают рак легких...

У меня гулко застучало в голове: «Вот он, пришел тот час, час расплаты... Не могло так без конца продолжаться, у всех вокруг та или иная беда, а нас, по большому счету, все обносило...»

— Насколько это точно? — наконец спросил я.

— Направили для установления окончательного диагноза в тубдиспансер. Ты сможешь завтра утром отвезти меня туда?

— Конечно.

Мы так и стояли в прихожей, я — с твоей шубой в руках.

— Что будем делать, если подтвердится? — подняла ты на меня глаза. Дело в том, что всего неделю назад ты снова заводила разговор о нашем разводе. Ты была убеждена, что мое плохое настроение оттого, что у меня есть другая женщина, которую я по-настоящему люблю и от которой хочу иметь

ребенка, а время уходит. А мое плохое настроение было оттого, что наше с тобой время уходит, а мы так и не нашли пути друг к другу.

— Будем бороться до конца! — сказал я и обнял тебя, после чего ты, кажется, немного посветлела. А меня резанул твой вопрос, и сейчас, если ты слышишь меня оттуда, из неведомого далека, я спрашиваю тебя: неужели ты могла ожидать от меня другого ответа? Неужели ты все годы так и не верила в меня до конца? Что я, каким бы ни был, по твоему мнению, плохим мужем, могу повести себя как-то иначе в такую минуту или вообще оставить тебя? Это, может, самое горькое в памяти о тебе...

Наутро в предрассветном морозном, промозглом смоге-тумане я повез тебя в туберкулезный диспансер.

— Хорошо бы — туберкулез, — говорила ты про позавчера еще казавшийся нам страшным туберкулез, теперь он казался спасительным счастьем. — Я бросила бы работу и целиком занялась бы домом, тобой. Я собрала бы в альбомы все твои экспедиционные фотографии, я стала бы перепечатывать твои рукописи. Ты всегда был недоволен, что я тебе не помогаю. Я бы подолгу, чтобы тебе не мешать, жила на даче с собаками... Жила бы себе ниже травы, тише воды, никому не мешая...

Мне хотелось тебя обнять и заплакать, но я был за рулем...

Но из тубдиспансера нас выпроводили, как воровски позарившихся на чужое счастье, направили в раковый центр, и я понял, что самое большое горе, до сих пор обходившее нас стороной, — а я почему-то всегда знал, что оно рано или поздно должно было к нам, грешным, виноватым как перед Богом, так и друг перед другом, прийти, — тихо, но в то же время оглушительно и страшно обрушилось на нас. Было 29 декабря, на обратном пути, не зная, что теперь подарить тебе на Новый год, — хотя всего неделю назад я знал, что подарю, но теперь в этом подарке не только не было смысла, но он был бы кошунственным, — заехав в магазин за хлебом — жить-то, сколько еще было отмеряно, все равно было надо, — и наткнувшись в магазине на цветочный киоск, я решил купить тебе в подарок кипарис в горшке. В прилагаемой фотографии-инструкции по уходу показывалось, каким большим и красивым деревом он будет через несколько лет. Это как бы укрепляло мою и должно было укрепить твою если не уверенность, то надежду, что ты увидишь через несколько лет, каким чудо-деревом станет свой кипарис. Ты только печально улыбнулась на это, но не стала спорить. Собравшись расплатиться за кипарис, я обнаружил, что потерял — скорее всего, на бензозаправке, куда заехал, не зная, куда себя деть, в ожидании окончательного приговора в раковом центре, — не говоря уж о деньгах, все документы, в том числе паспорт, водительские права... В тот день у меня что-то случилось с памятью, словно из нее исчезло нечто, раньше казавшееся нужным, а теперь лишь мешающее жить во вдруг сузившемся жизненном круге. Кроме того, я вдруг понял, что моя жизнь стремительно покатила под гору, что я больше не властен над ней, как самонадеянно считал до сих пор, более того — кто-то где-то все решает за меня. И я не стал, как раньше, противиться тому, ощутив свое бессилие перед судьбой, точнее сказать, роком, хотя еще вчера казалось, что у меня многое, если не главное, еще впереди...

В тот день у меня отрубило память и о серебристых облаках. Только однажды, кажется, перед самой твоей смертью я вдруг больно и спасительно вспомнил о них, но, сколько ни искал их в предрассветном небе, не мог найти.

Увидел я серебристые облака снова, как и всегда, неожиданно, почему-то ни раньше ни позже, а на сороковой день после твоей смерти, и это немым вопросом врезалось в мою память. Поздно вечером я возвращался домой, погруженный в свои печальные мысли, низко опустив голову, и вдруг — словно что-то толкнуло меня, я словно споткнулся, поднял голову и — вздрогнул: они висели за городом, за рекой, над горизонтом, мягко мерцая и переливаясь перламутром, и словно что-то говорили мне, именно мне, и я не знал, висели

ли они давно, или повисли только что, и было такое чувство, как будто я в пору отчаянного одиночества неожиданно и так необходимо встретился с душевно близким человеком. Щемлящая боль-печаль пронзила меня, и у меня родилась своя, совсем не научная гипотеза по поводу происхождения серебристых облаков: может, это души умерших в те сорок дней, в которые, как считается, они находятся на Земле, светятся и светят нам, как бы прощаются с нами, чтобы потом навсегда покинуть Землю и нас? И может, время от времени они снова посещают нас в виде серебристых облаков?

Весь следующий день я пытался дозвониться до Виктора Петровича Савиных, наконец, поймал его на международном конгрессе по космонавтике, кажется, в США.

— Скажи, а почему ты занялся серебристыми облаками?

— Ты только по этому поводу и разыскивал меня по всему земному шару? — удивился он. — А что это тебя вдруг заинтересовало?

— А все-таки? — настаивал я.

— Кому-то рано или поздно ими нужно было заняться, — мне показалось, уклончиво ответил он.

— Ну а все-таки — почему?

— Не знаю, — задумался он. — Может, потому, что волновали они меня еще в детстве, почему-то бередили душу. А потом, в космосе, особенно во время первого полета: висят внизу под тобой, светятся над ночной Землей, томят душу, словно что-то хотят сказать, но я, как ни силюсь, не понимаю этого языка, и от всего этого какая-то тревога на душе, но я бы не сказал, что она была тяжелой, скорее, наоборот, словами не объяснишь... И вот сейчас, по прошествии времени: вроде бы все ясно с ними, никакой научной тайны они больше не составляют, но все равно такое чувство, что в разгадке их чего-то главного мы так и не поняли...

### **Жизнь еще при тебе, но уже почти без тебя...**

Мне никогда не забыть, как ты уходила по больничному коридору с направлением на операцию...

Мы прощально поцеловались...

Я, как замороженный, смотрел на порог, который ты только что переступила, и за которым остался я, как на водораздел между нами, как на водораздел между жизнью и смертью, но тогда еще была робкая надежда. Размазня по жизни, ты, в отличие от меня, вдруг собралась в пужину, ты шла по больничному коридору, — было как раз обеденное время, и по нему шмыгали в больничных пижамах и халатах, с подвешенными на шею послеоперационными бутылочками вчерашние люди, а ныне полусогнутые серые тени, — с гордо поднятой головой, как бы принципиально не имеющая никакого отношения к этому миру обреченных людей, как бы случайно или по недоразумению попавшая сюда, или пришедшая кого-то навестить, в лучшем своем брючном костюме, который так подчеркивал твою стройную фигуру, который ты так любила, с роскошной прической, как на какой-нибудь праздничный прием...

А перед этим мы заехали с тобой в Сергиевскую церковь и попали на архиерейскую службу: прославление иконы Божией Матери «Нечаянная радость». С каким смиренным и светлым лицом ты подошла под архиерейское благословение!..

Архиерей, уже знавший от меня о нашей беде, незаметно пожал мне руку и тихо добавил:

— Будем молиться. На все воля Божья!

— Может быть, не случайно, что мы попали именно на эту службу? — по выходе из храма с надеждой спросила ты меня.

Я промолчал...

Я верил в чудеса, правда, может, больше не как человек верующий, а как человек, не раз рисковавший своей жизнью и не раз смотревший смерти в лицо, но почему-то знал, что мы чудес не заслужили. Еще и потому, что, зная, что Он есть, мы до сегодняшнего дня жили вне Его и свои поступки сверяли не по Нему. А еще сегодня мне архиерей сказал, что если бы мы даже жили с Ним, у Него про каждого из нас свой замысел ...

А потом была тяжелая операция за день до Рождества Христова...

Это была твоя не первая в жизни операция. Перенеся в детстве желтуху, ты часто, если не сказать постоянно, болела. За какие грехи, за что Бог наказал тебя еще ребенком? За грехи твоих предков?.. Но отец твой, прошедший Великую Отечественную войну офицером-железнодорожником, был добрейшим человеком, не способным обидеть козявку. Твоя психическая неуравновешенность, вспыльчивость, часто выводящая меня из себя и порой приводящая в отчаяние, что было одной из причин того, что у нас не было детей (одно время я остерегался их заводить, боясь за возможную наследственную психическую неполноценность), была от матери. Но была ли психическая неуравновешенность матери наследственной, а не приобретенной? И была ли в этом виновата твоя мать? Не приобрела ли она ее, когда с грудным ребенком на руках, твоей старшей сестрой, в девятнадцать лет, не раз попадала под бомбежки в эвакуационном поезде, который шел на восток от самой западной границы, где до того служил твой отец, чуть впереди наступающих немецких войск? Порой поезд по несколько суток простаивал опять-таки под бомбежками на полузаброшенных полустанках. Или когда пробиралась вглубь страны в полной неизвестности за свое будущее, в полной неизвестности, что с мужем, оставшимся на границе, а потом всю войну мыкалась полуголодной, без теплой одежды по общежитиям и коммуналкам на Урале, под Екатеринбургом, при этом надрываясь на самых тяжелых работах? Может, ты отвечала за грехи твоих более дальних предков, о которых ты даже знать не знаешь? Может, вина наша и в том, что мы не знаем наших предков дальше третьего колена и тем самым как бы снимаем с себя их вину? Как бы отказываемся от них, и потому их грехи висят на нас?.. Но почему мы должны отвечать за наших предков?..

### Жизнь уже без тебя...

Через несколько месяцев после твоей смерти отец Алексей, настоятель одного из сельских храмов, в который я заехал, чтобы заказать сороковины по умершему тоже от рака, через девять месяцев после тебя, самому близкому моему другу Вячеславу Михайловичу Клыкову и панихиду по только что погибшей в авиакатастрофе в Иркутске Марии, дочери Валентина Григорьевича Распутина, убеждал меня, что мы до третьего точно, а может, и до пятого поколения несем ответственность за поступки и тем более за грехи своих предков. И приводил убедительные, по его мнению, доказательства на примере своих прихожан. Как, например, мучается страшной болезнью, прося Бога поскорее забрать ее, но никак не может умереть внучка бывшего партийного активиста, в тридцатые годы прошлого века сбросившего с храма колокола. Я кощунственно усмехнулся про себя: а мы проклинали большевиков, официально цинично провозгласивших, что сын не отвечает за отца, а на самом деле отправлявших в тюрьмы, в лагеря и даже на расстрел не только жен, но и детей так называемых врагов народа. У них сын отвечал за существующие и несуществующие грехи отца. У большевиков — только за отца, а у Бога, оказывается, даже за деда и прапрадеда. Этого я никак не мог ни понять, ни принять. Мало того, оказывается, мы уже с рождения, сами еще не виновные ни в чем, в ответе не только за грехи своих предков, но даже за грехи Адама и Евы! Не могу допустить мысли, что Бог может быть таким жестоковымным. Не добавили ли тут чего от себя его толкователи?

— Батюшка, почему я через тысячи лет после Адама и Евы должен отвечать за их грехи? — приводя своим дерзким вопросом в смущение, спросил я отца Алексея, а получалось, что на самом деле через него я кощунственно обращался к самому Господу.

— Смерть вошла в мир через грех наших прародителей, когда Адам и Ева, нарушив послушание Богу, совершили грех, — заученно стал вразумлять меня отец Алексей. — И благодать Божия оставила их. А так как все мы, люди, являемся потомками Адама и Евы, то уже с рождения заражены их грехом, к тому же сами продолжаем грешить, потому смерть является и нашим уделом. В «Послании к римлянам» сказано: «Сего ради якоже едином человеком грех в мир вниде, и *грехом* смерть, и тако смерть во вся человеки *вниде*, в немже вси согрешиша».

— Батюшка, я сейчас не о том, что мы продолжаем грешить, и потому наказуемы, это понятно. И даже не о том, что за грех по высшему замыслу бессмертных Адама и Евы Бог сделал их и их потомков смертными... Я о другом: вот человек только родился, он еще даже не осознает себя, только из утробы матери, только сделал первый глоток воздуха и закричал, оповещая о своем рождении, и он уж грешен?

— Да!..

— Но чем тогда Господь отличается от большевиков? Но тогда большевики и подобные им — сущие агнцы, у них только сын отвечает за отца...

— Тем, что судить о степени греха может только Господь, — строго и уверенно, но отведя глаза, сказал отец Алексей. Мне почему-то показалось, что, несмотря на твердость и уверенность в ответе, он тоже в чем-то сомневался. — И я имею в виду, разумеется, нравственный грех, грех перед Богом, а не перед властью, который может быть совсем не грехом... Да, существуют родовые болезни, — видя, что не убедил, вразумлял меня отец Алексей, — настигающие за грехи рода...

— Иначе говоря, наследственные? — попытался я уточнить, может, не дав ему закончить мысль. — Например, у одного из родителей была болезнь сердца, и эта слабость сердца может передаться и ребенку.

— Это так. Но я говорю о других случаях, не сугубо о тех, что рассматривает медицина, а о родовых, которые передаются из поколения в поколение не по наследству, а за грехи предков...

Как бы предупреждая мой следующий кощунственный вопрос, он добавил:

— Но их можно отомолить праведной жизнью, и тем самым снять их со своих потомков... И с предков тоже, ведь, не прощенные, они мучаются там.

— А дети, умирающие в младенчестве? За что им такое наказание? — спрашивал я.

И на это у отца Алексея был готовый ответ:

— Младенцы, невинные дети, пострадавшие ради обращения родителей к покаянию, получают от Бога жизнь вечную и избавление от ада. Промыслу Божию свойственно не только исправлять последствия совершенных злых деяний, но в некоторых случаях предотвращать еще не совершенные. Предвидя будущий греховный образ человека, Господь преждевременно похищает его из жизни, чтобы предусмотренное зло не было совершено.

— А какова судьба некрещеных младенцев? — не унимался я.

Отец Алексей несколько смутился, замялся:

— Однозначного ответа у нас, православных, на этот вопрос нет. Но в синаксарии субботы мясопустной говорится о том, что крещеные младенцы наслаждаются сладости рая, некрещеные же и языческие сладости не наслаждаются, но и в гиену огненную не попадут.

— Но тогда какова же их судьба? И разве они виноваты, что не были крещены? И это не всегда может быть виной их родителей, потому как они, на-

пример, где-нибудь в глухой Африке или в Австралии, даже не подозревали о существовании Иисуса Христа?

— Судьба некрещеных младенцев вверяется всеблагодарному Промыслу Божию, — ушел от прямого ответа отец Алексей.

— А вот у католиков я вычитал, что некрещеные младенцы попадают в специальную секцию ада.

— Нет, это не так. А зачем вы читаете католиков?

— Но они же тоже исповедуют Иисуса Христа.

— Они ложно его исповедуют, в корне извращают. Даже мусульмане исповедуют его ближе к истине.

Я видел, что своими вопросами ставлю отца Алексея в тупик, потому сумел себя вовремя остановить.

Я усмехнулся про себя: значит, младенцев, раз они еще невинны, хотя в то же время уже грешны, можно сразу забирать в рай из исправительного концлагеря на Земле. Не важно, что они никогда не познают земного счастья, земной любви, счастья отцовства и материнства, не увидят земных рассветов и закатов, осеннего листопада, луговых цветов, текущей из Вечности в Вечность воды. Смогут ли они, не пройдя земного чистилища и страданий, радости и печали, стать полноценными помощниками Богу?..

— Но всегда ли смерть ребенка обращает убитых горем родителей к покаянию? — словно бес снова проснулся во мне. — Не бывает ли наоборот? Не вызывает ли это протест, даже духовный бунт? Вон Калоев, потерявший во время авиакатастрофы над Боденским озером всю семью. За какой грех он наказан таким страшным наказанием, что ценой его покаяния должна была стать смерть всей его семьи, прежде всего детей? Строитель, отец добродетельного семейства, глубоко или не очень глубоко веровавший в Бога, но возводивший в родном городе на свои средства храм во имя Георгия Победоносца. И вдруг такое наказание! За какой такой страшный грех, к какому покаянию его призывал Господь? Каждый человек не безгрешен, но какова же должна быть степень совершенного им греха, или греха, который он готов был совершить, если такое наказание?!

— А если это было не наказание, а испытание?

— К чему готовил его Господь, дав такое испытание? Как оказалось, непосильное испытание. Это страшное наказание или испытание у Калоева вызвало не покаяние, а умопомрачение, в котором он как раз и совершил страшный грех: наказал, убил человека, которого справедливо считал виновным в гибели его семьи и которого никаким образом не наказало так называемое правосудие. Но это еще не все. Гибель в авиакатастрофе всей семьи вызвала у Калоева не покаяние, а самое страшное — отрицание Бога. После отсидки в швейцарской тюрьме, вернувшись на родину, он вошел в храм, который до того строил, и во всеуслышание сказал, что Бога нет, если бы Он был, Он такого не допустил бы. И с ним трудно спорить. Я не исключаю, что этот случай отвратил от Бога и других.

— Это временное умопомрачение... — нахмурился отец Алексей. — Значит, вера в Господа Бога была у него не очень крепка, поверхностна.

Эти общие слова я слышал уже не раз. Они не способны убедить, а наоборот, способны только вызвать сомнение. Отец Алексей видел, что ни в чем меня не убедил.

— Не очень ли жестокая проверка веры в Бога?

— Мы своим скудным умом не всегда готовы понять промысел Божий, — опять ушел от прямого ответа отец Алексей, может быть, сам не зная ответа на мой вопрос. — Нам только остается верить, что, в конце концов, Господь всегда милосерден...

— Почему милосердный Господь не защищает праведных и добродетельных от внезапной и порой нелепой смерти? — продолжал я немилосердно мучить отца Алексея вопросами. — Таких, например, как Мария, дочь писателя

Валентина Григорьевича Распутина, погибшая в авиакатастрофе? Была ниже травы, тише воды, играла на органе, призывала людей задуматься о высшем, вопреки специально созданному в мире сатанинскому музыкальному хаосу. Орган, полагают, как и колокольный звон, как и икона, является средством общения, независимо от национальности, на всем понятном языке с тем высшим, неведомым нам горним миром. Бог разъединил заблудшие, впавшие в гордыню народы на языки, но оставил для них единый язык общения, как между собой, так и с ним, с Богом, — музыку... Вот вы мне объясните, что касается Марии, дочери Валентина Григорьевича Распутина: почему он не защитил праведную и добродетельную душу ее отца, вобравшую в себя всю боль вымирающего русского народа? К какому покаянию Всевышний таким образом призывал его? Может, таким образом Он хотел наказать зародившуюся гордыню в писателе Валентине Распутине, который, по Его мнению, в последних своих произведениях стал мнить себя, подобно Александру Солженицыну, мессией или вселенским судьей? Но скромнее Валентина Григорьевича Распутина писателя, наверное, трудно найти. Или, видя, что он как писатель, а настоящий писатель в какой-то мере всегда пророк, иссякает, начинает жить несколько благодушно, что ли, в некотором достатке, загородный домик на Байкале вон начал строить, Всевышний поступил по принципу: все великое рождается в результате великих страданий, и добавил их Валентину Григорьевичу Распутину, чтобы он мог сказать новое, так нужное сейчас людям слово, раз они глухи к Евангелию? А что если эти страдания его, физически и так не очень здорового, совсем придавят к земле, если вообще не загонят в землю?.. Я вот звонил ему недавно: «Наверное, я больше ничего не смогу написать...» Или как раз этого добивался Господь? Или таким образом Всевышний торопит его туда, в горный мир?.. И еще: вот, например, преподобный Амвросий Оптинский писал: «Господь долго терпит. Он тогда только прекращает жизнь человека, когда видит его готовым к переходу в вечность или когда не видит никакой надежды на его исправление». Что, Господь собрал в одном самолете специально тех, кто уже был готов к вечности или, наоборот, одних грешников, тех, в ком он не видит никакой надежды на исправление?.. Или тех и других поровну?..

Отец Алексей молчал.

— Вон в Таиланде от цунами погибли в одночасье двести тысяч человек, приехавших на отдых из разных стран, — не мог остановиться я. — Что, все они были грешниками или святыми, и Господь специально собирал их в одно место со всей планеты? Или: две мировые войны, обрушившиеся на мир в прошлом веке, — что, все десятки миллионов погибших и сотни миллионов так или иначе пострадавших — были неисправимыми грешниками, в том числе дети? Миллионы, десятки миллионов людей, погибших во время эпидемий, голода — это что, тоже следствие этой особой божественной любви? А верующие в иных богов? Разве они виноваты, что они не познали истинного Бога?.. Почему Всевышний часто попускает страдать от ужасных болезней, а потом умирать раньше времени людям, безраздельно верующим в Него и прославляющим Его?

— Бог не защищает праведных и благодетельных, чтобы очистить их от малейших следов греховных страстей и потом увенчать большой славой на небесах, — ни на секунду не задумался, отчеканил отец Алексей. У них, священников, как у унтер-офицеров царской армии — все по уставу и на все заученные, готовые и простые, ответы.

«Всякая слава, тем более на небесах, конечно, хороша, но ведь любая слава, где бы то ни было, — это не что иное, как гордыня, — хотелось мне закричать. — А что если человеку не нужна эта слава на небесах, о которой вы заученно рапортуете, как, впрочем, и земная слава тоже, человек хотел мирно и безропотно возделывать кусочек земли на Земле, никому не мешая, спасая бездомных собак и лютой, бескормной зимой подкармливая птичек Божиих?!»

А отец Алексей продолжал, пытаясь меня вразумить:

— Подумайте, если Бог дал своего Возлюбленного Сына на страдание и Крестную смерть, что мы можем сказать о людях праведных, но имеющих греховные пятна? У одного священника, доброго священника, сгорело в пожаре пятеро детей. Когда знакомый их семьи узнал об этом, в нем поднялось смятение: «За что, Господи?! Добрее этого человека я не встречал! Как и не встречал священника лучше!» Но он понимал, что этот протест — грех, и исповедал его. Ответ духовника был прост и одновременно мудр: «Запомни одно: Бог никогда не ошибается». Запомним это и мы, что бы с нами ни случилось. Его крестная пасхальная любовь часто действует непостижимым для нас образом... — Отец Алексей помолчал. — Я чувствую, что не убедил вас.

— Нет, отец, не убедил, — честно сказал я. — Подобное я уже где-то слышал. Например, в кратком курсе истории ВКП(б): «Партия не ошибается». Были у партии большевиков так называемые «тройки», руководствующиеся этим постулатом, которые в пять минут решали — разумеется, в высших целях, ради светлого будущего всего человечества, — приговорить ли к длительному сроку или же к расстрелу чаще всего невинного даже перед этой партией человека. Чтобы остальных держать в постоянном страхе неминуемого наказания. Может, во всех этих случаях, как и в случае со священником, у которого в пожаре сгорели дети, Бога мы вспоминаем всеу? Может, Он тут не при чем? Может, в некоторых случаях Он просто не в силах противостоять укоренившемуся злу?.. Ведь еще что получается: за грехи наказанием — долгая жизнь на земле и безболезненная, может, внезапная смерть? А праведному — рано умирать, к тому же мучительной смертью, в страшных страданиях? И умом не понимаю, и сердцем не приемлю я почему-то такой милости и такой любви. Не приемлю я и ответа вашего духовника по поводу сгоревших в пожаре детей. Не верю, что его ответ был искренним. Просто он не знал, что ответить, а честно признаться в этом не хотел, потому как ему нужно было предстать перед простым человеком мудрым посредником между ним и Всевышним... Как и не приемлю я: почему чем лучше, добродетельнее человек, тем скорее должен уйти с Земли?! Что, человек исправился, отбыл свой тюремный срок на Земле — и нужен там?.. Да, здесь, на Земле, мы, наверное, только учимся жить. И смерть потому поставлена в конце жизни, чтобы мы могли к ней подготовиться. И мы не знаем, что там. И вы, священники, не знаете. И никто не знает. И ради Бога, не делайте вид, что знаете! И от незнания соблазняет меня халявой, что там всего в обилии, что там не работают, а лежат весь день на мягких перинах, мед пьют, и каждый норовит как можно ближе к Господу сесть, который вроде генерального секретаря. А я не хочу лежать на мягких перинах, это для меня, как для всякого нормального человека, хуже тюрьмы, я без работы на второй день попрошусь обратно на Землю, а обратно уже нельзя... Получается, если там все так хорошо, я должен радоваться смерти близких, но я почему-то не радуюсь, а в великом смятении моя душа... Душа моя просится в храм, я неосознанно, по зову ее, пусть редко, но иду сюда, здесь трепетно и хорошо ей и мне, но только до тех пор, пока вы не начинаете звать меня с Земли. Много, что вы проповедуете, нарушает молчаливое согласие моей души с храмом, и порой я ухожу отсюда не умиротворенным, а в тревоге и смятении. Дай Бог, чтобы я ошибался, но такое чувство, словно кто-то упорно старается увести нас с Земли, освободить ее для какого-то другого народа, и делает это хитро, от имени Бога...

— Значит, вы еще не пришли к Господу Богу. Значит, вы еще не веруете, а только хотите верить, — мягко сказал отец Алексей. — Веровать и хотеть верить — это совсем не одно и то же...

— Наверное, это так. Скорее всего, это так: я страстно хочу верить, но еще не верую. Простите, батюшка, но я хочу там, в горнем мире, быть пусть скромным, но соратником Богу в его делах, и чтобы пот с меня тек в три ручья к вечеру, если пот есть там и вечер тоже. Я хочу возвращаться домой



усталым, если есть там понятие дома, но довольным от сделанного мною ради общего дела, а вы, повторяю, меня соблазните халявой на том свете, что там не сеют, не пахут, а только едят с утра до вечера всякие яства, даже реки там молочные с кисельными берегами, на большее фантазии нищего человека не хватило. Теперь вот, наверное, соблазняя олигархов, черную икру и трепангов там будут обещать. И почти через каждое слово — обещание славы, хотя всякое мечтание о славе, о любой славе, как и обещание ее, по моему разумению, — как раз не христианское чувство. Мечта о молочных реках с кисельными берегами — это мечта не работника, тем более не работника на земле, который определил себя на Земле крестьянином, то есть христианином. Мечта о молочных реках с кисельными берегами — это мечта люмпен-пролетария, бездельника, лентяя, не говоря уже о том, что вредно спать на мягких перинах и беспредельно обжираться, и я начинаю подозревать, что ваши рассказы о халявном рае — не более чем сказка, придуманная древними лентяями-пролетариями — вроде недавних славных ленинцев, которые рано или поздно, разуверившись в своей сказке, начинают с помощью кистеня и револьвера строить халявный рай на Земле. А что, если и там они начнут строить подобное? Может, этим объясняется отторжение Сатаны от Господа, превращении его из Ангела в Дьявола? Не из этих ли сладостно-благих сказок о халявном мире рождаются всевозможные революционно-коммунистические идеи? Не потому ли еще плодятся всякие секты, всякая беспоповщина, попытки, минув священных, общаться напрямую с Богом, что людей смущают, мягко говоря, ваши сказки о горнем мире? Не потому ли появились протестанты, крепкие мужики, не мечтающие о небесной халяве, пытающиеся обустроить достойную жизнь на Земле — как некий прообраз горнего мира, как подготовку к нему? Если тут, на Земле, мы действительно только учимся жить, то, наверное, мы должны стремиться навести элементарный порядок на Земле, это своего рода нам как экзамен. Но нет, протестанты тоже нам не нравятся, и не потому, что в каких-то деталях расходятся с нами в трактовке Священного Писания, а прежде всего потому, что пытаются, по своему разумению, строить свою жизнь на Земле по образу горнего мира, спокойно, обстоятельно, потому у них везде чистота и порядок, они не бросают кладбища своих предков расхристанными. А у нас коровы по ним ходят, а нам ничего не надо, мы своих предков дальше дедов, в лучшем случае — прадедов, не знаем, нам это не надо, так как мы временные здесь, а все мечты наши о горнем мире с халявой и мягкими перинами. Они не хуже нас знают, что они тоже временные на Земле, но они думают о тех, кто останется после них, им, в отличие от нас, почему-то стыдно оставлять после себя кучи гниющего хлама. Или еще мечты о Беловодье. Нет чтобы навести порядок на кусочке Земли, где тебе Богом определено было родиться, — а Богом не случайно определено тебе родиться именно здесь, — мы, бросив родную землю-люльку, потащимся искать халявные молочные реки с кисельными берегами за тридевять земель, а оставшиеся, в том числе и вышедшая из народа и не вернувшаяся в народ писательская интеллигенция, будут восторгаться нами, приводить другим в пример. Понимаете, не надо меня, у которого на руках мозоли от лопаты, топора и косы, и все это мне делать нравится, соблазнять мягкими перинами, сверкающими одеждами и славой, в которой я даже здесь, на грешной Земле, давно не нуждаюсь, и тем более не буду нуждаться там. Не надо меня соблазнять тем, повторяю, что меня там могут посадить в президиум по правую руку от Господа Бога, может, еще и за красную скатерть. Да и физически не может Он всех нас посадить рядом, кому-то придется сидеть в зале. Вы скажете, что я кощунственно упрощаю. Да нет, я только цитирую ваши слова и многочисленные книжки, продающиеся в церковных лавках. И появятся недовольные, что их обманули, обещали посадить рядом, а не посадили, и взбунтуются, и захотят устроить там революцию. Может, действительно, так и появились падшие ангелы? И порой я невольно начинаю думать: может, это химера, выдуманная люмпен-

пролетариатом древности? Или тогдашними властями — для простого народа, чтобы держать его в узде? А он рано или поздно не выдерживает ожидания халявного рая и берет в руку кистень... Не из нетерпения ли поскорее увидеть этот халявный рай, не из разочарования ли рождаются всякие революционеры, нередко из бывших семинаристов?

— Не надо трактовку потустороннего мира людей простодушных и наивных принимать за истину, — вздохнул отец Алексей.

— Но если это измышления людей простодушных и наивных, почему вы издаете все это по благословлению Святейшего огромными тиражами? — показал я на развал книг. — Вот, посмотрите, половина вашей литературы состоит из этих сказок, якобы доказывающих существование Бога, рая и ада. А не имеют ли они обратного действия?.. — Меня неожиданно для самого себя понесло: — И еще: сейчас вы меня снова будете убеждать, что на любую болезнь и даже на смерть не нужно жаловаться, а нужно благодарить за нее Господа, что Он послал ее тебе, таким образом Он выражает особую любовь к тебе.

— Именно так...

— Вот даже Святейший недавно, после длительного недомогания, про- никновенно по телевизору благодарил Бога за то, что тот наградил его болезнью, тем самым проявив к нему великую милость. Зачем же тогда, спрашивается, к врачам обращался, в больницу, да еще не в простую, а для высших правительственных чиновников?.. Бога благодарил за болезнь и в то же время просил исцеления?.. Прости меня ради Бога, батюшка! — остановил я себя.

— Бог простит! У Бога просите прощения, а не у меня... Вы еще не отошли от своего горя...

Мы торопливо и неловко распрощались...

Да, скорее, моя вера не глубока. Да, скорее, я еще не верую, а только хочу веровать, а душа, может, так и осталась языческой. Да, скорее всего, это так. Да, я знаю, что Всевышний есть, но почему-то в моем представлении он не совсем такой, если не сказать, что совсем не такой, каким мне его рисуют священники, не знающие доли сомнения, или делающие вид, что не сомневаются. Я верю, я знаю, что Всевышний есть, потому как он зримо являет нам, неверующим, свои чудеса, такие, как Благодатный Огонь в Пасху в Иерусалиме (а нам и этого мало, а вдруг это мистификация?), я верю в Него и Матерь Божию, потому, что мироточат ее иконы, как и иконы многих святых, но никому не дано знать, что там, в горнем мире, и не надо меня соблазнять сказками про халявный рай для пролетариев-тунеядцев. Иначе можно перестать верить.

Верю я, пусть еще, может, и не верую. Но я не знаю Его отношения ко мне: может, за свои грехи и за грехи моих предков, о которых я даже не подозреваю, я исключен из сферы Его влияния. И мы существуем с Ним как бы в разных Вселенных. И, может, потому так одиноко металась всю жизнь в поисках ответного человеческого тепла моя сиротская беспризорная душа, и мечется до сих пор, и не находит ответа. Может быть, потому она не нашла полного единения и с твоей душой? Утверждают: человек — любимейшее творение Бога. Но неужели Бог не может выразить свою любовь к человеку иным способом, не накладывая печать первородного греха на цепь человеческих поколений? Или, наоборот, мы оговариваем Бога, приписываем Ему чужие деяния, чужие свойства, может быть, даже деяния и свойства Сатаны? Не только об отдельном человеке, обо всей России как о физической и духовной цельности толкуют, что Бог не наказал, а наградил (что, получается, одно и то же), в том числе в XX веке, великими страданиями русский народ потому, что, разуверившись в первом богоизбранном народе, возлюбил русский народ, избрал теперь его для особой цели — и потому испытует. Какова цель этого испытания, если заранее можно предугадать участь второго богоизбранного народа, если катастрофические истончатся он количественно и, прежде всего, духовно? Или все это уже не во власти Бога? Или Бог уже разочаровался и во втором избранном Им народе и махнул на него рукой? А может, мы эгоистично, подобно первому из-

бранному народу, приписали себе особую любовь Бога, как и приписали, придумали себе особую роль на Земле, и от этого наши страдания? А у Него все народы одинаково любимы, и как только какой-нибудь народ начинает претендовать на особую любовь, даже в виде особых страданий и испытаний, и придумывает себе особый, на самом деле не существующий, мессианский мандат от имени Бога, он тут же и получает эти испытания? Господь тем самым как бы ставит его на место. А мы все толкуем и толкуем о своей богоизбранности. И мы, может, так далеко зашли в своем закоренелом убеждении, что мы самые любимые, мы так привыкли к своей исключительности, что навлекаем на себя все новые и новые испытания, может, уже давно для нас непосильные?

«Кого Бог любит, того и испытывает», — проникновенно шепчут старушки в храмах, неубедительно утешая себя по поводу своих старческих хворей, но мне почему-то кажется, что они сами мало верят в это. Так, по привычке, заученно повторяют, чтобы не показаться неверующими даже самим себе. Так заученно утешают их и священники.

Твои постоянные болезни были одной из причин нашей бездетности. Мы все надеялись на лучшее, но годы летели, лечилась ты плохо, бессистемно, чуть становилось полегче, забрасывала лечение, что выводило меня из себя. Врачи на наши прямые вопросы отвечали уклончиво. Наверное, надо было рискнуть. Но, может, Бог специально оберегал нас, раз говорят, что все в воле Божией? Потому как другими причинами были: твой неуравновешенный, вспыльчивый характер и твоя ничем не обоснованная ревность, которая глубоко — до душевного потрясения — оскорбляла меня и убивала во мне самое главное в чувстве к тебе, как и твой решительный отказ взять ребенка из детского дома. Твое недоверие было самым страшным ударом: раз мне все равно не верят, я стал невольно отдаляться от тебя и обращать внимание на других женщин, ища в них не физической близости, а душевного понимания. Я видел, что ты все больше и больше становишься похожей на мать, у которой душевная неуравновешенность со временем приняла агрессивный характер и которая своей ревностью и своими психопатическими припадками буквально свела мужа в могилу. И я боялся, что это у тебя наследственное и что это может передаться детям. А надо было решиться. Может, рождение ребенка разом бы привело тебя в душевное равновесие.

Годы шли, кончилось все это тем, что однажды на даче у тебя началось сильное маточное кровотечение. Почему-то в тот день мы были без машины, кажется, она была в ремонте, к счастью, подъехал сосед, мы успели доехать до поста ГАИ, где тебя забрала скорая. Прямо из приемного покоя тебя увезли в операционную, во время операции, после которой о детях уже не приходилось думать, ты перенесла клиническую смерть. Потом ты рассказывала о той пресловутой трубе, по которой якобы летишь вверх, и в конце той трубы неземной ласковый свет, и как тебе хотелось вернуться обратно на Землю, и кто-то услышал тебя и вернул. Было ли это так на самом деле? Или тебе приснилось ранее прочитанное в книгах и неоднократно виденное по телевизору о клинической смерти? Если было, то почему Бог развернул тебя в этой трубе обратно? Что, ты еще недостаточно намучалась на Земле, не осознала до конца, не искупила свои грехи? Поэтому он обрек тебя (или наградил?) на самые невероятные физические и душевные страдания, которые приносит рак, обрек на мучительную безнадежность, а главное, на мысли, связанные с ней?..

### **Жизнь еще при тебе, но почти уже без тебя...**

Уже которую ночь мне снится один и тот же жуткий сон. То ли кино, то ли телеэкран, голос за кадром:

«Уже на четвертой неделе у человеческого зародыша начинает биться сердце. А в два месяца, когда делают аборт, ребенок уже понимает, что его хотят убить».

И я снова и снова ясно вижу, как начинает отчаянно колотиться крошечное сердце человеческого зародыша, как число ударов достигает 200 в минуту. Он раскрывает ротик и беззвучно кричит от ужаса в предчувствии убийства. Он уже живой, он уже все понимает...

И на этом я просыпаюсь в холодном, липком поту и уже до утра не могу забыться.

Почему я поздно пришел к страшному для себя выводу, что я убийца, хоть и решились мы на это по настоянию врачей? Мало того, что, мечтая о детях, я подспудно, не признаваясь себе в этом, был рад такому исходу, потому как, зная о твоей неуравновешенности, — а была ли она на самом деле таковой и передалась ли бы она ребенку? — не хотел ребенка именно от тебя. Просто до поры до времени я себе в этом не признавался.

И потому нет и не может мне быть прощения ни на этом, ни на том свете...

### **Жизнь еще при тебе, но почти уже без тебя...**

Операция шла долго, и у меня, сидящего перед оперблоком в коридоре, появилась надежда на лучшее, ведь при раке самое страшное, когда операция короткая: значит, разрежали и зашили. Но вышедший из операционной и выжатый, как тряпка, хирург хмуро сказал: «Сделал все возможное. Все оказалось гораздо хуже, чем предполагали, чем показал рентген: пришлось убрать все правое легкое. Очень поздно, уже затронуты лимфоузлы. Но будем ждать результатов гистологии. Примерно через неделю».

Через неделю, налив себе и мне по полстакана принесенной мною в качестве презента какой-то элитной, в красивой бутылке, водки, он, смертельно уставший после очередной безнадежной операции, сказал: «Мужайтесь: самая плохая форма рака: плоскоклеточная карцинома. К тому же третья стадия. В девяносто девяти случаях — метастазы, и, как правило, в мозг. Если уже их там нет...»

Так началась наша Голгофа...

Впрочем, моя — в наказание за грехи мои — продолжается по сей день...

И чем дальше, тем мучительней.

Что я должен осознать в результате этих мучений?..

Каким образом искупить — хоть отчасти! — неискупимый грех?..

Не приведи Господь кому пережить подобное! Хотя миллионы людей каждый год именно это и переживают, каждый седьмой ныне умирает от рака. А остальные этого не замечают. Или стараются не замечать, чтобы не беречь раньше времени душу: авось пронесет. Кого-то и пронесит. Но только в одном нашем городе раковый центр, своего рода приготовительный класс или призывной пункт на тот свет, занимает целый квартал, а чтобы попасть в него, нужно вытерпеть огромную очередь. Люди месяцами ждут своего «счастливого» часа, чтобы в большинстве своем оттуда не вернуться. Огромные очереди за смертью, потому что редко кому выпадает счастье выйти оттуда живым, но и это еще не значит, что ты снова туда не вернешься: смерть, замешкавшись, просмотрела, что ты шмыгнул не в ту дверь, и рано или поздно исправит ошибку...

Проезжая мимо ракового центра по гудящему главному городскому проспекту, люди, кто знает, стараются не замечать его, некоторые даже заранее поворачиваются спиной. А кто до поры до времени не знает, что за серые здания без архитектурных излишеств занимают огромный квартал за филиалом преуспевающего коммерческого банка и за ярко раскрашенной лукойловской бензоколонкой, те не подозревают, что когда-нибудь займут очередь в эти серые дома, если не сами, то их родные или близкие...

Мы быстро попали туда — по знакомству, можно сказать, по благу... Блат, чтобы попасть в очередь за смертью!.. Неизвестно, по какому принципу рак, или кто или что стоит за ним, выбирает жертву. Да, больше вероятность у

курящих, у пьющих, да, какую-то роль играет наследственность. Но порой человек не курит, не пьет, и вообще следит за своим здоровьем, никому за всю свою жизнь не сделал зла, в Бога верует, и вдруг — рак. Другой и курит, и пьет, и богохульствует, и вор, и бандит — и живет себе. Рак неожиданно может выбрать богатого или бедного, счастливого или несчастного, для него ничего не значит депутатская и прочая неприкосновенность. Теперь он уже не щадит детей и даже младенцев. А говорят, было время, и не так давно, еще в начале прошлого века, когда врач-хирург за всю свою практику не встречал ни одного больного раком. Я вспоминаю растерянность одного знакомого, преуспевающего предпринимателя. Все вроде бы прекрасно в жизни складывалось. Сумел практически с нуля поднять огромное производство, дал сотням людей рабочие места, построил для своих инженеров и рабочих два больших дома, молодая красивая жена, двое детей. Построил церковь, крестился в ней. Бог вроде должен был любить такого человека. И вдруг — рак. Только раскрутился, только бы дальше жить, на радость себе и людям — и вдруг рак... Что, Бог посчитал его достаточно подготовленным для того света? А что, такие люди не нужны на этом свете? Тогда получается, что, действительно, на Земле только нечто вроде подготовительного класса или исправительной колонии.

Что касается нас, все началось тогда, когда рентгенолог-пенсионер, несколько недель замещавший штатного поликлинического рентгенолога, который в твоем снимке грудной клетки ничего подозрительного не обнаружил и ушел в отпуск, забыв расписаться в заключении, — а тебе это заключение срочно нужно было для предоставления в хирургическую клинику для предполагавшейся операции на колене, — с огромным опозданием, можно сказать, случайно, обнаружил у тебя рак. Если бы рентгенолог из поликлиники не забыл расписаться, ты так и ходила бы, может, до конца, потому как легкие при раке не болят, только общая слабость, на которую ты в последние годы жаловалась постоянно. И неизвестно еще, что было бы лучше: неожиданный конец или эти трехлетние послеоперационные мучения, а главное — мысли, мысли... Да, может, короче был бы твой жизненный путь, но не было бы этих тяжелых трехлетних страданий и напрасной надежды... Может быть, операция на какое-то время тебе продлила жизнь. Но что это была за жизнь?! Три года постоянных мучительных мыслей... Но, может, в этих мучениях и мыслях весь смысл рака, не только как Божьего наказания, но и как духовного осмысления прожитой жизни и своих грехов? Своего рода духовная подготовка, без которой не берут в ту заоблачную страну?..

Все началось не с прочитанного рентгеновского снимка, на самом деле все началось с того дня, когда однажды, придя с работы, я нашел тебя в большом смятении: скорее всего, не небрежно, а неумело поставленная тобой в моем кабинете перед иконой Божией Матери свеча, когда ты отвлеклась на кухне, повалилась на икону, уткнувшись в висок Младенца-Бога, обуглив его, но пожара не устроила, как бы только предупредила о чем-то.

В твоих глазах стоял ужас.

Я, как мог, старался тебя успокоить. Что это ничего не значит, что и роняют иконы, и нечаянно разбивают. Просто нужно сходить в церковь и помолиться по этому случаю, попросить прощения. Я, как мог, успокаивал тебя, хотя сам холодел от предчувствия беды. Почему свеча уткнулась именно в голову Бога-Младенца? Что этим нам пытаются сказать? О чем предупредить?

В церковь ты ходила, как и я, не раз, и не в одну, пытаясь отмолить свой нечаянный грех. Но у меня в голове, словно гвоздь, засел точащий вопрос: что это было за предупреждение?.. А в том, что это было предупреждение, я не сомневался: уперлась в висок, но не устроила пожара. Почему именно в висок?

Постепенно этот случай вроде бы забылся. По крайней мере, оба мы о нем вслух старались не вспоминать. Но у меня он шилом торчал в голове, время от времени напоминая о себе. Знаю, что и у тебя тоже. Время шло, и порой приходила успокаивающая мысль: авось пронесет.

Но когда ты пришла из поликлиники с потухшими глазами, и еще позже, когда поставили окончательный диагноз, в котором говорилось о возможных метастазах в мозг, я понял, что это действительно было предупреждение... Видимо, там, наверху, уже тогда все было решено: не прощен был наш совместный — непрощаемый! — грех. И я знал, что это был за грех... И ты знала... Но оба мы делали вид, что не знаем или что вообще не было никакого греха. Но меня Всевышний, видимо, решил наказать вдвойне...

Ты умерла от метастазов в мозг. Я снова и снова вспоминаю ту упавшую на висок Младенца-Бога свечу.

И я не знаю, что делать с этой иконой...

### **Жизнь при тебе, но почти уже без тебя...**

Как мы в первый раз после твоей операции, после тяжелейшего восстановления ехали на дачу! Ты уже вообще не верила, что увидишь ее, а вот мы, как только позволили тающие снега, поехали! Была вторая половина апреля, время пробуждения всего сущего. В лощинах с северной стороны нашей горы, которая называлась Девичьей, еще лежал снег, я объезжал его пригорками, в небе звенели жаворонки, они были невидимы в вышине, и было ощущение, что нежно звенит само небо; внизу расстилался широкий разлив аксаковской реки Демы. Какими глазами ты смотрела на все это! Как ты любила эту пору! Все кругом наполнилось весной, жизнью, и казалось нелепым само существование смерти.

Мы не доехали до нашего сада каких-то пятьсот метров. Путь преградил сугроб, надутый в лес с поля. Как ты перебиралась через этот последний сугроб, ноздреватый, присыпанный вытаявшими старыми листьями, в то же время первые свежие листочки уже распускались на деревьях... На все это ты смотрела такими глазами, словно видела впервые. Увы, это была твоя последняя весна. Я отвернулся, чтобы спрятать слезы, так не хотелось в это верить.

— Господи, оставил бы ты меня на Земле еще на какое-то время! — шептала ты, прижавшись лбом к березе. — Я никому не мешала бы, не лезла бы ни в какие дела, в твои тоже, — повернулась ты ко мне, — копалась бы в земле, кормила бездомных собак...

### **Жизнь еще при тебе, но почти уже без тебя...**

Немного отойдя от операции, ты настояла, чтобы врачебная комиссия сняла с тебя статус нетрудоспособной. Силы вроде бы возвращались к тебе. А в саду ты вообще ожила. Ты собиралась выйти на работу. Я не противоречил, хотя знал, что этому, увы, не бывать. Потому как после очередной плановой консультации, когда лечащий врач, как мне показалось, искренне похвалила тебя, что ты хорошо выглядишь, а ты действительно хорошо выглядела, перед уходом улучив момент, я спросил ее о наших перспективах.

— Это временное улучшение, — ища что-то на столе и не поднимая глаз, сухо сказала она. — Третья стадия... Я могла бы соврать, но потом вам было бы еще тяжелее... Конечно, дай бы Бог!.. Надеяться можно только на Него...

Однажды к вечеру, сидя на скамеечке перед садовым домом, уставшая после трудов на земле, счастливо оглядывая сделанное за день, поглаживая любимых своих собак, которые были тебе вместо детей, одной рукой Динку, другой — Дружка, прильнувших к тебе с двух сторон, ты вдруг спросила меня:

— Я тебе не мешаю на этом свете?

— Ну, ты что?

— Знаю, что ты всегда мечтал о детях. Считаю меня психопаткой, ты болясь иметь детей от меня. Твое время еще не ушло, женишься на молодой... У тебя никого нет? Не бойся, я не буду устраивать тебе скандалов. Дурой я была. Мне просто нужно знать, может, зря я так держусь за этот свет, может, я тебе мешаю. Может получится так, что я промучаюсь и промучаю тебя еще несколько лет, а твое время уйдет или тебя не дождутся.

— Ну, ты что?! — я встал перед тобой на колени. — У меня никого нет. — У меня на самом деле никого не было. — А без тебя мне будет очень и очень тяжело на этом свете.

— Правда?

— Правда!

— Я никому бы не мешала, если дал бы Бог, — говорила ты сквозь слезы. — Жила бы вот здесь, среди цветов, птичек и собак. Никому бы не мешала. И зачем я бросилась в эту дурацкую журналистику. Мое призвание — быть врачом. Даже, скорее, ветеринарным врачом, потому что животные такие беззащитные.

И действительно, в силу ли того, что ты часто болела, или в силу особого таланта, ты разбиралась в болезнях и лекарствах лучше многих врачей...

А однажды утром в постели, стесняясь, как когда-то в первую нашу ночь, ты прошептала:

— Ты уже совершенно равнодушен ко мне как к женщине? Почему ты не обнимешь меня? Или ты равнодушен только ко мне?

— Я думал, что тебе это не надо, — растерялся я от неожиданности. — Или что я принесу тебе боль.

— Обними меня...

Потом ты, как в прежние времена, лежала у меня на плече, перебирая мои волосы.

— Это было не против твоего желания? — застенчиво спросила ты. — Впервые в жизни я тебя вынудила, можно сказать, заставила... Мне, наверное, было хорошо, как никогда. Я проснулась от этого желания и сначала даже испугалась его. А потом не могла пересилить себя, разбудила тебя. И сейчас вот думаю: неужели это было мне дано в последний раз, как бы на прощание? Или все-таки, может, это признак перелома и начала выздоровления? Может, Матерь Божия услышала мои молитвы, и Бог меня простил, ведь я всех простила, кроме себя, и живу, как трава, никому не мешая. Только разве мешаю тебе, я вижу, как ты измучился со мной.

Это было короткое хрупко-счастливое время надежды. Потому что и в меня, хотя я знал, что ты обречена, вселилась надежда, что, может, это начало перелома. Бывает же, пусть редко, так: вроде бы уже все, человек на пороге смерти, и вдруг начинает выздоравливать.

Сейчас я думаю: зачем, кто на смертном одре дал тебе это желание мужской ласки и, может, посеял в нас обоих надежду: раз вернулось желание, значит, ты выздоравливаешь и будешь жить? Чтобы потом было еще тяжелее?

Да, в это утро, несмотря ни на что, во мне затеплилась надежда. Потому что ты оживала на глазах. Твоя сестра на радостях сшила тебе несколько новых платьев. словно они могли удержать тебя на этом свете: раз они сшиты, значит, их нужно носить.

Тогда же ты затеяла шитье двух костюмов для меня: темного и светлого, которые я надевал бы в зависимости от обстоятельств и времени года. И вот теперь по всяким торжественным случаям я надеваю их, каждый раз с благодарностью и жгучей печалью вспоминая тебя. Ткани были куплены, наверное, лет двадцать назад, по случаю, когда они еще были дефицитом. Но я обходился покупными пиджаками и брюками, которые менял на другие, когда прежние затирал до лоска. Ты время от времени предлагала, наконец, сшить костюмы, или хотя бы на первых порах один, но я ссылался то на недостаток времени, денег, то еще на что. А тут ты сказала решительно:

— Сколько ткани могут лежать! Если умру, по крайней мере, несколько лет тебе будет в чем ходить.

Скрепя сердце, я согласился. Заодно ты собралась отремонтировать свою уже потрепанную шубу, а потом остановилась из суеверия: если выберусь, то на следующий год... А я загадал: тогда куплю тебе новую.

Как раз в это время ты увидела телепередачу о чудодейственном препарате мегамине, который придумали и производили в маленькой фармацевтической фирме в Хорватии. Только что закончилась страшная братоубийственная война между сербами и хорватами, свидетелем которой мне пришлось быть, страшнее которой, кажется, не было в XX веке, война была не просто между двумя братскими славянскими народами, а народами, говорящими на одном языке, которые, более того, на самом деле суть единый народ, исповедующий Христа. Только часть его, хорваты, в силу исторических обстоятельств приняла католичество и устроила геноцид православных сербов, которые мешают им, хорватам, строить Великую Хорватию. Злодеяния хорватских националистов были столь чудовищны, что в штат музея геноцида сербов в Белграде была включена медсестра, потому что люди падали в обморок от жутких свидетельств этого геноцида. Что позже меня поразило: знакомый предприниматель, через несколько лет после войны по дешевке купивший дом в Хорватии и пригласивший меня в гости, был удивлен причиной моего отказа, он не верил, что хорваты способны на такое: «Наверное, это пропаганда, тихие приветливые люди, только немного ленивые и не очень обязательные», — говорил он. И вот теперь судьбе было угодно, чтобы за спасительным для тебя лекарством я обратился к хорватам. Ученый-хорват, придумавший этот препарат и якобы успешно применявший его в своей клинике, скорее всего, не имел отношения к геноциду сербов, но все равно... Я позвонил в Женеву своему знакомому, который работал в центральном аппарате ООН, и он по своим каналам достал этот препарат и по дипломатической цепочке передал в Москву, где я его и забрал. Ты с воодушевлением пила этот препарат, тебе казалось, что это помогает, и рассказывала о нем другим. Это было короткое хрупко-счастливое время надежды.

Но чудодейственный препарат, который, как оказалось, не был даже внесен в список лекарственных средств и на самом деле был чем-то вроде биологически активной добавки, правда, обладающей мощными антиоксидантными свойствами, уничтожающей свободные радикалы, вызывающие рак, не помог. Все же, что тебе предписывалось в онкологическом центре, как я понял, только на какое-то время отодвигало твою смерть.

А перед этим мне дали телефон так называемой народной целительницы в Москве, которая якобы разработала свою методику лечения рака на основе растительных ядов и вытаскала много людей чуть ли не с того света. Меня, конечно, насторожило, что она без каких-либо оговорок отвергла официальную онкологию, кроме экстренного хирургического вмешательства. Она оговаривала, что соглашается браться за лечение только в том случае, если больной не проходил химиотерапию, которая лишь ослабляет организм, так как вместе с раковыми разрушает и здоровые клетки организма. Конечно, я не исключал, что это ее условие могло быть ничем иным, как хитрой уловкой на случай заведомо печального исхода, потому что к целителям обращаются, как правило, уже безнадежные больные, уже после целого ряда курсов химиотерапии. На раковых больных, когда человек цепляется за любую соломинку, как я понял, делается огромный бизнес. Но есть, наверное, и истинные целители? И как отличить их от шарлатанов, наживающихся на чужом горе? В этом же случае меня подкупило то, что она была, — по крайней мере, назвалась, — доктором биологических наук, хотя смутило, что, назвав по телефону одну сумму за свои препараты, с моего друга, которого я попросил забрать их у нее в Москве, она взяла вдвое больше. Когда я об этой целительнице сказал твоему лечащему врачу, вдруг это ее заинтересует, даже если не применительно к тебе, она усмехнулась:

— Пробуйте, если хотите, запретить я не могу, но после них все равно рано или поздно возвращаются к нам.

Целители отрицают официальную медицину, а официальная медицина отрицает целителей, тоже наживающихся на человеческом горе, и я уже не знал, кому верить. Я в растерянности метался между ними. Ты же почему-то сразу не



поверила этой целительнице и скоро, при первом ухудшении, перестала пить ее препараты, хотя та предупреждала, что может быть обострение, более того, что это обострение признак того, что организм начинает бороться с раком.

Как бы там ни было, в один день все резко покатилося назад: улучшение твоего состояния оказалось, как и предупреждала меня лечащий врач, временным, мнимым. Глаза твои снова стали гаснуть, кроме того, они стали как бы выпирать изнутри, это было уже зримое действие опухоли головного мозга, хотя врачи об этом еще не говорили. Я снова и снова вспоминал свечу, упавшую на икону и обуглившую висок Бога-Младенца...

### Жизнь при тебе, но почти уже без тебя...

Ты еще была жива, но в твое больничное отсутствие постепенно один за другим стали погибать посаженные тобой цветы, хотя, скорее всего, мистики тут никакой не было: они погибали в результате моего неправильного, а скорее, нерегулярного ухода, когда ты в очередной раз оказывалась в раковом центре, а я жил как бы в подвешенном состоянии, метался между ним, работой и домом.

Но так же неумело и нерегулярно — то поливал мало, то, наоборот, заливал — я ухаживал и за другими цветами, посаженными мной, но они держались. Последним из твоих растений погиб, засох подаренный мной кипарис. Обнаружила это ты, когда я в очередной раз привез тебя домой на побывку. А я и не заметил, что кипарис высох, продолжал его поливать.

— Значит, все! — обреченно и спокойно сказала ты. Потому что, когда в тот страшный день я купил кипарис, ты загадала: «Приживется кипарис, может, выживу и я».

— Но я просто, видимо, несколько дней его не поливал или очень мало поливал, боясь залить, — попытался я тебя успокоить. — Ты ведь всегда меня ругала, что я заливаю цветы, и у них начинают подгнивать корни.

— Это ничего не меняет, — печально сказала ты.

И как раз в это время подвернулась халявная поездка в Париж. Первой об этой поездке узнала ты: позвонили из Москвы домой, не застав меня на работе, разумеется, не подозревая о наших печальных делах.

— Не поеду я в этот чертов Париж! — сказал я тебе. Мне на самом деле не хотелось ехать в Париж, никуда не хотелось. Что-то сломалось во мне еще до того страшного дня, когда нам сообщили диагноз-приговор.

— Езжай, — сказала ты. — Когда еще удастся. Париж — все-таки Париж. Я не хочу, чтобы ты из-за меня не увидел Париж.

— Я на самом деле не хочу в Париж, — искренне сказал я.

— Езжай! Развейся немного. Впереди самое тяжелое. Ухаживать, как говорят, я буду очень тяжело. Вспомни Чебаевского. Ухаживая за умирающей от рака женой, он умер на день раньше ее, не выдержало сердце. Так вместе и лежали сутки, мертвые, в одной постели... Езжай, пока я еще на ногах, — твердо сказала ты, можно сказать, решила за меня...

Прежде я мечтал попасть в Софию, в Прагу, в Варшаву, в Рим, наконец, в Иерусалим, но почему-то никогда не стремился в Париж, может, потому, что туда все стремились, или же считал это неосуществимой мечтой: ну придется вдруг увидеть — хорошо, не придется — тоже особой печали не будет. А ехать сейчас? Но в то же время поехать сейчас — может, дать тебе какую-то надежду, что не все у нас с тобой так безнадежно...

Прежде всего, наверное, этим состоянием души и объяснялось, что Париж не только не потряс, но даже не удивил меня. Может быть, только Русская церковь на улице Дарю да кладбище Сент-Женевьев-де-Буа тронули мое сердце. Но они были печальной частью России...

Я ходил по Парижу как по мертвому городу-музею и думал, как страшно одиноко тут жилось русскому изгнаннику. Католические храмы меня угнетали: своей величественностью, беспредельностью сводов, утонченностью

каменной резьбы и в то же время какой-то холодной душой, давящей на мою русскую суть. Бог в них мной ощущался жестоким, немилосердным, холодным и равнодушным к человеческой судьбе, как эта тончайшая каменная вязь. Я не испытывал в величественных католических храмах того тихого трепета, какой я, может, не очень верующий, испытывал в православных храмах, особенно в небогатых сельских церквушках...

### **Жизнь при тебе, но почти уже без тебя...**

В бессилии помочь тебе, я жил с постоянным чувством того, как сокращается твое, а заодно и мое, оставшееся на этом свете, стремительно убывающее время: перед глазами у меня то и дело возникали песочные часы. За полгода до Парижа, оказавшись в Сирии, я объехал древние монастыри первых веков христианства, где просил Бога и его святых угодников за тебя, — мне, я знал, прощения быть не может, и был спокоен по этому поводу. Так я оказался в великой Сирийской пустыне. Я попросил остановить машину и ушел в сторону от так неуместной здесь черной ленты асфальта. Великое молчание раскаленной каменной равнины и выцветшего, без единого облачка, неба оглушило меня. Это было великое молчание Вечности и остановившегося или, может, наоборот, ускоренно уходящего Времени. Куда оно уходило? Кто властелин его? В одинокой палатке бедуина, который, судя по снисходительно-спокойному взгляду, которым он меня окинул, был тоже частицей Вечности, я посмотрел на термометр: в девять часов утра было 47 градусов в тени. В голове слегка звенело от раскаленного воздуха, от ощущения Вечности и от печальных мыслей о тебе и о себе, от которых некуда было деться...

Здесь, в великой Сирийской пустыне, лежащей как бы между двумя мирами, между Небом и Землей, еще более была очевидна нелепость ныне существующего на планете мира: искусственных государств, политических партий, может быть, даже бессмысленность самого человеческого бытия: вслушиваясь в эту звенящую тишину вечности, трудно было поверить, что в какой-то сотне километров от этой тишины американцы бомбили Ирак, гибли тысячи людей. Одиночество, которое всегда, сколько я помню себя, было со мной и во мне, окончательно охватило меня, и я понял, что смысл существования человека на Земле — только в заботе о ближнем. Но почему я понял это только сейчас? Или только вчера, когда беда уже обрушилась на нас, и моя забота о тебе была уже бесполезной?

По пути в Сирийскую пустыню, в складках рыжих холмов, в которых, цепляясь за жизнь, пряталась редкая растительность, то и дело попадались наслоенные друг на друга развалины древнейших, древних и не очень древних городов, государств, целых цивилизаций. Наслоенные друг на друга пласты человеческой жизни. Границы нынешних садов, огородов под разными углами равнодушно пересекают стены разрушенных древних храмов, жилищ, пренебрегая ими, словно их и не было, словно они всего лишь естественное нагромождение камней. Порой половина древнего дома на участке одного хозяина, вторая — на участке соседа, или нынешняя граница между огородами пересекает древний фундамент по диагонали, в одном саду стоит, обвитая плющом, чудом сохранившаяся величественная мраморная колонна, в другом — богатый, может быть, даже царский древний саркофаг, ныне используемый как сарайчик для хранения садового инвентаря. Миллионы людей до нас уходили в мир иной, если он, конечно, существует, с такими же, как ныне, болезнями и мучениями, но этих мучений и страданий человеку было как будто мало — и он уничтожал себя и себе подобных в бесконечных, сменяющих одна другую войн. Зачем эти миллионы приходили в мир? Каков смысл их страданий? Копятся ли эти страдания где-нибудь, чтобы потом, достигнув критической точки, превратить этот мир в иное измерение, измерение доброты? Или, наоборот, печальна участь Земли, превращенная в многослойное кладбище ци-

визаций и человеческих страданий, она погибнет, как, может быть, в свое время погибла или специально была уничтожена жизнь на Марсе и на других, может, прежде обитаемых, планетах? Неужели Земля действительно даже не детсад, не школьный класс, в котором мы учимся жить, а что-то вроде концлагеря для преступников или закрытого пансионата для безнадежных душевнобольных? Или многовековая, с самого начала появления на Земле человека, цепь бесконечных войн, человеческих страданий — это своеобразная школа, в которой каждое поколение начинает учиться заново, как бы с первого класса, и потому ошибки, страдания одного поколения не становятся уроками для следующего? И так из века в век. Только этим можно объяснить, почему уроки прежних поколений, народов, цивилизаций не пошли нам впрок. Может быть, поэтому человечество не взрослеет нравственно? Может, в принципе на Земле ничего разумного невозможно построить?..

Жить с этим чувством очень трудно. Нужно перейти какой-то рубеж, чтобы смириться с этим. Рубеж, какой, наверное, переходят, принимая монашество, обрубая даже мечты о земном счастье. Но я не могу переступить этот рубеж, это против моей сути. Видимо, чтобы человек созрел для этого, Всевышний в качестве урока посылает ему страдания и неизлечимые болезни, чтобы постепенно мы отрекались от всего земного?

Моя жизнь для меня давно потеряла главный смысл, у нее на Земле больше не было духовной опоры, и в то же время меня не прельщал другой мир, в котором мы якобы бессмертны, и теперь здесь, в великой Сирийской пустыне, я особенно почувствовал ненужность, бессмысленность своей жизни без тебя. Если бы это было возможно, если бы это спасло тебя, я теперь жил бы только для тебя и этим вернул бы смысл своей жизни. Только теперь, когда уже поздно, я понял, почему мы, каждый по-своему любившие друг друга, так и не нашли общего языка. Ты забыла простую заповедь: «Да убойтца жена мужа», хотя смысл этой заповеди совсем не в слове «бояться», а я, мучимый гордыней, не умел прощать.

В горном ущелье в деревне Малюле я молился о тебе в монастыре Св. Феклы, монастыре первого века христианства, где службу ведут еще на древнеарамейском языке, языке Иисуса Христа. А за день до этого, наоборот, на высокой горе в монастыре Седная я за тебя молил Бога и Божию Матерь у ее чудотворной иконы, которую, по преданию, писал сам св. апостол Лука. Я, видимо, не верующий сердцем, но только умом знающий, что чудо существует, как и знающий то, что мы его с тобой не заслужили, на чудо все-таки надеялся. Из монастыря Св. Феклы я привез тебе святой воды, по каплям собиравшейся в выбоину в скале, а ты по ошибке полила ею комнатные цветы, чем привела меня в полное отчаяние...

До свалившейся на нас беды мы жили вместе, но каждый сам по себе. И, как теперь понимаю, каждый в своей гордыне. Мы жили вместе, но словно в параллельных мирах, каждый в своей пустыне. Ты не могла что-то перешагнуть в себе и не только не смогла освободить меня от одиночества, но и, приняв его в штывки, усугубила его. Ты поняла его — как вызов тебе, как нелюбовь к тебе, как я ни пытался тебе объяснить обратного. Я, оскорбившись, еще больше замыкался в себе, а ты еще больше подозревала, что моя душа где-то в другом месте. Потом, после твоей смерти, на обрывках бумаги я буду находить твои или чужие, но созвучные твоей душе, стихи:

Еще — надеюсь и терплю,  
А сил отпущено так мало.  
В тревожной суете вокзала  
Слова прощальные ловлю.  
Чужие, не твои черты,  
Чужие, не родные руки.  
В глазах — прелюдия разлуки.  
И я — не я, и ты — не ты.

И все оборвалось. Как сон...  
И в грустной музыке рассвета  
Мне хочется кричать об этом,  
Но в горле застывает стон...

Я стоял посреди Сирийской пустыни и заворуженно смотрел, как, зарождаясь на моих глазах, мимо меня, немо и медленно, шли друг за другом на восток пыльные смерчи, в ту сторону, куда вела раскаленная лента асфальта и где, в какой-то сотне километров от меня, шла страшная война...

### Жизнь при тебе, но почти уже без тебя...

В Сирии, выехав утром красивым зеленым ущельем из города Алеппо, через какое-то время въехали на высокую, поднимающуюся над всей окружающей местностью гору — к бывшей обители Симеона Столпника. Разрушенный храм на месте столпа, на котором 37 лет, в непрекращающихся молитвах, днем и ночью, знойным иссушающим летом и студеной горной зимой, стремясь уйти от человеческой тщеты и приблизиться к Всевышнему, жил некто Симеон, прозванный Симеоном Столпником. Сначала его считали сумасшедшим, а потом возвели в ранг святого. Это было полторы тысячи лет назад! И все эти полторы тысячи лет люди со всей планеты идут и едут сюда, чтобы понять, что двигало этим человеком, святым или сумасшедшим. И вот я, тоже страдаемый бедами, в попытке понять смысл жизни, оказался здесь. Правда, еще неделю назад я ничего не знал о Симеоне Столпнике. Слышать — мельком слышал, конечно, даже читал, но глубоко не задумывался о сути этого подвига или безрассудства. И вот я тоже здесь. Правда, ничего просить я здесь не собирался, раз не понимал смысла его подвига, я был просто любопытным странником. Я пытался понять смысл его стояния, но не мог. Как не понимал и не принимал смысла юродства, хотя сам, может, в какой-то мере по жизни юродивый.

Я прикоснулся рукой к остаткам каменного, полторы тысячи лет назад бывшего двенадцатиметровым, столпа, который время и люди, растаскивающие его, верующие в его святость — как святыню, не верующие — на сувениры, укоротили до полутора метров, мой спутник припал к нему лбом. Его глаза светились радостью, а я не понимал всего этого, я не хотел врать ни себе, ни ему. Зачем рваться в небо, по крайней мере, раньше времени, с этой прекрасной Земли? Может, Симеон действительно был всего-навсего сумасшедшим? Ослепительной синевой сияло небо, внизу под нами лежала долина, где паслись стада, желтели поля, зеленели оливковые рощи. Словом, земной рай, жить и жить бы тут, но почему-то в присутствии столпа давила эта райская идиллия, почему-то трудно было оставаться здесь долго. И в то же время — хотелось остаться здесь навсегда.

Что за тайну-истину Симеон открыл за 37 лет стояния на этом камне себе и людям, которые вот уже полторы тысячи лет идут к нему? Может, потому и идут, что его тайна так и осталась тайной? Может, он так и умер, ни с чем? А люди ищут в этой пустоте тайный смысл?..

Я смотрел сверху вниз: по тропинке в гору медленно поднимаются к Симеону Столпнику паломники, одни — чтобы найти ответы на извечные вопросы, другие, больные, увечные, — в надежде, что он поможет подольше остаться на этом свете, потому как считается, что одно только прикосновение к столпу излечивает от многих болезней. Шли верующие и сомневающиеся. Он же, может, просто хотел уйти от человеческой суеты и тщеты. Может быть, это было великой жертвой? А может, обыкновенной гордыней: жизнью такой обратить на себя внимание Бога и тем самым приблизиться к Нему? Бесконечная молитва днем и ночью, в ясную погоду и в дождь, в пыльную бурю и в жаркий раскаленный день, в холодную сирийскую зиму. Но не было ли строительство его столпа похожим на строительство Вавилонской башни?

«Прикасаемся и прикасаемся к останкам столпа и думаем, как мог святой Симеон 37 лет пробыть на нем? А ведь он неустанно возносил к Богу свою молитву. Многих спас. Какая сила воли, духа! Сила духа! Мужество! Благодать, сошедшая свыше! Дар Божий!» — на обратном пути проникновенно говорил мой спутник.

А я молчал. Хотелось спросить: кого он спас? Каким образом? Я, низменный червь, не мог представить, как можно не мыться столько времени. Неужели святость исключает элементарную чистоту тела? Не самообман ли все это? И если мой спутник уходил с холма просветленным, то я — еще более смятенным. Я не понимал смысла этой жертвы, самоистязания. Нужна ли такая жертва Богу?

### **Жизнь при тебе, но почти уже без тебя...**

Надо признаться себе, что наша вера в Господа неглубока, или ее вообще нет, она не идет дальше того: а вдруг поможет?

### **Жизнь при тебе, но почти уже без тебя...**

После Сирии я оказался в Черногории — с незабвенным моим другом и великим православным подвижником скульптором Вячеславом Михайловичем Клыкковым. Не знаю, он ли попросил или предложили наши черногорские друзья, но 12 мая, отложив все другие дела, мы поехали в вырубленный высоко в горах в отвесной скале монастырь Святого Василия, как оказалось, в день его преставления.

Какие только чудеса исцеления за Святым Василием не числились! От автомобильной трассы узким и крутым восьмикилометровым серпантинном над пропастью мы поднимались к монастырю, обгоняя обремененных тяжелыми болезнями паломников, некоторые из них весь этот путь от автотрассы, прося исцеления, шли уже который день на коленях...

Прижавшись лбом к холодной стене-скале храма, я и здесь просил за тебя...

Мог ли я предположить, что это последняя наша совместная дорога со Славой, только так Вячеслава Михайловича любовно называли в теперь уже бывшей Югославии. Мог ли я предположить, что его изнутри уже тоже, пока еще тайно, съедает тот же проклятый рак и что ему осталось жить всего полтора года... Ему не зачлись ни памятник игумену всея Руси Сергию Радонежскому — в России и Сербии, ни памятник Николаю Чудотворцу — в России и в Италии, ни памятник святой великомученице Елизавете Федоровне, ни памятник Пресвятой Богородице здесь, в Черногории, открывать который мы сейчас прилетели, ни памятники другим православным святым, ни весь его титанический подвижнический труд во славу Божию и во славу России. Ни восстановленный храм на месте погибшей родной деревни, которую он мечтал возродить и собирался первым поставить там дом, чтобы быть примером для других, и которую теперь без него никто не возродит. Неужели он, у кого на Земле осталось столько незавершенных дел, который был так необходим тут, потому как в России осталось мало подобных ему людей, уже более был нужен там? После тройных похорон в один год: сестры, матери и тебя — у меня не хватит душевных сил поехать на его похороны. Потом я буду оправдывать себя тем, что, может, по воле Божией, а скорее, по его воле — мне не нужно было видеть его в гробу, как до этого, в последние его месяцы, — поверженным смертельной болезнью, что он должен остаться в моей памяти сильным, мощным, несокрушимым. Я соберу душевные силы поехать только на годовщину: прекрасный, белокаменный, поставленный им по собственному проекту храм одиноко стоял на пустыре, на месте погибшей деревни, в окружении заброшенных полей, и рядом — его одинокая могила... Неужто Господь был против, чтобы возродилось хотя бы одно село — в пример другим, как символ возрождения России?

Теперь я думаю, может, тогда Слава сам напросился поехать к Святому Василию? Может, он уже тогда все знал о себе? Вспоминаю, как он долго, более часа, на коленях, молился перед образом святого. Ведь первый его приступ, когда в мастерской ночью он упал с лесов, а мы посчитали, что это просто от переутомления, случился незадолго до этой поездки.

### **Жизнь при тебе, но уже почти без тебя...**

Чтобы хоть что-то сделать для тебя, хоть как-то уменьшить, сгладить свою вину перед тобой, хоть как-то оставить тебя на этом свете — в памяти других, не только меня, даже после меня, раз у нас нет детей, я посвятил тебе один из своих последних рассказов — о странном сорочонке Тишке, неизвестно почему вдруг возлюбившем меня: стоило мне приехать на дачу, он откуда-то прилетал, безбоязненно садился передо мной или даже мне на плечо и что-то лопотал и лопотал, словно предупреждал о чем-то. Я позвонил в Москву в издательство, чтобы успеть в корректуре поставить посвящение. Успели, как и успели прислать книгу. Я оставил ее у тебя на подушке — как бы случайно открытой на странице с посвящением.

Ты, по крайней мере, внешне — осталась к этому равнодушной. Что-то хотела сказать, но промолчала...

Таким образом я попытался хоть как-то искупить свою вину перед тобой, хотя она была неискупима, и удержать память о тебе на этом свете...

### **Жизнь при тебе, но почти уже без тебя...**

Где-то после Нового года позвонила моя единственная сестра: перенесла операцию, что-то с печенью, чувствует себя плохо. В своих печальных заботах я не придал этому серьезного значения: после операции всегда чувствуют себя плохо. Оказалось, что родственники скрыли от нее, что у нее рак, одновременно скрыли и от меня, полагая, что мне хватит и одного рака.

Ты говорила с сестрой по телефону, тоже успокаивала, что после любой операции тяжело: «Мне вот конец предписан, а ты, что сравнивать, постепенно поправляешься...» С сестрой ты дружила.

Но летом позвонила племянница, сказала, что дни сестры сочтены, рак печени, что если я сколько-нибудь повременю с приездом, можно и не успеть. Я, не откладывая, поехал, от сестры ничего не осталось: кожа да кости, лимонно-желтая, высохла больше, чем даже ты, на лице ясная печать смерти. Но, в отличие от тебя, она верила до последнего часа, что выздоровеет, потому что не знала, что у нее рак, что она обречена.

Как она смотрела в окно, провожая меня... Перед тем как сесть в машину, я оглянулся и встретил ее взгляд, глаза ее знали, что она обречена, что мы видимся в последний раз, а она не знала. Я отъехал за угол и долго стоял, прежде чем, наконец, решился выехать на автостраду... Я знал, что больше я ее живой не увижу. Когда я через неделю приехал на похороны, мне рассказали: «Постеснялась попросить тебя, чтобы ты забрал ее с собой в город, она верила, что если бы ты забрал ее в областную больницу, ее непременно бы спасли...»

Когда позвонили, что моя сестра умерла, неожиданно опередив тебя, и тоже от рака, ты совсем замкнулась в себе и печально успокоилась. Ты поняла, что никакого чуда тебя не ждать, что очередь за тобой...

### **Жизнь с тобой, но почти уже без тебя...**

Ты упорно, с трудом держа лопату, копалась в саду-огороде. Ты считала, что не можешь умереть, пока в саду, который был твоим детищем, не были закончены все предосенние работы...

Ты уже с трудом ходила. Без слез не могу вспомнить, как ты собирала свои последние в жизни грибы: уже спотыкаясь, с тростью, которую купили,

когда много лет назад, после травмы в горах, мне сделали операцию на ноге по поводу остеомиелита. Потом я хотел ее выбросить, а ты меня остановила: может, еще пригодится. И вот пригодилась. Еле передвигая ноги, с трудом ты вышла за ворота в березовую рощу. Корзину держать в руках ты уже была не в силах, потому взяла пластиковый пакет и уже через полчаса вернулась с ним, полным аккуратных, один к одному, молодых сырых груздочков. Какой гордостью и какой печалью при этом светились твои глаза: сосед-грибник только что до тебя прошел рощей и ничего не нашел. Зачем тебе был нужен тот свет, даже рай?!

Это была, кажется, твоя последняя поездка на дачу. Уже за несколько дней до нее ты то и дело напоминала мне, что по пути нужно будет обязательно захватить в магазин «Дачник» и кое-что купить. Спотыкаясь, опираясь на трость, неестественно возбужденная, неестественно громко разговаривая, ты ходила по магазину и выбирала разные мелочи, которые тебе дома, в саду понадобятся не сегодня, и даже не завтра, а через месяц, через два, может, только на следующий дачный сезон, таким образом ты надеялась продлить свою жизнь: раз ты купила эти вещи, не может же быть, что они останутся не использованными, напрасно купленными?!

Так все это и лежит до сих пор в фирменном магазинном пластиковом пакете...

### **Жизнь при тебе, но почти уже без тебя...**

После очередной химиотерапии у тебя случился микроинсульт, но дежурила в ту ночь твой лечащий врач, ее вовремя позвали, и она успела вытащить тебя почти с того света. Я узнал об этом только на следующий день к вечеру, в больничный тихий час, приехав навестить тебя. Ты уже даже улыбалась, хотя улыбка получилась жалостливой, потому как рот после микроинсульта как бы съехал набок. Ты попросила съездить на дачу, привезти теплый фланелевый халат, в свое время в спешке оставленный там, а заодно проведать собак:

— Вчера они что-то снились мне...

Приехал на дачу, открываю ворота. Вышел встревоженный сосед:

— Что-нибудь случилось? Ночью вдруг завыли все три собаки, и мы никак не могли их успокоить...

### **Жизнь еще при тебе...**

Было прощенное воскресенье, мы оба знали, последнее в твоей жизни. Я встал перед тобой на колени:

— Прости меня, Воробышко?! — хотя знал, что прощения мне нет и не может быть, и ничего уже невозможно изменить: обратно, чтобы что-то поправить, не то что года, дня нельзя отсчитать.

— Я тебя давно простила! — опустила ты руки на мою грешную голову, мягко вороша волосы, и мне стало немного легче и гораздо горше, наверное, мне было бы легче, если бы ты меня не простила, тогда бы получалось, что ты приняла на себя часть нашей общей вины. Не знаю, простила ли ты на самом деле или постаралась успокоить меня, ведь все равно уже ничего не изменить.

Неужели все твои страдания и все мои страдания были только для одного, чтобы мы, в конце концов, друг друга поняли и друг друга простили? Но для чего? Для будущей жизни, в которой мы встретимся, и все у нас будет иначе? Мы как бы повторим свою земную жизнь, только уже без ошибок?..

Только однажды, измученная страданиями, а главное — страшными безысходными мыслями, ты не сдержалась: «Ты оставил меня бездетной. Ты лишил меня счастья материнства».

Это было не совсем правдой, это было совсем не правдой. В старое время я бы взорвался и наговорил бы кучу возражений, в том числе несправедливых,

что, наоборот, ты оставила меня бездетным, а сейчас покорно встал перед тобой на колени:

— Воробышко, теперь уже все поздно. Теперь мы должны жалеть друг друга, хотя бы потому, что я тоже живу на пределе. И ты меня пожалей хотя бы только потому, что может получиться, что я не выдержу и умру раньше тебя. И хоронить тебя придется чужим людям.

### **Жизнь еще при тебе...**

Я настаивал на соборованиях. Ты не то чтобы противилась, но все время-нила, потому что считала, что соборуют уже совершенно безнадежных, перед самой смертью, а ты все еще надеялась на чудо, в тебе еще теплилась надежда, надежда на Матерь Божию, что она услышит тебя.

— Я все поняла, все осознала, всех простила, но дал бы Бог хоть немного пожить на Земле. Я никому бы не мешала, жила бы на даче с собаками... — в который раз повторяла ты.

Я ожидал, что священник будет говорить об ином мире, о душевном при-утовлении к нему, а он неожиданно стал говорить о надежде, что бывает чудо, когда при раке люди встают со смертного одра, что надо надеяться.

Я стоял позади него, потрясенный: зачем? зачем он обманывал ее? Неужели в этом обмане смысл соборования?

Меня и раньше смущало, что этот священник, статный и благообразный, на проповеди в церкви говорил очень красиво, несколько артистически, прихожанам это нравилось, но меня почему-то как раз эти красивость и артистичность смущали...

Священник отказался от денег. Потом он приехал на отпевание тебя в чужой для него храм — помочь местному священнику, и опять отказался от денег.

Я позвонил ему через год, хотел попросить отслужить литию на твоей могиле, и узнал, что он в очередной раз сорвался, запил (об этом его недуге я не ведал), и владыка в наказание отправил его служить в какой-то отдаленный сельский храм: село все стерпит...

Почему-то у меня из головы не выходит этот священник: добрый, хороший человек, но почему-то мне тогда подумалось, что он, может, меньше меня верует в Господа Бога и в нашу загробную жизнь, может, потому и запил...

### **Жизнь при тебе, но уже почти без тебя...**

Это было уже после последнего курса химиотерапии, по сути, напрасно-го, только еще больше измучившего тебя и, может, даже приблизившего твой уход. Врачи понимали это, но отказаться от нее не могли, иначе их обвинили бы в том, что они не сделали все возможное, и надзирающий орган или я могли бы подать на них в суд. Это одна из страшных тайн онкологии, как и медицины вообще, что некоторые, как правило, очень дорогостоящие лекарства или процедуры предписываются больному и даже обязательны (и лечащий врач при всем желании ничего не может противопоставить этому, ведь он может быть обвинен в смерти больного) только потому, что на производстве этих, зачастую бесполезных и даже вредных, с взвинченными до предела ценами, лекарств и препаратов жирует — вкпе с медицинскими чиновниками — международная мафия по производству медицинских препаратов.

Даже уже став безнадежно больными, когда можно и нужно отбросить в сторону все условности и, может, отдаться родным и молитве, — мы не можем, не имеем права порвать с навязанным нам образом жизни, продолжаем идти на поводу у медицины и социальных служб: иначе не оплатят больничный, иначе не выплатят пенсию, иначе... И продолжаем без сопротивления катиться по проложенному руслу к неминуемому концу. Когда, казалось бы, надо бросить все и попытаться в одиночку, наперекор всему, наперекор тече-



нию поплыть к прежнему берегу жизни. Тогда, может, был бы хоть один шанс из тысячи, из миллиона...

После облечения ты была уже без волос — в парике. Уже — как безнадежная — выписана из клиники, перед этим посажена на наркотики, которые, по утверждениям врачей, или кто из чиновников придумал для красивой отчетности это изуверский термин, — улучшали «качество жизни» (врагу бы не пожелал такого «качества» жизни), с воспаленными и неестественно расширенными глазами от этих наркотиков и оттого, что метастазы опухоли в головном мозге давили на них изнутри. Я снова и снова вспоминал упавшую на икону Младенца-Бога твою неосторожную свечу: может, это бы предупреждение нам? Правда, под воздействием курса радиотерапии опухоль в мозге в последнее время вроде бы локализовалась, даже уменьшилась, это хорошо было видно на рентгеновском снимке, и даже у лечащего врача, сразу после операции сказавшей мне и позже несколько раз подтвердившей, что никакой надежды на выздоровление при плоскоклеточной карциноме третьей степени нет, — появилась надежда на лучшее. Она, оказывается, вопреки своему громадному печальному опыту, вопреки всему, за два года привязавшись к тебе, даже подружившись с тобой, все-таки тоже лелеяла какую-то надежду. Неужели она так с каждым больным? Она дала мне записку к известному профессору-нейрохирургу для консультации на предмет возможной операции на мозге, и ты, беспредельно уставшая от операции по удалению легкого и изматывающего «лечения», и уже смирившаяся с судьбой, сначала совсем не обрадовалась этому, потому что это не обещало ничего, кроме новых страданий:

— Я уже не вынесу этой операции, уже нет никаких сил... Может, смириться?..

Я промолчал, уже не зная, кого больше жалеть, тебя или себя, представив впереди очередной круг наших мучений. Но к вечеру ты уже твердо решила, что пойдешь и на эту операцию, несмотря на все мучения, связанные с ней. Ты по-прежнему страстно хотела жить или хотя бы сколько-нибудь продлить жизнь. Но в последние дни ты стала жаловаться на сильные боли в позвоночнике. Лечащий врач направила тебя на рентген, и по тому, как на следующий день, выйдя из рентгенкабинета, она хмуро, опустив глаза, пробежала мимо нас, сидящих в коридоре в ожидании результата рентгеноскопии, я понял, что дела наши плохи, а ты уже этого не замечала, жила надеждой, связанной с будущей операцией на мозге, ты уже плохо соображала, а лечащий врач, под каким-то предлогом отозвавшая меня в сторону, объявила, что у тебя уже весь позвоночник поражен метастазами, и я видел, что это было ударом и для нее...

Для меня она так и осталась загадкой: лет сорока, миловидная, строгая, немного сутулая, малословная, даже суховатая, никто из больных не видел ее улыбающейся. Нам потом говорили: вам повезло, что попали к ней, потому что за внешней сухостью кроется добрая душа, просто в раковом центре держать себя иначе нельзя, сам сломаешься. Еще про нее рассказывали, что она буквально вытащила с того света, выходила больного, а потом вышла за него замуж. Теперь он, инвалид, терроризирует ее и общую дочь. Не знаю, так ли это на самом деле. Однажды ты попросила меня подвезти ее до дома и обратно: ей нужно было срочно забрать какие-то документы. Я поразился разительной перемене в ней, вне стен ракового центра она была совсем другая: никакой сутулости, моложе, очень красивая, смущающаяся, с очаровательной улыбкой. Потом я еще несколько раз подвозил ее домой или до травмпункта, когда она подвернула ногу и была на больничном, потому что обнаружили трещину в лодыжке, но все равно ходила на работу, потому что не могла или не на кого было оставить своих больных. Мне было легко и приятно с ней, мы как бы подружились, в такие минуты мы говорили с ней о чем угодно, только не о твоей болезни, а если все-таки разговор заходил о тебе, то так, словно ты была здорова и впереди у тебя были долгие годы. Словно между нами не сто-

яла твоя близкая смерть. Она познакомила меня со своей дочерью, студенткой медицинского института. Словом, у нас сложились добрые отношения.

Ты, видимо, заметила это. Потому что однажды неожиданно сказала мне:

— Мне кажется, вы симпатичны друг другу. У нее судьба не сложилась. Я была бы рада, если бы после меня вы нашли дорогу друг к другу.

После этого разговора я невольно задумался. Да, она мне была симпатична. Молодая, красивая, сильная женщина. Кроме всего прочего, за ней, наверное, как за каменной стеной. Но как жить с ней, каждый день встречающейся со смертью?! Как только я вспоминал, кто она по профессии, что она каждый или почти каждый день имеет дело с безнадежными раковыми больными и определяет людей на тот свет, у меня замирала душа. Она будет опаздывать с работы, а я буду думать, что в этот момент у нее кто-то умирает. Моего мужества не хватит и на несколько месяцев жизни с такой женщиной. Или я должен буду в корне измениться и изменить свое отношение к смерти. Откуда в ней такие силы? И, наверное, нужно иметь особое устройство души, чтобы добровольно стать раковым врачом. Или надо быть хладнокровным, равнодушным роботом...

Раковый центр: сколько страданий видел он! Мы говорим о какой-нибудь церкви: эта церковь намолена, ей уже почти сто лет. А сколько молитв было вознесено к Господу здесь? Старушка, старшая медсестра, которая уже пятнадцать лет назад должна была выйти на пенсию, но не уходит, и не только потому, что у нее маленькая пенсия. Я не могу понять, только смутно догадываюсь, что ее держит здесь. Она знает, кто когда умрет, но с каждым ведет себя так, словно он выйдет отсюда здоровым. Наивные подарки безнадежных больных, наивные взятки, которые ничего не изменят в их судьбе. И которые тем не менее берут. Цинизм врачей и медсестер? Но тут есть вторая сторона: если не возьмут, значит, ты безнадежен или безнадежна. А раз взяли, значит, есть какая-то надежда.

Я не могу забыть, как лечащий врач оживленно обсуждала новинки парфюмерии и моды с твоей очередной соседкой по палате, которую перевели сюда после операции из туберкулезного диспансера, с виду вполне здоровой, розовощекой молодой женщиной, которая в мое отсутствие ухаживала за тобой и очень жалела тебя. А потом я узнал от тебя, а ты не могла узнать ни от кого другого, кроме лечащего врача, что твоя соседка не просто безнадежна, но что ее дни сочтены, и вся ее операция состояла в том, что разрезали и, убедившись, что легкие представляют собой сплошную опухоль, снова зашили, а она даже не подозревала об этом, ведь легкие не болят. Перевод в раковый центр ей объяснили лучшим уходом за послеоперационными больными и наличием лекарств. Более всего в этой истории меня поразило, что врачи, держа в тайне от безнадежных больных их судьбу, делятся этой тайной с другими, столь же безнадежными, больными. Не знаю, может быть, в этом есть какой-то психологический смысл: раз со мной делятся тайной безнадежного больного, значит, я не безнадежен...

Когда ты умерла, я позвонил лечащему врачу. Скорее всего, не нужно было этого делать, потому что каждый такой звонок был для нее, наверное, своеобразным укором. Но она все-таки была для нас не просто лечащим врачом, и потому я позвонил. Она в ответ сказала что-то невнятное. Разумеется, она не пришла на твои похороны, если бы она ходила на похороны всех своих пациентов, ей некогда было бы работать или она давно была бы в сумасшедшем доме.

### **Жизнь при тебе, но уже почти без тебя...**

Самое страшное, что у тебя произошли изменения в психике. Это была ты и в то же время — уже не ты. Ты жила как бы в промежуточном состоянии между нормальными людьми и обреченными. Ты говорила: «Мы, онкобольные, у нас, онкобольных...» Радовалась любой заботе (или псевдозаботе) государства о раковых больных. Радовалась и даже гордилась, что в магазине па-

риков тебе сделали чуть ли не 50-процентную скидку на парик. А я подумал, что магазин париков не случайно обосновался недалеко от ракового центра... Парики дорогие, парики дешевые... Рак косит людей независимо от благосостояния, но богатые и здесь пытаются показать, кто они...

### **Жизнь при тебе, но почти уже без тебя...**

Вспоминаю, как ты, уже с трудом сидя на постели, поддерживаемая подушками, с сестрой разбирала свои немногочисленные и недорогие украшения. Я никогда не баловал тебя ими, ты по скромности нашего бытия их не покупала, кроме дешевых безделушек, и то, как правило, во время отпускных поездок, как сувениры. Да и равнодушна была ты к дорогим украшениям. Я не мог без слез наблюдать, как ты разбирала эти безделушки. Как загорались твои глаза, когда ты вспоминала, в какой поездке что купила, казалось, даже на время ты забыла про свое состояние, эти безделушки как бы возвращали тебя в прошлое, давали надежду, ты уходила в мир иной, если он был, а они оставались, так не должно было быть, а потом, когда все было распределено, кому что отдать, долго молча смотрела в потолок, а потом долго и безутешно рыдала. И было бессмысленно тебя утешать...

### **Жизнь при тебе, но почти уже без тебя...**

Сначала ты, провожая меня на работу, шла со мной до порога. Потом, уже с трудом вставая, лишь подходила к окну. Выходя на улицу, я видел тебя в окне на девятом этаже и долго еще чувствовал твой печальный, выматывающий мою душу взгляд. И всегда представлял себя на твоём месте. Ты думала и о том, как я буду жить без тебя...

Но пришло время, когда ты уже не могла подойти и к окну. И мы общались только по мобильному телефону. И с каждым днем твой голос был все слабее и слабее...

Я жил словно во сне, а точнее, словно в бреду, порой не додумываясь до самых простых вещей. До сих пор не могу себе простить, что не сообразил, не купил телефонный удлинитель и не поставил тебе на постель городской телефон. А потом выяснилось, что удлинитель я купил, но забыл про него. Когда тебе позвонила откуда-то издалека, из-за границы твоя близкая подруга, ты не смогла с ней поговорить и в слезах, в отчаянии бросила мне:

— Ты даже такой мелочи не мог сделать для меня...

Я до сих пор не могу себе этого простить...

### **Жизнь при тебе, но почти уже без тебя...**

Ты говорила уже с трудом:

— Потом не забудь, твои осенние туфли в шкафу, в самом низу. Когда на улице уже будет холодно. В суматохе похорон можешь забыть. Избаловала я тебя, ты ведь даже не знаешь, что где лежит. И еще боюсь, что ты однажды оставишь не выключенными утюг или электроплиту, как бывало не раз.

А это были твои чуть ли не последние слова:

— Не женись на первой попавшейся женщине, — глядя меня, низко склонившегося над тобой, по голове, прошептала ты, всю жизнь ревновавшая меня, с основанием и без основания. Ты заботилась обо мне, думала, как я буду жить, точнее, доживать без тебя.

Я молчал, ты не знала, что если бы я встретил ту единственную, которая беспредельно поверила бы в меня, я, без сомнения, давно ушел бы к ней, а ты, может быть, нашла бы свое счастье с другим, ведь твоей руки, даже когда ты уже была замужем, добивалось столько мужчин, но, увы, такую женщину я так и не встретил.

Ты ревновала меня всю жизнь, а жениться мне после тебя не на ком. Я никого не мог представить на твоём месте. А тебе все казалось, что я только и ищу повода убежать от тебя.

— Может, Татьяна? — невесомо обняв меня, кажется, в последний раз своей уже бестелесной, слабеющей рукой, с трудом прошептала ты о женщине, с которой, ты подозревала, у меня был роман и которую ненавидела.

Я промолчал, хотя хотел сказать, что, кроме всего прочего, Татьяна давно замужем и что я никого не могу представить на твоём месте. Но почему-то промолчал, о чем жалею до сих пор.

До сих пор жалею, что тебе этого не сказал. Не знаю, легче или тяжелее было бы тебе с этим знанием умирать, что у меня никого нет.

### **Жизнь с тобой, но почти уже без тебя...**

В один момент я поймал себя на мысли, что жду твой смерти, что она, наконец, прекратит твои и мои мучения. Однажды ночью, когда ты потеряла сознание и стала, задыхаясь, метаться, я не вызвал скорую, во-первых, зная, что это бесполезно, что она быстро не придет и на мой вопрос, почему долго не приезжали, приехавший врач-интерн будет с укором говорить, что к безнадежным раковым больным они едут в последнюю очередь, потому что нужно спасти тех, кого еще есть надежда спасти. И по-своему они были правы. А во-вторых, если они и успеют приехать, тебе сделают поддерживающие сердце уколы, которые только продлят твою агонию... Ты жутко, со стоном закричала, а потом затихла, и я решил, что это все, и уткнулся лицом в постель рядом с тобой, но ты вдруг открыла глаза и спокойно, не подозревая о только что случившемся, попросила пить, и я не решился рассказать, что с тобой было и что я с тобой уже попрощался... Мне было стыдно перед тобой. И было горько за себя.

Ты после этой ночи жила еще неделю.

### **Жизнь при тебе, но почти уже без тебя...**

Ты знала, что твои дни на этом свете сочтены, но до какого-то времени все еще надеялась на чудо. Ты уже не верила врачам, но истово продолжала верить в Матерь Божию, что она не оставит тебя. Ты молилась перед иконой «Всецарицей», в надежде, что Она даст тебе возможность еще хоть немного побыть на этом свете. Ты молилась дома, ты молилась в церкви, куда, когда тебе становилось полегче, я тебя отвозил, все той же «Всецарице», которая в некоторых случаях, когда человек осознал свои грехи, исцеляет даже безнадежных раковых больных, но всю службу ты уже выстоять не могла.

Как ты до самых последних дней хотела жить! Боже мой, как ты хотела жить: смиренно, тихо, никому не мешая! Не раз, возвращаясь домой, я заставлял тебя на коленях перед этой иконой, шепчущей молитву: «О Пречистая Богмати, Всецарице! Услыши многоболезненное воздыхание наше пред чудотворною иконою Твоею, из удела Афонского в Россию принесенною, призри на чад Твоих, неисцельными недуги страждущих, ко святому образу Твоему с верою припадающих!.. Прости руке Твои, исполненный исцеления и врачбы, Радосте скорбящих, в печалех Утешение, да чудотворную помощь скоро получив, прославляем Живоначальную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь».

И только в самые последние дни ты стала равнодушной ко всему, молча, часами, замкнувшись, смотрела сквозь оконное стекло в небо. Что ты видела там? Ты пропускала мимо ушей даже мои сообщения о твоих любимых собаках. Тебя в этом мире, на этой Земле, кажется, уже ничто не интересовало.

Неужели ты мыслями и душой уже была в ином мире?

Только страшные боли заставляли тебя время от времени звать меня и просить, чтобы я поднял тебя выше на подушки, или, наоборот, убрал из-под головы одну из них.

— Господи, забери меня, я больше не могу, — не в силах больше терпеть, прошептала ты однажды.

Кажется, через неделю или чуть позже Господь и забрал тебя, может, посчитав, что ты, наконец, созрела для того, чтобы без жалости проститься со всем земным. Неужели обязательно нужно человека физическими и душевными страданиями довести до такого состояния, чтобы жизнь стала невыносимой, чтобы он сам попросился в мир иной, и неважно, есть он или только придуман? Неужели столько времени Господь ждал от тебя этой просьбы? А как только дождался, забрал к себе?

А было это так. Шла вторая половина августа, ты, как обычно, неподвижно и молча глядя в окно, в синеву неба без единого облачка, вдруг, не повернувшись ко мне, но зная, что я рядом, вдруг прошептала, словно прочитала там, в небе:

— Это случится в конце августа или в начале сентября.

Ты боялась слов «смерть» и «умру». Ты сказала: «Это случится...»

Это случилось 5 сентября в четыре часа дня...

...Ты смотрела вроде бы на меня, но в то же время куда-то мимо или сквозь меня, вверх, словно пыталась там что-то увидеть или уже увидела...

Потом ты глубоко вздохнула и медленно, почти неслышно испустила дух. Я осторожно поцеловал тебя в губы, они не ответили — раньше они отвечали, даже когда ты была без сознания. Я приложил к твоим губам зеркало — оно не запотело...

Трудно описать чувство, которое я тогда испытывал. Скорбь моя по тебе, казалось, уже давно вся изшла, осталась лишь жуткая усталость, но я знал, что потом скорбь снова вернется и станет еще безысходней, а сейчас я испытывал нечто вроде радости: нет, не оттого, что ты, наконец, освободила меня от мучений, и даже не оттого, что ты сама, наконец, отмучилась. Глядя на твое лицо, я испытал радость, видя, что ты испытываешь сейчас. Твое лицо менялось на глазах, стало спокойным и умиротворенным. Ты становилась моложе и красивей. Какой, наверное, была только в юности, когда я тебя встретил...

Каким молодым, прекрасным и одухотворенным стало твое лицо через какое-то время после смерти — поразились даже врачи, которые по роду своей профессии вроде бы уже ничему не должны были удивляться.

Но это состояние держалось всего несколько часов, может, около суток...

Потом передо мной лежала в гробу уже не ты...

### **Жизнь без тебя...**

Я возвращался с похорон и поймал себя на мысли, что сейчас приду домой и расскажу тебе, кто был на похоронах. Кого мы совсем не ожидали видеть, кто, наоборот, не пришел...

### **Жизнь без тебя...**

Пытаясь как-то осмыслить твою смерть и смерть вообще, обложился святоотеческой литературой.

Читаю:

«Одно из самых чудесных богослужений в Православной Церкви — это служба похорон. Она начинается словами, которые можно произнести только из глубины крепкой веры или напрягая все силы своего доверия к Богу: “Благословен Бог наш”. Благословен Бог на жизнь, но и благословен Он и на смерть. Но вспомним: когда Христос стоял перед лицом своей смерти, Он сказал ученикам: “Если бы вы Меня по-настоящему любили, то радовались бы за Меня, ибо Я отхожу к Отцу Своему...” И мы перед гробом таинственно созерцаем величественную встречу Бога и человека, момент, когда завершается весь земной путь человека, и он приходит домой».

Не могу выразить своего отношения к этому жутковатому утверждению, что «одно из самых чудесных богослужений в Православной Церкви — это служба похорон». Душа моя и разум сначала решительно не приемлют его, решительно восстают против него, но я снова и снова вспоминаю твое отпевание, необыкновенно торжественные слова священника: «Благословен Бог наш...» — и то необъяснимое чувство, которое я испытал при этом, и вроде бы начинаю соглашаться с сим утверждением...

### **Жизнь без тебя...**

Читаю:

Архиепископ Иоанн (Максимович): «В течение первых двух дней душа наслаждается относительной свободой и может посещать на земле те места, которые ей дороги, но на третий день она перемещается в иные сферы».

Святоотеческое предание сообщает, что Ангел, сопровождавший в пустыне святого преподобного Макария Александрийского, сказал: «Душа умершего получает от стерегущего ее Ангела облегчение в скорби, отчего в ней рождается благая надежда. Ибо в продолжение двух дней позволяется душе вместе с находящимися при ней Ангелами ходить по земле, где она хочет. Посему душа, любящая тело, скитается иногда возле дома, в котором разлучилась с телом, иногда возле гроба, в который положено тело, и таким образом проводит два дня, как птица, ища гнездо себе. А добродетельная душа ходит по тем местам, в которых имела обыкновение говорить правду...»

Конечно же, твоя душа посетила наш сад. Она не могла его не посетить, потому что в последние годы он был для тебя всем. Получается, что ты посетила его без меня. Я занимался похоронами, а ты в это время была в саду, потому что другого такого любимого места у тебя на Земле в последнее время не было. Разговаривала с деревьями, с собаками, из нашего бывшего огорода, который мы забросили, когда ты заболела, смотрела вниз на речную долину, на горизонт...

Может быть, ты не жалела, что меня нет с тобой, может быть, наоборот, я был даже лишним при этом прощании. Сад был тебе ближе, чем я, потому что он никогда тебя не предавал.

«Следует сказать, что эти два дня не являются обязательным правилом для всех. Они даются лишь тем, кто сохранил привязанность к земной мирской жизни, и кому трудно расстаться с нею и знать, что никогда уже он не будет жить в мире, который покинул. Но не все души, расстающиеся со своим телом, привязаны к земной жизни. Так, например, святые угодники, которые совсем не привязывались к земным вещам, жили в непрестанном ожидании перехода в иной мир, не влекутся даже и к местам, где они творили добрые дела».

Не знаю, почему-то у меня, верующего или стремящегося верить в Иисуса Христа, нет благоговения перед этими святыми угодниками. Как это возможно: не любить Землю, на которой родился, как возможно не быть привязанным душой к Земле, если ты даже временно на ней?! Получается, что мы действительно на Земле только для исправления пороков, и она — не дом наш?

Нет, твоя душа обязательно посетила наш сад, дом, родник, прошла по только нам известной тропе на электричку, на деревьях появились первые желтые пряди...

### **Жизнь без тебя...**

Читаю:

«Души грешников претерпевают до всеобщего суда различные мучения, как от угрызений совести, так и от злых духов, во власти которых они находятся. Если люди и умерли во грехах, но положили на земле начало покаяния и творили добрые дела, то по великому Божию милосердию, за молитвы их близких и родных души их будут возведены из ада.

Души умерших не лишаются своих чувств и не теряют расположений своих, то есть надежды, радостей и скорбей, ожиданий всеобщего суда...

Жизнь душ грешных до всеобщего суда, по учению Православной Церкви, состоит, во-первых, в ясном и подробном осознании своих грехов, которыми они оскорбляли в сей жизни Бога, и угрызений совести, которая там пробудится со всей силой. Во-вторых, в мучительном томлении и тоске оттого, что их привязанность к плотскому и земному теперь не может уже находить удовлетворения. А к небесному и духовному желание и вкус не раскрыты, и не могут они раскрыть их. В третьих, в удалении от Бога и святых Его, а вместо того, в сообществе с другими, подобно несчастными душами и особенно со злыми духами, и в других действительных муках ада, что будет, впрочем, только началом и предвкушением вечных мук...»

### **Жизнь без тебя...**

Читаю:

«Хотя душа и духовна, но она, как имеющая границы, сохраняет свою человеческую форму и по исходе из тела. Страдания ада передаются чисто духовными законами, которые для нас, облеченных плотью, не всегда объяснимы, но ощутимы. Если тебе доводилось испытывать некоторое томление души, оскудение жизни, то тебе будет частично понятно мучение души.»

### **Жизнь без тебя...**

В последние месяцы мы общались с тобой больше по мобильному телефону: я звонил тебе из дома, когда ты была в клинике, я звонил с работы или с дачи, когда ты была дома. Зная, что я нарушаю всякие правила, подозревая, что у меня едет крыша, в самый последний момент, прежде чем закрыли крышкой гроб, я незаметно положил тебе в ноги твой мобильный телефон...

И на другой день, и еще несколько дней, замирая, набирал твой номер, в ответ было: «Абонент недоступен или вне зоны действия сети».

Потом мобильник замолчал.

### **Жизнь без тебя...**

Ты, конечно, помнишь: из каждой своей дальней поездки я обычно привозил несколько пленок фотографий. Мы с тобой любили их рассматривать. Мне не однажды говорили, что у меня талант фотохудожника. Некоторыми фотографиями я действительно гордился. Когда ты умерла, я неожиданно для себя перестал фотографировать. А если даже — как бы по инерции — фотографировал, потому что не мог пропустить удачный кадр, то не печатал фотографии. Зачем? Кому я теперь все это оставляю? Я не знаю, что делать со всеми прежними фотографиями. Уже безнадежно больная, ты собиралась собрать их в альбомы, но не успела, может быть, потому, что уже догадывалась об их судьбе.

С невероятной болью смотрю на твои фотографии последних лет, как правило, на даче: на лыжах, с собаками... Кому я оставляю их после себя? Может быть, самое страшное в том, что ты еще в какой-то степени будешь жива, пока я жив. А потом твои фотографии вместе с моими выкинут как ненужный хлам, и ты вместе со мной затеряешься в земной безвестности.

Только теперь я понял, почему старые люди перед смертью сжигают свои фотографии, письма...

### **Жизнь без тебя...**

В первый раз после твоей смерти в Москве. Ловлю себя на мысли, что нужно позвонить домой, отчитаться, почему не звонил весь день. А звонить некуда и некому. Странное это ощущение, когда нигде на планете никто тебя больше не ждет.

Полная свобода, которая не только не нужна, а которая даже страшна...

**Жизнь без тебя...**

На даче пошел на родник за водой, хотя знал, что воды в нем нет, родник в этом году замолчал очень рано, еще в конце августа, как ты помнишь, в прошлом году была сухая осень, снег лег на мерзлую землю, и ты переживала, что в саду вымерзнут деревья. Переживала, хотя знала, что умрешь раньше их.

От родника смотрел вниз, в липово-осиновый распадок, где раньше у нас была с тобой зимняя тропа на электричку, очень аккуратная, потому что мы ее и проложили, и кроме нас с тобой по ней никто не ходил. Проложил я тропу по распадку потому, что ее тут в метели не передувало. Местами тропу пришлось буквально прорубать, пропиливать через упавшие деревья. Зимой я обычно приезжал на дачу на день раньше, чтобы разогреть остывший за неделю, а то и за полмесяца дом. А наутро шел к роднику встречать тебя, прихватив ведра, чтобы заодно набрать воды. В ведрах плавали, позвякивая о края, льдинки. Я ставил ведра в снег и, вслушиваясь в лес, смотрел вниз на тропу, откуда ты должна появиться. И собаки вместе со мной выжидающе смотрели вниз, они вычуживали или выслушивали тебя еще за поворотом и радостно бежали тебе навстречу. Радость была такой бурной, что они порой сваливали тебя в сугроб. А потом получалось, что я как бы встречал вас всех, и собаки так же радостно кидались ко мне, словно давно не виделись и со мной.

Теперь тропу то здесь, то там снова перегородили упавшие деревья. По ней давно никто не ходит. Это была только наша с тобой тропа. Подобным ей будет наш след на Земле, пройдет какое-то время, и никто даже догадываться не будет, что он был.

Уже ни Дружок, ни тем более Динка, дочь твоей Динки, отсюда, из распадка не встречали нас, они родились позже, когда у нас появилась машина, и зимой они ожидали нас с противоположной стороны, от Крутлого леса, из деревни, где оставляли машину. Потому сейчас они недоуменно переводили взгляд с распадка на меня, не понимая, что я там хочу услышать или увидеть. Ноги начинают подмерзать, вода в ведре затягивается ледком, а я все стою и смотрю вниз, в распадок, и такое чувство, что собаки сейчас наострят уши и с радостным лаем бросятся навстречу тебе, выходящей из-за поворота. Но от прежней тропы, которую из собак помнит, может, только состарившийся бродяга пес Рыжик, — жив ли он? — не осталось и следа.

Тропа, как и ты, осталась только в моей памяти. А когда я уйду...  
Какое все это имеет отношение к мировой истории?

**Жизнь без тебя...**

Метался по стране, и в каждом городе, в каждом храме заказывал панихиду по тебе: в Москве, Рязани, Иркутске... Но легче не становится, даже наоборот... Моя вина перед тобой меня гложет...

**Жизнь без тебя...**

Динка оценилась еще при тебе: под верандой у Козлова, но об этом я узнал только после твоей смерти. В последние твои поездки на дачу ты все гадала, куда Динка пропадает, обижалась на нее, подозревала, что та убегает, чуя твою смерть. После очередной химиотерапии она действительно сторонилась тебя, ее пугал этот резкий чужой запах, идущий от тебя, а точнее — из тебя. Увидев тебя, с трудом вылезавшую из машины после долгой разлуки, она радостно бросалась к тебе, а потом растерянно останавливалась и начинала пятиться назад. Она ничего не могла понять: перед ней была ты и в то же время уже не ты.

— Динка, неужели я уже пахну смертью? — сквозь слезы спрашивала ты.

Динка боком, виновато опустив голову, кустами уходила в сосняк за нашим садом и больше уже не появлялась целый день. Ты очень тяжело пережи-



вала это, мы не подозревали, что она убегала к единственному щенку, хотя она обычно приносила пять-семь щенков, и мы не знали, куда их девать.

Щенка обнаружили случайно, когда ему было уже месяца полтора, Динка почти перестала его кормить, и он, голодный, стал высовываться из-под козловской веранды. Но сразу же прятался, стоило кому-нибудь приблизиться, а забраться под веранду из-за узкого лаза было невозможно. До меня только потом, через много времени, дойдет, почему Динка, чтобы ощениться, выбрала такое место, что до него невозможно было добраться, раньше она обычно щенилась у нас под верандой: чтобы мы никому не отдали ее будущего единственного и последнего щенка. И мы не знали, что с диким щенком делать. Сторож Игорь нерегулярно кормил его, оставляя миску с едой у лаза под веранду. Потому щенок рос рахитичным.

Он не привык к людям, и когда его все-таки удалось извлечь из-под веранды и посадить на цепь, при появлении людей он прятался в конуре, и вытащить его можно было только за эту цепочку. У нас и без него было три собаки, к тому же щенок оказался сучкой, и садовый сторож Игорь с моего согласия несколько раз пытался от него избавиться: несколько раз договаривался в деревне, чтобы его забрали, но каждый раз в самый последний момент, даже не увидев его, по какой-нибудь причине от щенка отказывались. Тогда Игорь затолкал его в мешок и унес километров за пять в нижние сады, но уже на следующий день щенок вернулся. Тогда Игорь унес его в дальние сады, уже километров за восемь, он вернулся снова. Перегрыз веревочку, на которую его там посадили. И так он упорно возвращался каждый раз, и с какого-то времени, боясь очередного подвоха, перестал кого-либо близко подпускать к себе, ночами рыскал по садовым помойкам, благо что летом на них было, чем поживиться.

Потом Динка заболела. Когда я приезжал, поздоровавшись со мной, она тут же куда-то исчезала. Она ходила с горячей головой и гноящимися глазами, плохо ела. Однажды я вообще не обнаружил ее. Такое бывало и раньше, и я не очень-то беспокоился. Но она не появилась и на следующую пятницу. Тогда я пошел по всему садовому поселку искать ее, но никто ее в последнее время не видел. Я понял, что Динки больше нет. Но я не нашел ее и мертвой и решил, что она ушла умирать в лес. Мне кто-то говорил, что собаки, чуя свою смерть, уходят от человека.

Но потом пришел Султанов, наш сосед, и сказал, что неделю назад похоронил Динку. Приехав посреди недели, он нашел ее мертвой у себя на участке, около заколоченного лаза под веранду, где она двенадцать лет назад родила своих двух первенцев, а я перенес их к себе, как ты любила потом говорить: принес два ведра щенков. И еще Султанов сказал, что за два дня до этого видел тебя вместе с Динкой во сне.

Неужели он видел тебя во сне в день Динкиной смерти? Неужели Динка, любившая тебя больше всех, в том числе и больше меня, или, как все говорили, твоя собака, ушла вслед за тобой? (Потом соседи говорили, что если была бы жива ты, то обязательно бы ее выходила, как выходила ее раньше, болевшую чумкой.) Неужели она действительно ушла вслед за тобой, как умерли вслед за тобой посаженные тобой цветы?

Даже Султанов видел тебя во сне. Почему ты ни разу не пришла во сне ко мне? Сестра и та вроде бы один раз во сне окликнула, кажется, на годовщину своей смерти. Неужели ты меня все-таки не простила?..

А щенок так и жил у нас по-прежнему, неустроенным, бесхозным, без имени. Когда я спрашивал о нем, сторож Игорь пожимал плечами: «Никто не берет. Может, я еще раз его поймаю в мешок, а ты по пути в город где-нибудь его оставишь?» Но мне после твоей смерти не хотелось брать на себя такой грех.

Но однажды Игорь пришел с предложением: «Может, мы оставим ее себе? Неужели не прокормим? И Султанов вон говорит: давай вместо Динки

оставим. Может, она специально для нас вместо себя оставила?» И у нас троих стало легче на душе, что таким образом разрешился этот вопрос. Но доверие щенка мы так и не заслужили: он подходил к миске с едой только ночью или тогда, когда мы далеко отходили.

Неужели Динка действительно знала, что этот щенок — последний, что она умрет вслед за тобой?..

Как не стало Динки — нас сразу обворовали: увели водяные баки из толстой нержавеющей стали, помнишь, которые в свое время я привез с Урала, со свалки оборонного завода. Ты, конечно, очень расстроилась бы, ты расстраивалась из-за всякой мелочи. А мне теперь как-то все равно, хотя, конечно, жалко.

Щенок по-прежнему не подпускал к себе, тем более не давался в руки. Он постепенно становился копией Динки, только, может, чуть поменьше: такие же стоячие острые уши, такие же внимательные рыжие глаза. Да и проявились Динкины сторожевые качества, хотя она по-прежнему пряталась даже от своих, но решительно облаивала чужих, а ночью вообще вела себя как настоящая сторожевая собака, в отличие от Дружка, который в деле охраны был лишь в помощниках у Динки, вахлак вахлаком, одинаково готовый приветить как своих, так и чужих.

Так и не выбрав для щенка имени, я стал его звать в память матери — Динкой, хоть так и не принято давать клички собакам. Ты в шутку звала умершую за тобой Динку «дикая собака Динка», хотя Динка была самой что ни на есть домашней собакой. А теперь у нас была действительно полудикая собака Динка. Она подружилась с Дружком, который был ей старшим братом, можно было видеть, как они трогательно и нежно относятся друг к другу.

Полудикая собака Динка с некоторых пор стала осторожно подходить ко мне, брать даже пищу с руки, но сразу же отпрыгивала в сторону, стоило протянуть к ней руку в попытке погладить, и, что удивительно, когда я первый раз назвал ее Динкой — она завильяла хвостом. Она согласилась с тем, что теперь это ее имя. Она помнила, что так окликали ее мать.

Ей очень хочется приласкаться, она с завистью смотрит, как ласкается ко мне Дружок, как я глажу его. Так ей хочется приластиться, что она повизгивает, но в самый последний момент ее что-то останавливает. Хотя когда я уезжаю в город, ей так не хочется расставаться со мной, что она выбегает на дорогу и печально, как в свое время ее мать, смотрит мне вслед, а зимой, когда я ухожу с дачи на лыжах, она идет за мной до самой деревни, пока я не прикрикну на нее: «Домой!..»

### **Жизнь без тебя...**

Вчера приходил приبلудный, уже совсем старый пес Рыжик, который каждое лето жил у нас, а на зиму, не согласный со скудной кормежкой у сторожа, уходил на одну из соседних турбаз, как ты говорила, на заработки, где спал, скорее всего, в котельной, потому как по весне всегда приходил черный, в угольной пыли...

С трудом грыз кости. Ныл, скулил, убедившись, что тебя нет, на другой день ушел.

Нет тебя... Кажется, это чувствуют даже деревья. Твои грядки быстро заросли травой, словно их и не было. Так бывает и с ушедшим человеком, только ты никогда не уйдешь из моей воспаленной памяти...

### **Жизнь без тебя...**

Не знаю, попаду ли я когда-нибудь снова в Париж, но он навсегда останется для меня городом, в котором я прощался с тобой: ты еще была жива, но в то же время тебя почти уже не было. Городом, в котором я жил со страшным чувством бесприютности и бессмысленности жизни, по крайней мере, своей...

### Жизнь без тебя...

Человеческое общество по большому счету лишено сострадания к людям, оказавшимся на грани жизни и смерти. Оно торопливо, скрывая растерянность, а вслед за ней раздражение, что нарушен привычный бег жизни, отгораживается от них, бестактно напоминающих о смерти и мешающих бездумной жизни на Земле. Человек, пока это не касается его лично, ведет себя так, словно сам никогда не окажется в таком положении, более того, своим поведением он как бы пытается обмануть самого себя. Иначе говоря, человек, оказавшийся на грани жизни и смерти, словно бы отрицает земные цели общества, заставляет усомниться в них, и общество это раздражает...

Как старались не выписывать тебе первую группу инвалидности, хотя знали, что ты уже безнадежна, что жить тебе осталось не более полугода. Боялись, что ты обворуешь государство, пожелавшее на тебе сэкономить... Врачебно-трудовая комиссия имеет тайную и строгую инструкцию: выписывать первую группу в самый последний момент, чтобы платить эти жалкие крохи не больше месяца или двух. А ты поступила бесчестно по отношению к государству: протянула, промучилась еще почти год.

### Жизнь без тебя...

Золотая осень...

Сию в саду на твоей лавочке у крыльца...

Падают перезревшие яблоки...

Вспоминаю...

Яблони цвели еще при тебе. Ты еще успела подкормить их. Первый раз дала плоды, и очень крупные, сочные, почти прозрачные, уральская наливная, которую мы с тобой в течение ряда лет пересаживали с места на место, пока, наконец, не нашли пристанище около сарая, которое ей понравилось, и она сразу пошла в рост. Но при тебе яблочки были еще зеленые, а потом ты уже не ездила на дачу и даже попробовать их не могла, ты жила уже только на жидкой пище и на наркотиках. Для определения суточной дозы последних тебя перевели в так называемое паллиативное отделение, разлучив с лечащим врачом. Качество жизни!

Я думал, что паллиативное отделение: тишина, музыка, покой, особенный уход, может быть, врач-психолог... Оказалось, это две переполненные комнатухи, духота, равнодушные и хамоватые студенты вместо врачей. А в местной «Вечерке» прочитал, что у нас чуть ли не лучшее в стране паллиативное отделение. Боже мой, что же тогда представляют собой худшие, и как у главного врача ракового центра повернулся язык хвалиться подобным?!

### Жизнь без тебя...

Может, хорошо, что ты всего этого уже не увидела: как будут заброшены, зарастут чертополохом окружавшие наш садовый поселок поля. От озера-старицы, которое «новые русские» от окрестных деревень, от всего остального мира отгородят глубоким, почти противотанковым рвом, на нас будет надвигаться так называемый элитный дачный поселок, местная Рублевка, забивший мусором поднимающийся по склону от озера березовый лес, в котором ты любила собирать грибы. Многоэтажные особняки новых хозяев жизни, словно ядовитые грибы, выросли на прежде духовитых покосах, где ты собирала цветы. Все чаще добираются до нас наводнившие элитный поселок, завезенные в качестве дешевой рабочей силы беспаспортные и полуголодные мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии... Пока они ведут себя тише воды и ниже травы, но я невольно вспоминаю Париж, в котором коренные парижане уже вроде изгоев... Может, хорошо, что ты не увидишь разрушения своего любимого мира, в котором мы уже чужие...

**Жизнь без тебя...**

Вспоминаю...

Однажды в саду, уставшая от садовых дел, сидя на скамеечке около южного крылечка, оглядывая наш уютный, возделанный твоими и отчасти моими руками сад, ты сказала мне:

— Лишь бы умереть не зимой, чтобы вам было меньше хлопот с похоронами.

Ты, оказывается, постоянно думала об этом. Ты помнила, как в жуткий январский мороз в 43 градуса мы хоронили твоего отца, у меня подошвы примерзли к валенкам...

Господь хоть тут услышал тебя...

**Жизнь без тебя...**

Как я уже писал, незадолго до тебя, неожиданно опередив тебя, умерла моя сестра Вера. Потом — мать. Но только когда умерла ты, я понял, что жизнь не только конечна, но, может, и бессмысленна, если ты в молодости наделал кучу непоправимых ошибок. И если даже ты совершил всего одну, но страшную ошибку. Но почему Господь не вразумил меня? Или Он пытался вразумить меня, но я не понял Его вразумления? Я стараюсь представить твои последние мысли. Я пытался поставить себя на твое место, и мне становилось стыло и жутко. Ни детей, ни племянников. Наш с тобой грех еще в том, что мы оставили твою бездетную сестру без племянников, ей придется доживать свой век без единого родственника. И еще ты знала, что когда умру, то лягу не рядом с тобой, а скорее всего, на своем сельском кладбище. Страшно подумать, что ты только не передумала в последние твои три года: за спиной пустота, впереди — черная неизвестность.

Твои вещи. Мне больно их перебирать, я не знаю, что с ними делать, раньше отдавали в храмы нищим, теперь нищих нет, мы сами, по большому счету, были нищими. Теперь магазины завалены дешевой одеждой. Теперь больше нищих духом.

**Жизнь без тебя...**

Господи! После тебя я снова, как в детстве, стал задаваться самыми простыми и в то же время самыми неразрешимыми вопросами, какие задает себе и другим только ребенок. Зачем цветет вот этот цветок, который рано или поздно, если до этого времени его не сорвут, если его не скует корова, все равно завянет? Зачем миллионы лет течет мимо меня эта река? Зачем Бог создал человека? Наделил его разумом, если это можно назвать разумом? В чем смысл мировой истории?

Зачем существует Вселенная, растения, другие живые существа, планеты, Солнце, если они тоже со временем погибают? Зачем существует само Время? Хотя без ощущения текучести Времени, наверное, жутко было бы жить. Но если где-то существует вечная жизнь, значит, там нет Времени?

Почему люди страдают и раньше времени умирают от неизлечимых болезней?

Кактус на моем подоконнике, странное колючее растение, цветет раз в году и всего лишь сутки, благоухая необыкновенно нежным влажным запахом. Для кого он цветет? И почему только сутки, когда другие цветы цветут несколько дней, неделю, несколько раз в году, постоянно?

Почему на Земле такой жестокий мир? У каждого живого существа — свой враг. И все это пытаются оправдать грехопадением человека.

Что является первопричиной войн и междоусобиц? Почему Господь разделил нас на народы, а не сделал единым народом?

**Жизнь без тебя...**

Иду по городу. Этот дом при тебе был построен только на три этажа. А этот дом построен уже без тебя. И так весь город в моем сознании невидимым для других водоразделом делился как бы на две части: при тебе и после тебя. И все, что происходило и происходит на Земле: при тебе и после тебя.

**Жизнь без тебя...**

Перед своей смертью ты купила мне теплый свитер, зимние сапоги. Очень переживала, что не успела купить осенние туфли... Ты думала о том, как я буду жить после тебя.

Господи! Если можно было бы хоть что-то вернуть, хоть какой-то кусочек жизни прожить снова, иначе — в искупление вины перед тобой...

**Жизнь без тебя...**

В конце ноября, наверное, в последний раз в этом году, пока не глубокий снег, поехал на кладбище. В студеном снегу твоя последняя фотография, на которой ты кормишь уток в озере ниже Святых ключей, места явления Табынской иконы Божией Матери, туда мы ездили на несколько дней молиться. Был прекрасный тихий августовский день, и никак не верилось, что у нас с тобой впереди всего год, а может, и меньше: ты, светло-печальная, кормила уток хлебом, а я тебя фотографировал...

Еще в октябре, когда выпал первый снег, я порывался забрать фотографию, зябко тебе в легкой блузке будет в снегу, а потом он закроет тебя с головой, но кто-то меня остановил, сказал, что с кладбища ничего нельзя забирать.

И сейчас вдруг — мурашки по спине, и по щеке побежала слеза: след какой-то зверушки из леса прямо на твою могилу, минуя другие, — то ли ласка, то ли молодая куница, прямо к твоей фотографии. Посидела около нее и ускакала обратно в лес. Неужели специально прибежала к тебе? Ведь ты любила всяких зверушек и птиц, жалела их. Ты даже противилась, когда я валил на дрова сухостойные сосны за нашим забором: нечем будет кормиться дятлам.

Я еще раз проверил след, он действительно обошел стороной все другие могилы...

И еще: каждый раз, когда приезжаю к тебе на могилу, тут же прилетает какая-то птичка и начинает тенькать над ухом. Конечно, птички привыкли к тому, что пришедшие на кладбище кормят их, как только кто-нибудь появляется, они подлетают к нему. Но тем не менее точит мысль: а вдруг это ты, твоя душа что-то на птичьем языке говорит мне?

И, глядя на фотографию в снегу, я вспоминаю...

Это были, наверное, последние твои счастливые дни, если можно считать счастливым ожидание смерти. Но все-таки мы с тобой были по-своему счастливы, но не ожиданием смерти и приуготовлением к ней, к чему нас упорно призывают святые отцы, а тем, что мы жили надеждой на жизнь: все вокруг было так прекрасно, и все это было создано Богом — для жизни же, а не для смерти! Мы приехали на Святые ключи, место явления чудотворной Табынской иконы Божией Матери, и ждали чуда. Не чуда смерти, а чуда жизни. Но у Бога, видимо, уже было все решено. Видимо, мы не заслуживали прощения. А может, Бог решил, что мы заслужили только эти три дня счастья? Только три дня счастья с примесью ожидания твоей смерти и — все-таки — надежды. Потому что нужно ценить не только каждый день, но и каждый час на Земле...

Белый храм на горе над Святым источником. Ты окуналась в его ледяную воду без всякого страха, наоборот, с великой надеждой, потому что надеяться теперь оставалось только на чудо. Черета тихих, камышовых, с темной болотной водой, озер, на которых ты с руки кормила уток. Необыкновенно вкусный

хлеб в соседнем поселке Красноустьинске, который раньше назывался Богоявленским, по явленной здесь чудотворной иконе, а еще его называли Усольем, но большевики переименовали в Красноустьинск. Почему-то они панически боялись слова «белый». За хлебом мы специально ездили по утрам, несмотря на то что поселок был за восемь километров от Святых ключей, и порой на обратном пути мы не замечали, что всухомятку, отламывая по кусочку, съедали всю буханку, такой он был вкусный, и с полпути опять приходилось возвращаться за ним, и нам это очень нравилось, и нам было так хорошо, что твоя смерть казалась невозможной.

Все три дня стояла удивительная погода: было еще лето, но во всем чувствовалось приближение, томительное ожидание осени, какая-то тихая благодать разливалась в воздухе. Так, наверное, человеку нужно готовиться к смерти, если за спиной нет тяжелого вороха грехов и если безоговорочно верить, что там, за порогом смерти, будет продолжение жизни. Как за зимой снова приходят весна и лето. Но нас давил ворох прошлых грехов...

Самой чудотворной иконы, покровительницы огромного пространства России от Волги до Тобола, ни на Святых ключах, ни в храме в соседнем селе Табынском, по которому она была названа, нет. Она с частью русского народа — с Оренбургской армией атамана Дутова и десятками тысяч беженцев в Гражданскую войну ушла в изгнание, в Китай. Почему Всевышний допустил эту страшную русскую междоусобицу? Страшны были все исходы русского народа того времени, но этот исход был особенно страшен. В воспоминаниях тоже вынужденного покинуть Родину историка и публициста, редактора журнала «Голос минувшего» С. П. Мельгунова я нашел такое свидетельство: «Что сказать про тот “Страшный поход” Оренбургской Южной армии, по сравнению с которым даже большевистский повествователь считает другие эвакуации “увеселительными прогулками”... С армией двигались десятки тысяч беженцев, которых косили голод и тиф. Те, кто не мог идти, оставались в ледяной степи на верную смерть. Их убивали по их просьбе друзья, родные. Общее количество уходивших, по свидетельству большевистских источников, колебалось от 100 до 150 тысяч, границу Китая перешли не более 30 тысяч человек...»

Икону берегли как зеницу ока. Вот что писал после перехода китайской границы через ледовый перевал Карасарык атаман Дутов своему соратнику генералу Бакичу: «Дорога шла по карнизу и леднику. Ни кустика, нечем развести огонь, ни корма, ни воды... Срывались люди и лошади... Редкий воздух и тяжелый подъем расшевелили контузии мои, и я потерял сознание. Два киргиза на веревках спустили мое тело на 1 версту вниз, а там уже посадили на лошадь верхом, и после этого мы спустились еще 50 верст. Вспомнить только пережитое — один кошмар! И наконец, в 70 верстах от границы мы встретили первый калмыцкий пост. Вышли мы 50 % пешком, без вещей. Вынесли только Икону, пулеметы и оружие...»

Не спасла Табынская икона Божией Матери Оренбургскую армию, не спасла самого атамана Дутова, но стала духовной опорой в изгнании десятков тысяч русских людей. Есть свидетельства, что она явила там многие чудеса. Или они были придуманы людьми, желающими верить в чудеса, и икона была единственной связью с родиной? Следы иконы потерялись во время китайской «культурой революции», когда храм, в котором она находилась, был разграблен и сожжен.

Поразительно, что акафист в честь иконы, уже ушедшей в изгнание, в свое время написал юный иеромонах Иоанн, промыслительно освобожденный в Великую Отечественную войну по состоянию здоровья от фронта и, скорее всего, от гибели в первом же бою, и ставший позже, в преддверии нового Смутного времени, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладужским Иоанном, может быть, единственным источником света в новую русскую Смуту. А тогда, в юности, несмотря на свою монашескую покорность, он почему-то отказался изменить по повелению тогдашнего патриарха последние слова ака-

фиста иконе: «Всего мира Надежду и Утешение». «Так надо, так будет!» — потупив глаза, твердо сказал он, словно, в отличие от остальных, он слышал глас сверху.

«Всего мира Надежду и Утешение...» Что за тайный смысл кроется в этих словах?

Но почему мысли о ней не дают мне покоя, перед ее списком я всегда чувствую особый трепет? И я чувствую вину свою перед ней, что она, по-прежнему бесприютная, за пределами России.

### Жизнь без тебя...

Разбирая твои бумаги, нашел, не знаю, твои или, может, чьи-то понравившиеся тебе стихи — написанные твоим аккуратным почерком, несколько, а может, и много лет назад:

Апрельское волглое небо  
Подперто ветвями берез.  
В природе весенняя нега,  
И хочется счастья до слез...

Сорваться с привычной орбиты  
Извечных забот и проблем,  
И миг ощущений забытых  
Продлить, не считаясь ни с чем.

И вдруг на обрывке бумаги нахожу, несомненно, твои, потрясшие меня стихи — но уже неровным почерком твоих последних месяцев, над которыми я долго сижу, склонив голову:

Мой дачный дом —  
приют моей души.  
Там исчезают вдруг  
мои печали.  
Там я —  
как будто бы в начале,  
а не в конце пути  
с названьем «жизнь»...

### Жизнь без тебя...

Это было давным-давно, после очередной поры наших бурных и тяжелых разногласий (теперь-то я понимаю, если у нас были бы дети, которые связывали бы нас в единое целое, все было бы иначе), в пору примирения и короткого счастья. Я не помню, в каком это было году, но почему-то запомнил, что это было 19 октября.

У нас тогда, наверное, еще не было машины, потому что мы шли на электричку, на висячий мост через аксаковскую реку Дему, мимо лодочной переправы, которая к этому времени уже не работала. Спустившись с нашей горы через умерное чернолесье и перейдя нижнее поле (которое нынче заброшено), мы, как обычно, в последний раз оглянулись назад и остановились, пораженные: наша поросшая березовым лесом гора в предвечернем солнце полыхала каким-то неземным золотом и багрянцем. Мы согни раз видели свою гору отсюда, потому что каждый раз, возвращаясь в город, в этом месте на краю поля непременно оглядывались на нее, но такой ее мы не видели, кажется, еще ни разу.

— Такие рощи бывают, наверное, только в раю, — задумчиво сказала ты.

И сейчас я подумал: может, в эти минуты ты бродишь там, в горнем мире, в такой вот березовой роще.

— Я не знаю, как там, но точно знаю, что таких роц в раю нет, — ответил я. — Такие только на Земле, и потому они так светло печальны, и непонятно, зачем от них уходить...

Ты в ответ печально улыбнулась:

— Я подумала о том же...

— Давай запомним этот день навсегда! — предложил я. — Такой красоты, такой светлой печали больше, наверное, никогда не будет. Будет другая, но такой не будет.

— Давай, — радостно согласилась ты, и мы, счастливые и в то же время почему-то снедаемые печалью, поцеловались...

Наверное, это было уже за несколько дней до твоей смерти, когда ты уже не вставала с постели, говорила только шепотом и часами молча смотрела в небо за окном, ушедшая в свои невеселые мысли, время от времени тихо звала меня, чтобы я тебя повернул на другой бок или приподнял выше на подушки, — тебе казалось, что с изменением позы уменьшатся страшные боли: метастазы доедали твой позвоночник. Я знал, что, может, единственным отрядным воспоминанием были наш сад, наша гора...

Я не знал, о чем с тобой говорить, чтобы лишний раз не ранить тебя, мы были с тобой уже в разных мирах...

— Ты помнишь тот день, 19 октября, много лет назад, мы шли на электричку и дали слово друг другу запомнить его? — осторожно спросил я.

— Я как раз вспоминаю этот день, — слабо улыбнулась ты. — Это было 19 октября 1994 года... Тогда я тебе все простила...

Не знаю, изменили ли твою душу к лучшему эти, якобы Богом данные в особую любовь, страшные мучения, подготовили ли к той жизни, если она все-таки есть? На самом ли деле ты простила меня и осознала нашу главную вину перед Богом?

Если ты на самом деле меня простила, то я себя не простил...

И каждый год 19 октября я отмечаю как праздник, как день, в который мы были бесконечно счастливы...

### **Жизнь без тебя...**

Вспоминаю...

До поры до времени я не задумывался над этим. А ты, оказывается, давно думала об этом. Женщины живут дольше мужчин, это общеизвестно. За восемьдесят пять твоей матери, и моя мать умерла в восемьдесят три, а оба наши отца умерли рано: твой раньше, мой позже. Ты была уверена, что переживешь меня. И с болью, бездетная, думала об одинокой старости, потому что других родственников, ни близких, ни дальних, у тебя не оставалось.

А я до самого последнего времени, по сути, до того дня, когда по нам ударило великое горе, жил с чувством, что еще не вечер, старался не думать о будущем, зная, что мысли эти будут невеселыми, просто-напросто отгонял их прочь. Когда выдалась возможность, прибавил несколько соток к садовому участку. У тебя это не вызвало радости, к моему удивлению, наоборот, ты вдруг словно окатила меня холодной водой:

— Зачем? У нас никого нет. А потом я одна что с этой землей буду делать?

— Как одна? — не сразу до меня дошло.

— Ты хоть раз подумал о том, что мне придется куковать одной после тебя?..

Господь почему-то рассудил иначе. Может, мне наметил за грехи мои перед тобой и перед Ним это страшное испытание: жить после тебя?..

### **Жизнь без тебя...**

Везде все напоминает о тебе. Дома, на даче — говорить нечего. Еду, иду по городу — попадаются аптеки, в которых я, выстаивая очереди, по спецре-



цептам получал для тебя лекарства, а в последнюю пору — наркотики. Полетел в Москву, иду по Лубянской площади, мимо магазина «Детский мир», натыкаюсь на министерство транспорта, сюда приходил я забрать для тебя лекарство, которое мне пересылали из Хорватии.

### Жизнь без тебя...

В думах о тебе родилась мысль, что инопланетяне — это ангелы атеистов. Может быть, поэтому я терпеть не могу всякую фантастическую литературу...

### Жизнь без тебя...

Вспоминаю...

Однажды на Рижском взморье, в Дубултах, мы задались целью целый день до вечера идти по бесконечному пляжу вдоль моря, а обратно вернуться последней электричкой. Я оглядывал встречных женщин, ты была красивее всех. И все мужики заглядывались на тебя.

— Вот отдохнем, подлечимся, и заведем детей... — говорил я.

Если нам где-то в магазинах попадались, мы покупали, тогда они были дефицитом, детские смеси, детское питание. Потом я все их скормил собакам...

### Жизнь без тебя...

Вспоминаю...

Настоятельница монастыря, в который мы заехали помолиться перед местнотимой чудотворной иконой Божией Матери, увещевала тебя:

— Мы рождены не для того, чтобы жить на Земле, мы рождены, чтобы жить в раю. Но мы должны заслужить это, иначе попадем в ад.

Ты не хотела в ад, но, знаю, ты не хотела и в рай. Выйдя на пенсию, ты хотела хотя бы еще немного пожить на Земле, благоустроивая и облагораживая маленький кусочек ее в шесть соток, ни на что не претендуя, никому не мешая. Заслужила ли ты своими страданиями место в раю? Простил ли Всевышний твои грехи?

Читаю умную книгу:

«Кто в состоянии перечислить красоты рая? Прекрасно устройство его, блистательна каждая часть его; просторен рай для обитающих в нем. Светлы чертоги его; источники его услаждают своим благоуханием... Разнообразил и умножил красоты рая создавший их Художник: для низших Он назначил низшую часть рая, для средних — среднюю, а для высших — самую высоту. Как велико и различие степеней, так же велико число и различие в достоинстве поселяемых: первая степень назначена покаявшимся, средняя — праведным, высота — победителям...»

«Оказывается, и в раю неравенство, — усмехнулся я. — Если в раю неравенство, значит, там рано или поздно могут появиться недовольные. Может, действительно, так появились падшие ангелы, своего рода большевики, революционеры рая?»

«...Невозможно даже мысленно представить себе образ этого величественного и превознесенного сада, на вершине которого обитает Слава Господня...»

Нет темных пятен в обителях рая, потому что чисты они от греха, нет в них гнева, потому что они свободны от всякой раздражительности; нет насмешки, потому что им незнакомо коварство. Не делают они друг другу вреда, не питают в себе вражды, потому что для них не существует зависти, никого там не осуждают. Потому что нет там обид...

Кто не позволял себе ни проклятия, ни злословия, того прежде всего ожидает райское благословение. Кто взгляд очей своих постоянно хранил чистым

и целомудренным, тот увидит наивысшую красоту рая. Кто всяческую горечь подавлял в своих помыслах, по членам того протекают источники сладостного веселия...

Когда выступил я из пределов рая и достиг земли, порождающей тернии, встретили меня болезни и страдания всякого рода. И увидел я, что страна наша есть темница, что перед взорами у меня — заключенные».

«Получается, так и есть, — снова усмехнулся я, — что мы на Земле всего лишь заключенные, у кого срок больше, у кого меньше».

Читаю дальше:

«Духи совершенных праведников, подобно душе Лазаря, прямо вознесутся на лоно Авраамово, где и пребывают в блаженстве до всеобщего суда. Блаженство их состоит, главным образом, в созерцании Бога — источника всего истинного, доброго и прекрасного... Там, на блаженной земле кротких, все тихо и безмятежно, все светло и богоугодно, нет там ни труда, ни слез, нет ни вражды, ни ревности, но в высшей степени есть радость, мир, веселье, там всегдашнее радование, вечное веселие, невечерний свет, незаходящее солнце...»

Я не могу представить себе счастья без труда даже в раю. Рай без труда — это счастье люмпен-пролетариата, это даже страшнее концлагеря, где силой заставляют работать, это тюрьма, где морят бездельем, а для нормального человека пытка бездельем, может, страшнее всех других пыток.

Автор этой тошнотворно сладкой сказки о райских куцах некто Ефрем Сирин, которого Церковь возвела в ранг преподобного, жил на Земле в IV веке. Читаю в Православной энциклопедии: «Сын земледельца из г. Низибии в Месопотамии, был в юношестве безрассудным и раздражительным, попал случайно в тюрьму по обвинению в краже овец, прозрел, удостоился слышать Глас Божий и смирился... Он оставил много толкований на св. Писание и др. сочинений, переведенных на греческий и читавшихся в церквях, а также умиленные молитвы и песнопения и покаянную молитву “Господи и Владыка живота моего” и много сочинений аскетического характера».

Кошунствую, но лукавить не буду, ибо лукавство — еще большее кошунство: не верю я Ефрему Сирину. Такие сказки только отвергают от Бога. Не говоря уже о том, что этот сказочник соблазнил, очаровал своими сказками очень многих на Земле. Многие, очень многие раньше времени попытались попасть в рай. Особенно любили Ефрема Сирина раскольники. С его книгой, нисколько не сомневаясь в истинности свидетельства, они бесстрашно всходили на костер целыми семьями, целыми селениями.

В раскольничьих скитах или в сооруженных на скорую руку шалашах в южно-уральской тайге не раз находили на останках отшельников и беглых рабочих с горных заводов именно книгу Ефрема Сирина. Измученные тяжелым, непосильным трудом, люди находили ответ в его преславных сказках и отшельничеством, голодом ускоряли свой уход в иной мир, где «глас празднующих», где нет «ни труда, ни слез, нет ни вражды, ни ревности, но в высшей степени есть радость, мир, веселье». Другие, далеко не самые худшие, разувшись в возможности достижения рая или обыкновенного человеческого счастья на Земле, вычитав у того же Ефрема Сирина, что и там, в раю, оказывается, нет равенства, находили путь в еще более лукавом манифесте Карла Маркса и хватались за кистень, чтобы утвердить равенство на Земле, а к ним присоединялись просто разбойники, которые рано или поздно и брали власть в свои руки. Мне говорят, что свидетельства Ефрема Сирина надо понимать иносказательно, написано это по разумению людей того времени, но ведь не только его современники, но и люди последующих поколений понимают их буквально, верят, что это свидетельство побывавшего в раю, а не мечта, не опасный вымысел, выдаваемый за действительность, или, как бы определили литературоведы, не фантастическая литература.

### Жизнь без тебя...

Поехал на Урал навестить родственников. На обратном пути, сделав небольшой крюк, заехал к отцу Алексею. Заказать панихиду по тебе. Почему-то меня тянуло в этот храм. А может, к отцу Алексею, у нас как бы остался не завершенным прежний разговор, больше похожий на спор.

Отец Алексей не очень обрадовался мне, перед этим я дал себе слово не втягиваться ни в какой богословский спор, но в какой-то момент не сдержался, и отец Алексей снова увещевал меня: три, четыре поколения, а то и больше, расплачиваются за грехи предков. Опять привел тот же пример: мужик в тридцатые годы сбрасывал колокола с колокольни, на фронте пуля попала в рот, но не убила, что было бы самым простым наказанием, а выбила все зубы, есть мог только жидкое. Так и жил, мучаясь, до глубокой старости. У дочери — куча болезней, по всем статьям давно должна была умереть, но мучается до сих пор: «Как бы я хотела умереть, батюшка. Отцовы грехи не пускают, еще не замолены...»

Как и прежде, он меня ни в чем не убедил. Даже у большевиков «сын не отвечает за отца». Почему же я должен расплачиваться за грехи Адама и Евы? Это справедливо только в том случае, если весь человеческий род — как бы один человек, который живет много веков, и потому мы отвечаем за грехи предков. И никто не вправе без воли Бога прервать эту нить. А я преступно ее прервал. Но, может, я прервал ее по воле Бога? Умерли раньше времени, молодыми, мои двоюродные братья, сыновья дяди Ивана, или не оставив никого после себя или оставив только дочерей. Только дочери у моего брата. Может, Господь из-за какой-то страшной вины, о которой я не знаю, решил прекратить наш род?

Может, по этой причине, не признаваясь себе, я так страшусь того мира?

На грани этих миров, на осмыслении их происходит разрыв души моей. Я знаю, умом знаю, что есть Господь, но сердцем, видимо, не верую в Него. Мне хочется верить, но я только верю. Но безоглядной веры нет, только интуитивное знание, да и то...

### Жизнь без тебя...

Я редко вижу сны, и, как правило, не помню их.

Но однажды, еще при тебе, но уже с осознанием того, что почти без тебя, видел смутный сон, которому первоначально не придал значения: то ли лунная ночь, то ли еще неясный рассвет, то ли какой другой, только не дневной, свет, какое-то кладбище на склоне пологого холма, низкий туман над влажной холодной травой, и вдоль огораживающего кладбище прясла то ли шла, то ли плавно плыла над самой землей, над низким холодным туманом, с неясными очертаниями, но в каком-то светлом ореоле, в длинном одеянии, ниспадающем с плеч, женщина — и что-то говорила мне, что-то печальное и в то же время успокаивающее, что она не оставит меня и — то ли звала, то ли не звала за собой. Я невольно, как бы по ее молчаливому приказу потянулся за ней, хотя мне туда не хотелось, хотя не знал, куда, но послушаться я не мог, но она вдруг оглянулась и плавным взмахом руки остановила меня: тебе не надо за мной, тебе еще рано... И я проснулся, не понимая, что это было: сон или явь? И кто эта женщина? Я боялся пошевелиться, осторожно дотронулся до тебя, чтобы убедиться, что я дома. Встал, стараясь тебя не разбудить, осторожно подошел к окну, за ним была глухая, сжимающая душу в крошечный комочек, предутренняя темень, и я снова торопливо лег, осторожно прижавшись к тебе, спасаясь от нахлынувшего на меня одиночества и предчувствия близкого расставания... И странно: обычно мучающийся бессонницей, если вдруг просыпался среди ночи, сейчас я мгновенно заснул. И утром, как обычно, уже не помнил ночного сна. И только через несколько дней, а может, недель, неожиданно вспомнил, и все было даже более отчетливо, чем во сне: и кладбище, и низко плывущий

туман над землей, переходящий в обильную холодную росу, я даже промочил ноги, и странный, то ли лунный, то ли какой иной свет, и светлая женщина, скользящая по воздуху над самой землей. Только я по-прежнему не помнил или не понимал смысла сказанных ею слов — и только сейчас словно ударило меня: неужели это была Матерь Божия? Если так, зачем она явилась мне?

Теперь этот сон не выходил из головы. Неужели я просто придумал его? Нет, сон явственно был. И даже не сон, потому как я в то время вроде не спал, разбуженный твоей просьбой повернуть тебя на другой бок, лишь тревожно дремал. Это было передо мной как бы наяву. Я не рассказал об этом сне даже тебе — по нескольким причинам: во-первых, он был связан с кладбищем, во-вторых, мало ли что может присниться, а в-третьих, я не помнил сказанных ею слов и потому не знал, как толковать все это. Может, вот так придуманное выдают за действительное, когда утверждают, что к ним являлась Матерь Божия? Ведь снятся же сны о том, о чем накануне думал. И в то же время порой точит мысль: а что если на самом деле это приходила Матерь Божия?

И вот только сегодня, больше года прошло после твоей смерти, я вдруг вспомнил, что, кажется, в ту ночь, прежде чем снова лечь и прижаться к тебе, я что-то записал в своем дневнике, который с некоторых пор веду лишь время от времени.

И действительно, нашел неровную, наискось, карандашом, запись:

«Какая-то женщина неясно, но властно ведет за собой. Сначала по кладбищу. В каком-то тумане. Потом стало много воды. Какой-то поток. Потом женщина мановением руки стала поднимать меня вверх. Мне стало страшно от высоты. И я стал проситься обратно на Землю — и проснулся...»

### **Жизнь без тебя...**

Пройдет больше года после твоей смерти, я по каким-то делам буду ехать по городу, и неожиданно обнаружу себя на парковке около ракового центра, хотя мне было нужно ехать чуть ли не в противоположную сторону. Так я за три года привык к этому страшному маршруту...

*(Окончание следует.)*



Василий КОВАЛЕВ

## ГОРЬКИЙ ВОЗДУХ

\* \* \*

Что страшит — бессмысленность страданья,  
повторенье страха каждый раз,  
снегом засыпаемые зданья,  
музыка, гнездящаяся в нас.

Не встречая никакой препоны,  
прочь летит осенняя листва...  
Видишь, как случайны все законы,  
как банальны лучшие слова.

Под окном, оторванный от липы,  
пролетает желтый, потемнев,  
лист, трамваи тычутся, как рыбы,  
в очертанья улиц и дерев.

И не знаешь, как еще об этом  
рассказать — не умничая, не...  
Небеса, взлохмаченные светом,  
тяжело шевелятся во сне.

И желтеют розовые зданья.  
Хочется продолжить: хоть умри,  
но светлы одни воспоминанья...  
Светит снег. Кружатся фонари.

\* \* \*

Сквозь сырой неряшливый подлесок  
за ночь, кажется, в четвертый раз  
армия колючек и железок  
желтую пехотой шла на нас.

Я кричал — бесстыдно, нестерпимо,  
если сестры спали за стеной,  
и тогда сосед мой Дима,  
чокнутый мой друг, сидел со мной.

Я не знаю, что сказать об этом.  
 Где-то проходили поезда...  
 В узкое окно холодным светом  
 заплывала редкая звезда.

И плыла картинка золотая,  
 после трех таблеток, угасая...  
 И, не понимая, что сказать,  
 Дима руку мне сжимал, когда я  
 собирался снова закричать.

\* \* \*

Мутный мрак ночного снегопада,  
 выбранный до зернышка, пустой  
 небосвод, слепая автострада —  
 свет холодный, сине-золотой,

темная громада стадиона,  
 сломанный троллейбус на углу;  
 бродят щетки медленно и сонно  
 по нагретому стеклу.

Боже, как бессмысленно сияние,  
 повторенье, воздух ледяной,  
 я не знаю, я не знаю, я не  
 знаю больше, что со мной...

Видишь, что? Бессмысленно и странно.  
 Безответно. Боже мой...  
 Горький снег, стекляшка ресторана,  
 воспаленный холод голубой.

\* \* \*

Всю ночь мне снился Тевтобургский лес,  
 вал перед лагерем, звезда в тяжелой кроне,  
 отряды варваров колышутся на фоне  
 нам не сулящих доброго небес.  
 Последняя центурия во рву  
 спасается, смешались легионы,  
 увы, сдаются в плен центурионы,  
 значки позорно брошены в траву... —  
 Все кончено, оставлен бранный труд,  
 кто с краю был — хоть как-то отступили...  
 Я только помню, как меня убили  
 и как, упав, увидел: все бегут.

.....

Проснувшись, долго попадал в рукав,  
 снял с полки Тацита, желая продолженье  
 узнать: чем там закончились сраженья? —  
 и даже как-то рад был, прочитав,  
 что цезарь наш здесь восторжествовал,

шесть лет спустя, захоронив при этом  
и наши кости (правда, тем же летом  
германцы срыли похоронный вал).  
Как будто Время совершило круг,  
и все вот-вот наружу извлечется —  
сентябрьский лес, палатка полководца,  
солдаты Рима, спящие вокруг.

\* \* \*

Кто-то в сон проникает наш из-за мутной Леты,  
и из прошлой жизни показывает милое представленье,  
и за два мгновения передает, торопясь, приветы,  
и потом исчезает вдруг за одно, нет, за полмгновенья.  
Никого в темной комнате. Смеявшиеся актеры,  
только что перед нами игравшие нас, только помоложе,  
пропадают, и видно лишь колыханье тяжелой шторы  
и как валит снег... И сжимаешься от приятной дрожи.  
Почему же не каждой ночью? почему так ужасно редко?! —  
И ответа нет, разумеется. Впрочем, его и сам бы  
мог додумать: чтоб ты дорожил вот хотя б этой белой веткой,  
чашкой чая средь ночи, горьковатой своей таблеткой,  
этим снегом в окне, этим светом настольной лампы.

\* \* \*

Шум ручья, сбегającego к яме,  
горький воздух резче и свежей.  
Ветерок, играющий огнями,  
темный снег на крышах гаражей.

Вывесок сухое полыханье.  
Облака. Троллейбусы. Дома...  
Вот чем плохи эти описанья —  
никакой поживы для ума.

Черно-желтая на ветке птица  
(в детстве я здесь видел снегирей).  
Оттепель... — Весна, как говорится.  
Слабый свет тяжелых фонарей...

В темноте — в «Пятерочку» за хлебом —  
по тропинке, что ведет туда,  
где деревья делаются небом  
и с трамвая падает звезда.



Сергей КРУЧИНИН

## ПАТЕРИК ГОВОРЯЩЕГО СКВОРЦА\*

Документальная повесть

### Глава седьмая. Вот моя деревня

— Но, Зинка! — весело сказала тетя Нюра и легонько тронула вожжи.

Колхозная лошадь Зинка дернулась, выбросила из-под хвоста темно-зеленые яблоки, и мы покатали по большаку от станции Шлиппово к нашей дорогой деревне Колтенки. Мы с мамой сидели по обеим сторонам телеги на ворохе соломы, укрытой овчинами. Между нами лежал большой чемодан, много сумок, сумочек и самое ненавистное мне — свинцом налитые кубы двух батарей для приемника дяди Вани: электричества в деревне не было. Я их пер всю дорогу, и только сейчас стали отходить ладони.

— Хорошо! — вздохнула полной грудью мама.

— Только Журавов нонче приезжал, — продолжила тетя Нюра, — долгоносый. Сказал, будет строиться, детишек привезет на лето. Хвастался, получил в Магнитогорске комнату от завода. А Пашка Беляков два пальца себе отстрелил: ковырялся шомполом в ружье, оно и бабахнуло — хорошо, что не в глаз. А Лиза, мать его, намедни Ленчикова теленка поранила. Зашел, беспризорный, в ее огород — вот теперь бегают ко мне, разбираются.

Со времен своего послевоенного колхозного председательства тетя Нюра почиталась в деревне за прокурора, судью и защитника. К ней все приходили за советом. А зимой собирались у нее поиграть в лото, пораскинуть картишки. Теперь наша тетя Анюта была начальницей телячьей фермы.

Телега загремела по бревнам мостовой, Зинка тихонько заржала. Издалека ей ответили измученные деревенские коняги. Дом тети Нюры был в самом центре Колтенков — крепкий, плотно покрытый дранкой. Три тополя отделяли его от пыльной дороги. Перед войной этот дом Иван Тимофеевич и Анюта построили практически вдвоем, даже матицу на стропила укладывали сами, хотя эта работа тяжела и для трех дюжих мужиков. Дядя Ваня придумал какое-то приспособление, но все же тетя Нюра надорвалась, и детей у них не было. Взяли на воспитание Нину Иванову — родственницу Ивана Тимофеевича, после смерти родителей оставшуюся сиротой.

Я уже видел, как дядя Ваня спускается с высокого крыльца, подкручивая свои унтер-офицерские усы, и сердце мое заныло. Всякий раз, как я приезжал в деревню, он тут же отводил меня к третьему тополи и начинал экзаменовывать

---

\* Продолжение. Начало см. «Сибирские огни», 2014, № 9.



по русскому и арифметике. Будучи директором сельской школы, дядя Ваня ревностно относился к образованию в городе. Выслушав мои ответы, сообщил: «Мы учим не хуже, мы учим не хуже!»

Пока меня пытал дядя Ваня, тетя Нюра примеряла подарки. Потом пили чай с московскими гостинцами и деревенским медом — все было аккуратно порезано и разложено по тарелочкам.

Иван Тимофеевич довольно приговаривал: «Буфет, буфет!» В нем проявлялась постоянная и неизбывная тяга к аристократизму. Обычно он носил парусиновую белую фуражку и такой же белый френч, в руках — инкрустированная трость, подарок Александра Петровича. Так он напоминал то ли помещика, то ли партийного деятеля районного масштаба. Однажды я видел, как тростью он указывает мужикам, бывшим своим ученикам, на дурно сделанную работу. Мужики покорно подчинялись.

Вскоре я, оソロевший, уходил спать в садовый домик, взрослые засиживались в разговорах дотемна.

В Колтенки мы с мамой приехали аккуратно за неделю до Петрова дня — отмечался он двенадцатого июля. Мои деревенские друзья много чего рассказывали о чудачествах, творимых ими в ночь накануне праздника, и о чуде волшебном — игре первых лучей солнца: такое бывает только утром Петрова дня.

Вечером, накануне праздника, мы с ребятами пошли в совхоз смотреть фильм «Праздник Святого Йоргена». До совхоза два километра — через овраг и вершинку, заросшую березовым мелколесьем. Как водится, кто-то из ребят угостил махрой. Важно дымя сигарками, дошли до клуба в бывшем доме Шлиппе, напоминавшем средневековый замок, с башенками и окнами-бойницами. Там уже шумела молодежь из соседних деревень: еще не пускали. Киномеханик никак не мог завести дизельный движок: он то взрыкивал — и свет вспыхивал, то тут же гас. Наконец завелся, зал засветился электричеством — и начали продавать билеты. Мои приятели, чтобы попасть в зал, нырнули в подвал. Я было бросился за ними, но в темноте ничего не мог разобрать, вернулся, заплатил двадцать копеек и взял билетик. Фильм этот я знал наизусть, смотрел много раз; все ивантеевские мальчишки козыряли первой фразой: «Главное в профессии вора, как и святого, вовремя смыться». Городские мальчишки сильно отличались от деревенских. В нашем ивантеевском дворе часто устраивались драки. Маг, фикса на зубе, папироса в уголке рта, сапожки в гармошку заметно поднимали авторитет.

Помню, меня позвали посмотреть в раскрытое настежь окно на первом этаже, как вернувшийся со службы участковый милиционер, сняв широкий ремень, с дикой злобой колошматит своих детей. С визгом они скачут по комнате, как зайцы, а он достает их и достает, пока их мать с истерическим криком не бросается на ремень, отчаянно и самоотверженно защищая своих дитяток. Эти жестокие сцены доставляли моим друзьям странное и непонятное удовольствие.

А вот другая сцена из жизни нашего двора: мы, мальчишки, ходим по двору кругами, обняв друг друга за плечи, в центре — наш новый кумир, хромоногий Алик Симон, только что вернувшийся из лесной школы, где его лечили от полиомиелита. По его рассказам, школа эта — колония для малолетних преступников. Алик поет нам блатные песни, мы учимся ему подпевать, он читает наизусть длинные фривольные поэмы вроде барковского «Луки». Мы это живо впитываем со страстью и гордостью избранных.

Интуитивно меня больше тянуло к детдомовским ребятам. Директором детского дома была моя тетя Лида, там я часто бывал, даже тесно дружил с некоторыми из воспитанников. Детдомовские были общинно сплоченными, совершенно не агрессивными и добродушными. Они организовано учили уроки, занимались в кружках и даже веселым строем ходили в баню. Все это мне очень нравилось. Кое-кто из ребят бывал у нас дома. Я помню, мама даже хотела удочерить одну девочку, Тоню Кононову, но впоследствии отказалась

от этой благой идеи, поскольку тогда надо было бы усыновлять ее брата, а он был склонен к суициду. Я очень переживал, что у меня нет ни брата, ни сестры.

Алик Симон был старше меня года на четыре или даже пять. Остроумный и злоязыкий парень, он жил с бабушкой на четвертом этаже в маленькой комнатке без водопровода и канализации. Его родители умерли рано. За стенкой в хорошей квартире, хотя и с соседями, жила его мачеха с дочерью. С ними у Алика и его бабушки были очень натянутые отношения. От отца у Алика остался замечательный аппарат «Фотокор», которым он подрабатывал, а потом стал классным фотографом. Официально он нигде не работал. Были у него какие-то странные связи со старыми товарищами по лесной школе, жившими в Москве, но об этом Алик не распространялся. Все наши помнили его отца, жалели Алика и привечали. Он любил бывать у нас, по-взрослому разговаривал с тетушками о жизни, ее справедливости и несправедливости, а я все наматывал на ус. Именно он научил меня основам фотографии. Но аппарата у меня долго не было, по этой причине в альбомах отсутствуют портреты моих друзей Кольки, Ивана и Толика Суворкиных и Васьки Гришкина, с которыми в ту предпраздничную ночь мы вышли после фильма, обуянные антирелигиозными авантюриными планами.

Перед бывшим домом Шлиппе на вытоптанном пятачке уже наяривала гармонь. Две колхозные молодки наперебой выкрикивали частушки с легким матерком. Выходившие из зала расширяли и уплотняли круг, лущили семечки, смеялись и подбадривали. Киномеханик не выключал свой тархтевший движок. Над пятачком ярко светила лампочка в тарелке металлического отражателя, видно было, как девки каблуками выбивают пыль; клубясь, она поднимается вверх и растворяется в темноте.

Ко мне подошел знакомый совхозный малый, он был старше меня.

— Хочешь познакомиться с девчонкой? — Я смущенно пожал плечами. — Кто нравится, подойди и скажи: «Пройдемся?..» Если пойдет, ты уж там сам... — и отошел к другим, наблюдая.

Я догадался — меня хотят завлечь в какую-то опасную ловушку, и сказал Кольке.

— Прописать хотят городского, — усмехнулся он, — пошли домой городушки породить.

Постояв еще немного, своей компанией мы пошли в Колтенки — нам предстояла занимательная ночь и ранний рассвет с волшебной игрой солнца.

Именно в ту ночь я узнал, что такое «кострома» — не город, а кукла. Пук соломы переламывали, перевязывали в двух местах и обряжали тряпочками в юбку и косынку. Я так и не понял тогда, по какому принципу ставили этих кукол на заборы и крылечки. Больше всего досталось Зенихе. Ко входу в ее дом мы приволокли колхозные сани, которые стояли то ли брошенные, то ли хранимые на пустыре в крапиве. Завтра бабы, готовя пищу, сожгут «кострому» в своих печах — таков древний языческий обряд: «кострома» — великая жертва природным божествам...

Покуролесив и намаевшись, мы отправились ждать солнца на колхозный сеновал и заснули богатырским сном. Проснулись, когда пастух заиграл на своей дудочке, собирая стадо. Солнце уже поднялось над горизонтом. Мы тихо разошлись по домам и легли спать.

Сквозь сон я слышал, как приходила Зениха с хворостиной и зычно кричала:

— Анюта! Укороти своего москвича, с толку сбивает наших.

— Да ты что, — успокаивала тетя Нюра, — не помнишь, что ли, как мы гуляли в молодости? Они приволокли сани, они и уволочут.

— Уволочут, — возмущалась Зениха, — там мужикам на день работы!

Действительно, ночное неумное веселье подвигало нас на чудеса. Каким-то особым организатором я не был — фантазировали и изощрялись все.

Зениха в деревне нашей слыла чудачкой, вроде шолоховского деда Щукаря. Росточком она была значительно ниже всех деревенских баб, отличаясь видным сложением, с бутылочными плотными икрами и несоразмерно огромной задницей. Обычно бабы ждали бригадира, сидя на травке недалеко от нашего дома. Как только появлялся бригадир и начальственно звонил в подвешенную рельсу, бабы нехотя поднимались и подходили к нему получить наряды на предстоящие работы. В отличие от всех баб, Зениха поднималась особым образом: сначала, опираясь на ладони, поднимала зад, разворачивая его, как тяжелую танковую башню, затем отталкивалась от родной земли, выпрямлялась и резво шла к бригадиру. Говорят, она и работала споро.

Как-то в наше деревенское стадо откуда-то пастух привел племенного быка Самсона, со спиленными рогами и металлическим кольцом в носу. Вечером, когда пригнали стадо, и деревенские разбирали по дворам своих зорек, март и белянок, привечая их чем-то, Зениха подошла к пастуху попросить, чтобы тот не забыл ее коровку, подвел к быку. Самсон, учуяв чужого подле своего повелителя и надвигающуюся опасность для гарема, опустил лобастую голову с кудрявой белой звездочкой, засопел, развернулся и пошел на Зениху. Пастух резко оттолкнул глупую бабу, та неожиданно резво побежала и вскарабкалась на тын. Бык тяжело развернулся и снова прицелился. Пастух успел сноровисто хлестануть кнутом Самсона. Зверь отпрянул и разнес в щепки добротный тын. Зениха упала на свое мягкое место и потом долго болела.

Когда бригадир Серега, как его звали между собою, объявил разнарядку, сбор травяных семян, Зениха, тогда еще болящая, первой вышла в поле с торбой. Я увязался со всеми — заработать свой трудодень. Мне тоже дали торбу. Все брели по огромному, заросшему тимофеевкой полю, сдаивали с трав «петушков» и «курочек», бросали в торбы. Дело было к закату, бабы разбрелись по широкому полю, и вдруг Зениха запела. С другого конца ее песню подхватил второй голос, это была Нюша-Курноска, такое было у нее прозвище. Наконец, низким голосом вступила моя тетя Нюра. Тогда я еще не знал никаких музыкальных слов и не мог объяснить, что это было. Песня рассказывала о косоньке, которую расплетали надвое — тягучая, грустная и до спазмов красивая мелодия. Теперь, вспоминая то звучание голосов в вечернем чистом воздухе, в широком поле, я не удерживаюсь от подступающих слез. Теперь я знаю и правильное слово. Это слово — *стереофония*. И еще — ностальгия. А пели на три голоса чистыми естественными голосами, без той отвратительной псевдонародности, в манере которой запели городские самодеятельные хоры.

В те дни я норовил подобраться к дядиной малиновой, с перламутровыми кнопками, гармошке. Она стояла на видном месте, между приемником и большим напольным зеркалом, аккуратно покрытая вышитой попонкой, которую Иван Тимофеевич перед игрой укладывал на колени. Музицировал он редко, но всякий раз послушать собиралась вся деревня. Частушек он принципиально не играл, только популярные песни и какие-то свои наигрыши.

Мне гармошку трогать запрещалось. Помнится, даже попыток не было поучиться. Но когда никого не было, я все-таки брал ее, не мог себя преодолеть. Брал со всеми предосторожностями, пытаясь ничего не нарушить. Тем не менее дядя Ваня замечал — и с досадой качал головой.

Тетя Нюра иначе понимала тягу к гармошке — не как к красивой безделице, а как к музыкальному инструменту, поскольку не раз была свидетельницей моего пения на сеновале. Точнее, попыток распевания: начиналась мутация, у меня ломался голос. Казалось, на сеновале звучит лучше, и здесь меня никто не слышит.

Заразил меня желанием петь Айзмуха, товарищ мой по пионерскому лагерю на Рижском взморье, Валерка Айзман. Ангельский голос — не хуже, может быть, даже лучше Робертино Лоретти. Но Лоретти был раскрученным итальянцем, а Айзмуха — обыкновенным мальчишкой из рабочей среды с московской улицы Маросейка.

Мне страстно хотелось петь так же, как Валерка. Я убежал в рыбацкий поселок на взморье, где днем никого не было, кроме глухого старика, чинившего сети и заливавшего днища лодок пахучим варом. Все взрослые уходили в море ловить салаку. И вот на этом пустынном песчаном берегу я экспериментировал со своим голосом, пытаюсь добиться звучания как у Айзмухи. И сознавал, что не получается и не получится, но я так старался, что совершенно сорвал голос, и только сипел и пускал петухов, меня даже перестали вызывать к доске.

Когда Ивана Тимофеевича не было дома, тетя Нюра говорила мне: «Поиграй немножко, только аккуратно». Первую мелодию я подобрал с большим трудом, сильно намучившись, пока не сообразил, что на одной кнопке два звука: при сведении мехов — один, при разведении — другой. Нужно было понять систему, а я не мог. Чтобы Иван Тимофеевич не заметил, тетя Нюра тщательно заметала следы — все вокруг протирала влажной тряпочкой: трюмо, стул, приемник, а порядок дяде Ване чрезвычайно нравился.

Идет дядя Ваня из Слизнева, натрутился с ремонтом школы, иной раз и подшофе, а кто-то непременно опередит его с известием: «Анюта! Твой Иванов идет». И Анна Ивановна давай раздувать самовар — не дай бог, не будет шуметь — и ну нарезать и раскладывать по тарелочкам остатки московских гостинцев, колбаску да селедочку... Вот он подходит к дому вихляющей походкой, выбрасывая вперед тросточку, вот поднимается на крыльцо, голосом человека, открывающего представление, объявляет:

— Анюта! Буфет!

А уж буфет был готов: и самовар шумел, и колбаска, и два ломтика батона лежат, а уж четвертинку он приносил с собой.

Как-то я взял гармошку без спроса, знал, что дядя Ваня придет из своей школы поздно, а тетя Нюра ушла лечить телят. Только я надел ремни и собрался поиграть, как перед окном закричал мой друг Колька Суворкин:

— Серега, выходи, давай отведем лошадей в поле, мужики попросили.

Лошади были большой моей страстью. Первый раз я сел на лошадь по просьбе тети Нюры. В полдень пригнали телят, а одного теленочка не досчитались. Она и говорит:

— Возьми у бригадира уздечку и поезжай на Зинке, поищи теленка — где-нибудь недалеко в кустах заблудился.

Уздечки выдавались только бригадиром, чтобы никто не мог воспользоваться лошастью без спроса в личных целях: лошади работали на колхоз.

Бригадир отыскал самую старенькую уздечку и только спросил:

— А ты умеешь?

— Конечно, умею, — соврал я.

Тетя показала мне, как вдеается в пасть лошади мундштук, и посадила на смирную Зинку. Теленка я нашел довольно быстро, но решил покататься и сделал пару кругов — до Вершинки и до Забродной, а теленок как стоял в кустах, так и стоял, не тронувшись с места, пощипывал листочки да хвостом отгонял назойливых мух, грустный и беспомощный, не ведая, куда идти. А я уж проверил и рысь, и галоп.

Впопыхах я поставил гармошку кое-как, сорвал в сенях веревочку с гвоздя, поскольку уздечки мы делали сами и ездили без седел, и помчался за лошастью в стойло.

Конюшня — щелястый сарай из огромных бревен с обветшалой соломенной крышей. Перед широкими воротами болото никогда не убираемого навоза и конской мочи. После войны убирать было некому: в колхозе бабы да покалеченные на фронте мужики. Летом все мальчишки ходили босиком. И вот я вывел свою лошадку, ноги по колено в навозе — в сажелке искупать Зинку и самому искупаться.

Приспособил уздечку, в воде сам взобрался на лошадь, а когда выходили из воды, огромный слепень впился Зинке в круп — она рванулась в сторону

спасительной конюшни, я натянул уздечку, чтобы притормозить и сбить слепня, но гнилая уздечка порвалась, неуправляемая Зинка бросилась в конюшню. Я ухватился за холку, еле удерживаясь, видел, как надвигается на меня верхняя балка ворот, успел понять, что голова моя не проходит под балку, сейчас меня разнесет — и прыгать поздно...

Спас меня навоз: Зинка захлюпала по густой жиже, замедлила бег, и я успел ухватиться за верхнюю балку, расшеперив ноги. Зинка пробежала, я же повис, слегка ошалевший от случившегося. Долго висеть я не мог, а помочь было некому. Оставалось одно — прыгать. Выпустив из объятий балку, я погружился в навозное болото; выбравшись, смердя, побежал отмываться в сажелку. И все же я отвел Зинку в поле, где мужики работали на конных граблях — соорудил уздечку из ивового прута и обрывков веревки и отвел.

Возвращался, все еще переживая свое падение. Принюхивался: казалось, от меня пахнет то навозом, то конским потом. Я мечтал еще раз искупаться, мучила жажда.

Путь мой лежал через низинку, где находилась молочная ферма. Увидел, что идет дойка, решил: попрошу напоить — уж если не молоком, то водой.

Молодые бабы сидели возле коров с подойниками на скамеечках.

— Здрасьте, — громко сказал я.

— Здорово, коль не шутишь, — баба откинулась от вымени, встряхнула кистями, чтобы расслабить перетруженные руки, со стоном произнесла: — Ох, мои дорогие рученьки! Даже титьки не держат.

Другие тоже прервали дойку — наверное, я для них явился неожиданным развлечением, как в школе — кривляющийся двоечник у доски.

Одна из них плеснула молока на кисти, стала растирать, массируя, громко спросила:

— Чей это, такой чистенький?

— Да это Анны Ивановны Ивановой племянник, из города приехал. Помнишь ее сестру Татьяну? Так это ее сын.

— Пожалуйста, — вежливо сказал я, — дайте мне попить.

— Молока али воды?

Молодая наклонила подойник и налила кружку парного молока, аж с горочкой.

— Эвон как руки трясутся, — заметила она, подавая молоко.

Бычком я выпил всю кружку и предложил:

— Давайте... я помогу вам доить.

Все засмеялись:

— С пеклеванного-то силы не станет, поел бы как мы — хлеб ложками, наполовину с мятой, вот тогда берись за сиську, а то ведь корову только испортишь.

Все как-то очень недобро ухмыльнулись, а я понял, в чем дело.

Дядя Ваня как директор школы, как служащий имел право покупать хлеб в совхозе — там была пекарня, и хлеб делали из хорошей сеяной ржаной муки. Колхозники же получали зерно по трудодням, мололи, на треть разбавляли мякиной для экономии — хлеб получался горьким и невкусным, часто толком не пропекался: я однажды пробовал у Кольки Суворкина.

В совхоз за хлебом я ходил с авоськой. Кажется, раза два в неделю. Пока проделывал путь из совхоза в деревню, успевал от довеска отщипнуть и съесть душистую и хрустящую корочку. Потому и обожал ходить за хлебом. Обычно к своему дому я шел задами, между колхозным полем и садами-огородами. А тут приспичило идти по деревенской улице: хотел встретить кого-нибудь из друзей. Надкушенный мною хлеб распространял вокруг такое благоухание, что люди стали выходить из своих домов и принюхиваться. Мне стало не по себе, я долго переживал после этого случая. Это и припомнили мне доярки, этим и укорили.

Я покраснел и пробормотал:

— Да есть во мне сила, давайте покажу...

— Ну! Покажи. Сначала на моем пальце, — протянула мне руку молодуха.

Я с силой ухватился за ее указательный палец, с силой же продернул, буд-то это был коровий сосок.

— Не-е... — сказала молодуха. — Так не пойдет.

— Тонь, ты покажи ему... как надо, — вразной подначили несколько голосов, явно ожидая забавы.

Я спокойно протянул руку. Тоня мягко взялась за мой средний палец, с силой проскользнула к ногтю, будто обожгла: из под ногтя выползла капля крови. Боль была сильной, но непродолжительной, палец горел, его ломило. Я не вскрикнул, но от боли и удивления выпучил глаза. Бабы были довольны эффектом.

Разобиженный, я ушел далеко в поле и помочился на свой палец, уже имевший вид буро-го испорченного огурца. Был такой мальчишеский прием обеззараживать и останавливать кровь. Потом целый день держал палец в холодной воде, чтобы меньше саднило, и скрывал от всех, прежде всего от тети Ньюры — не желал, чтобы из-за меня у нее был конфликт с доярками. Сам ведь напросился. К вечеру я замотал палец подорожником и пришел ужинать. Дядя Ваня сказал мне твердо:

— Без моего разрешения брать гармонь нельзя, — на что тетя Ньюра возразила:

— Ты бы поучил его играть-то, хочется ему.

— Сергею надо учиться на рояле или скрипке. Зачем портить слух мужицким частушечным инструментом!

Дядю Ваню привлекал и волновал город. «Деревня отупляет человека, — говаривал он. — Все достижения науки и культуры — в городе». А мне очень нравилось в деревне. Может быть, потому, что я все же был городским парнем... В деревне я опробовал почти все сельские работы — трепал лен, работал на веялке, копнителем на самоходном комбайне — ужасная работа: полова, пыль и остья жалят глаза, ноздри, уши, забиваются под рубашку — я еле выдержал полдня. А все хотелось заработать лишний трудодень для тети Ньюры. По три дня в лето, а то и по шесть бывал подпаском. Пастух обычно переходил из дома в дом столоваться и ночевать на три дня. И от этого же дома ему выделялся помощник. Так я и попадал в подпаски. В эти дни тетя поднимала меня ни свет ни заря, давала ломоть хлеба и молока в торбу, которую я брал с собой. Для полной пастушеской экипировки я сплел себе из сыромятных кожаных тесемок настоящий кнут, а на конце его привязал пучок конских волос, чтобы кнут издавал звонкий хлест, как выстрел. Но этому предстояло научиться, как и громко свистеть, не вкладывая в рот грязные пальцы.

Пастух Василий Федорович был правильным, настоящим пастухом, профессионалом. У него был рожок, на котором он затейливо играл несколько мелодий: сбор стада, отдых и возвращение домой. Был гладкий посох, раздвоенный кверху. Были большой тяжелый кнут и вместительная торба, в которой он, кроме еды, носил что-то таинственное.

Когда он появился в нашем доме, тетя Ньюра шепотом сказала мне:

— До пастушьей торбы дотрагиваться нельзя.

Потом уж всезнающий Васька Гришкин, взяв с меня обет молчания, посвятил в тайну. Оказывается, в торбе Василия Федоровича, как у настоящего наследного пастуха, хранится писанная еще его дедами грамота, называемая «Отпуск». То договор с нечистой силой: где можно пасти скот, а где нельзя, как безбоязненно заходить в лес, ни в коем случае не оглядываясь, и бесстрашно возвращаться. Силы эти ограждали пастуха и охраняли стадо от волков и болезней.

Когда солнце начинало припекать, стадо ложилось у воды под песенку пастушьего рожка и, бесконечно жуя, лениво переговаривалось, перемикивалось, переблеивалось.

Мы с Василием Федоровичем садились на краю какой-нибудь ямки, доставали свой немудреный завтрак: немного нарезанного салца, яйцо, пресную лепешку, яблоко и бутылку молока, заткнутую берестяной пробкой.

— Ты, Сереня, все наблюдай, — говорил он, затеявая разговор, — в жизни пригодится! — и пересказывал мне то ли сказки, то ли бывальщины, но мата, как в сборнике народных сказок Афанасьева, я ни разу от него не слышал. Говорили, настоящим пастухам нельзя материться.

Когда уж солнце совсем разжаривалось, пастух поднимал стадо, и мы гнали его домой, чтобы пережить полуденную жару, пообедать и чуток поспать.

Обедали всегда из общей большой глиняной миски, но обязательно с мясом, чаще — с солониной. Летом скот не резали: негде было хранить, да и не по-хозяйски — мясо надо нагулять. А петушков рубили как раз к пастушьему столу.

Как жара спадала, стадо вновь выгоняли в поле, только уж в другое место, а к закату возвращали домой.

Как-то в конце августа, перед Успеньем, когда завершались каникулы, надо было отправляться в Ивантеевку, я побежал попрощаться со своими любимыми деревенскими местами в садах и окрестностях. Только что прошел дождь, все сверкало от влаги. Я добрался до нашего старого сада и взобрался на разрушающуюся кирпичную стену дома моих дедов и бабок. Был вечер, вот-вот должны были пригнать стадо, и мне надо было помогать тете загонять телят в стойло. Я оглядывал все вокруг — и вдруг мой взгляд выхватил у самой стены дождем вымытые из глины осколки фарфоровой посуды. Спрыгнув, я принялся их выколупывать, обтирать и разглядывать. На осколках чашек и чайника просматривались следы заварки. «Это же осколки жизни моих предков», — пришло мне в голову. Я всматривался в листики и цветочки, которыми был разрисован фарфор, и представлял, как из этих самых чашек пили мои предки. Помню, как это делала бабушка. Она сидит за пылающим самоваром, в чашке — горячий чай, который она аккуратно переливает в блюдечко и, дуя на него, схлебывает обжигающий благоуханный напиток, время от времени забрасывая в рот мелкие кусочки сахара, выколотые щипчиками из большого бесформенного сахарного куска... Меня пронзила мысль: где же моя родина — здесь, в Колтенках, где родились мои предки, или в Ивантеевке, где родился я сам? Мысль была до того острой и неразрешимой, что я заплакал.

Василий Федорович уже заводил в деревню стадо, пощелкивая кнутом на неразумных телят, стадо блеяло и мычало, требуя дойки, ветер пригонял запахи травы, пыли и навоза, мне надо было бежать помогать тете Нюре, а я все стоял над черепками, размазывая соленые слезы по щекам.

## Глава восьмая. Отец

Маевка! Теперь мало кто помнит, как это было в первые годы после войны. Я сижу под высокими соснами на краю полянки. Сосны шумно выметают облака с голубого неба. Передо мною профсоюзный патефон с кучей разбросанных популярных пластинок, поодаль пустые бутылки и консервные банки на всклокоченном брезенте. Я завожу патефон и выбираю из кучи нужную пластинку, страшно гордый своей утомительной миссией. Танцевавшие на полянке уже слышны где-то за соснами. Время от времени кто-то выскакивает и кричит: «Риориту»... «На честном слове и одном крыле»... «Утомленное солнце»... — и еще с десяток повторяющихся названий. Не знаю, умел ли я к тому времени читать, но никогда не ошибался, различая пластинки по круглым разноцветным наклейкам.

Следующая картина: мы возвращаемся с маевки домой по опушке леса, над рельсами железной дороги. Мама несет патефон, я держусь за ее свободную руку, рядом тетя Надя несет пластинки в картонной коробке. Вместе с

нами мамина подруга Катя Кровопускова. Справа от нас от куста к кусту перебегают какой-то солдатик, на ногах его обмотки, подстрижен коротко, круглолиц. Он смешно прячется от меня и делает маме какие-то знаки. Она отворачивается, как-то странно улыбаясь.

— Тань, иди, — говорит Катя Кровопускова, — я донесу патефон.

Я крепче сжимаю мамину руку; мама слабо пытается высвободиться, я еще крепче сжимаю руку.

— Нет, не пойду, — говорит она твердо. И, как бы оправдываясь, произносит: — Мать нас ждет.

В тот день или раньше стал я задумываться об отце — не знаю. В большом дворе нашего дома ни у одного из моих сверстников не было отца. В глубине моего сознания отец существовал, но как-то отвлеченно, поскольку они с матерью были в разводе. Я даже знал, что во время войны он был сильно контужен, долго лежал в госпитале где-то в Сибири, совершенно оглохший.

В Москве на Сушевском Валу в комнатке в коммунальной квартире жила его родная сестра Ольга, мы навещали ее всякий раз, когда ездили в столицу. Это было почти ритуалом. Побывав на выставке или в театре, намаявшись по магазинам, мы заезжали к тете Оле передохнуть перед длинной дорогой в свою Ивантеевку.

Больше всего в комнате тети Оли меня занимали одинокая золотая рыбка по имени Таракаша и старая кошка, совершенно равнодушная к рыбке. Кошку тете прислал какой-то ненавистник — в посылочном ящике, по почте. Кошку назвали на восточный манер, Неждали, и очень долго выхаживали. Вскоре у тети Оли появился еще и раненый грач. Она нашла его за своим окном, на подоконнике. Видать, устремлялись к ней обиженные, несчастные животные. Вылечили и грача, пора было выпускать его из клетки, не сидеть же в этой тесноте вечно. Но кошка проявляла такой повышенный интерес к птице, что тетя Оля решила подарить грача мне.

В доме у нас жили две белки в клетке с колесом и две птички — чечетка и щегол, да и комната была большая: грач мог полетать без всякой опаски. Но летать ему не позволили, перевязав перья на крыльях, и грач важно ходил везде, где хотел, а ночью отправлялся в большую клетку. Я пытался научить его разговаривать, но он подражал только щеглу и чечетке.

Однажды Надя торопилась на электричку и следила за настенными часами: ждала, когда пробьет восемь. И вдруг часы захрипели и начали бить раньше. Надя спохватилась, не успев позавтракать, и все услышали бабушкин голос:

— Надя, подведи часы!

Бабушка сидела рядом и удивленно молчала.

— Это грач, — закричал я, — он умеет говорить!

Об этом в ярчайших красках было пересказано, и не раз, довольной тете Оле.

Значительную часть комнаты тети занимали огромная кровать с никелированными шарами по углам и маленький столик: больше двух человек за ним уместиться не могли. Детей у тети Оли ни от одного из троих мужей не было. Угощала нас она одинаково — очень вкусным фасолевым супом (дома у нас почему-то такого не готовили). Когда с работы приходил ее муж — как все предыдущие, бухгалтер, — он молча снимал пиджак, оставаясь в широких подтяжках поверх белой рубашки, молча садился за стол и ел тот же фасолевый суп, молча.

Мать с теткой шептались в сторонке. К тому времени отец уже много лет жил в Москве и работал в Министерстве соцобеспечения кадровиком. Тетка уговаривала мать позволить мне повидаться с отцом — он очень этого хочет. Мать твердо стояла на своем: «Будет шестнадцать — пусть сам и решает». Я хотел встречи с отцом, но открыто этого не выражал — жалел мать. В то же время я успокаивал себя мыслью, что во всех семьях муж и жена непременно



ссорятся. Это я знал из фильмов и книг, были примеры и среди моих немногочисленных знакомых. А так — я жил в уютном бабьем гнездышке, где все меня любили и, может быть, даже жалели.

Однажды, роаясь в книжном шкафу в поисках того, что бы почитать, за вторым плотным рядом книг я обнаружил альбом со старыми фотографиями, а в нем — несколько снимков отца с пометками на обороте его размашистым почерком. Потом я узнавал этот почерк всюду — в коротких записках к матери, на конвертах и даже в жировках. На одном снимке он в отлично сшитом костюме сидит на ступенях санатория в Кисловодске; вот портрет в светлой фетровой шляпе — с налетом романтизма, в духе того времени; а вот совсем юный Иван Кручинин, лет девятнадцати, вид студента-общественника... — нравился мне мой отец! Сердце мое улетало, наполнялось нежностью и тоской. Мне не хватало его мужского участия в моей жизни, я страстно ловил любое, пусть даже негативное упоминание о нем, жаждал встречи и боялся разочарования. Иной раз тетя Маня проговаривалась, сердясь на меня за что-то, бросала в сердцах: «Такой же... как отец!» Какой — я мог только догадываться.

Однажды мой двоюродный брат Толюшка рассказал мне под большим секретом, что первой женой моего отца была настоящая таборная цыганка Лида — женщина необыкновенной красоты, у которой от него родились четыре девки. Четыре! Когда он приходил с работы, а служил он электриком на Киевском вокзале Московской железной дороги, в доме уже было все съедено и выпито, в комнате гуляли, ели и пили цыгане — родственники жены. Вероятно, тогда отец и научился прекрасно владеть гитарой.

Жизнь такая не могла длиться бесконечно. Надо было образовывать девонок, нужно было поднимать троих младших братьев, которых он забрал из детского дома, нужно было учиться самому, а был он уже на третьем курсе политехнического. Он разорвал с цыганами, ушел от красавицы Лиды, но помогал учиться детям. Впоследствии я узнал, что старшая, Валя, окончила университет и работала в проектно-институте, остальные пошли по торговой части, одна из них даже трудилась в «Елисеевском».

В эти годы карьера моего отца продвигалась стремительно, особенно после шестнадцатого съезда ВКП(б), состоявшегося в середине лета 1930 года в здании Большого театра. Отец от имени рабочих-железнодорожников выступил с антитроцкистской большой речью. Толюшка мне показал сборник, где была опубликована речь отца. Хотя я и прочитал ее тогда, но мало что понял — сыроват был мой мозг. Зато грудь моя наполнилась гордостью. Обо всех, пусть и отрывочных событиях его цветистой биографии я услышал из уст самого отца.

Мы встретились на станции Таганская, в метро. Суетливая тетя Оля в подробностях рассказала о месте и времени встречи. Матери я не рассказал об этом свидании, а дипломатичная и ласковая тетя Надя каким-то образом догадалась, что я еду на встречу с отцом. Может, я сам и проговорился. Надо было придумать, выбрать какой-нибудь подарок — для меня это являлось великой проблемой. Денег не было, а просить я не хотел.

Когда-то через тетю Олю я подарил отцу расческу в металлической оковке с головой морского чудища, такие продавались на Рижском взморье, куда мать с трудом пристроила меня в пионерский лагерь. С удовольствием узнал, что отец хвастается перед друзьями расческой от сына. Что же дарить теперь?.. И я решил на обман, на кражу в собственном доме. Выбрал одну из серебряных чайных ложечек, в огромных количествах лежавших на фарфоровых подносах в стеклянной горке. Даже не предполагал, что тетя Маня иногда их пересчитывает, но так и не был разоблачен — стыд и позор на мою посевшую голову! Честнейшая тетя Маня долга и мучительно удивлялась: «Куда ж могла запропасться серебряная ложечка?»

Самым сильным впечатлением от первой встречи была шершавая щека моего отца — целуя, он коснулся моего лица.

Жил отец на улице Воронцовская в доме, построенном еще до войны управлением железной дороги. Должно быть, и мы с матерью жили бы в этой квартире на восьмом этаже, не принеси нелегкая мою двоюродную сестру Верочку Решетину к дяде Ване на чай и не приди ей в юную голову вывалить все свои наблюдения родной тетушке Тане — моей матери. Любовался бы я и по сию пору с огромной отцовской угловой лоджии половиной красавицы Москвы — и изящными очертаниями колокольни Покровского женского монастыря, и сверкающей под солнцем дугой Москвы-реки...

Еще отец показал мне с гордостью свою фотолабораторию, такой позадивовал бы любой профессионал, дал посмотреть в сияющие стволы своей двустолбик и, наконец, подарил кожаную папку, привезенную из Швейцарии, где он был с делегацией Министерства соцобеспечения. В этом министерстве он успешно проработал до самой пенсии.

Жена отца, Любовь Васильевна, когда-то уличенная простодушной, чистосердечной Верочкой в вероломстве, встретила нас радушно, но почти сразу же ушла на второй план — за спину своего Ивана Михайловича. Во время нашего присутствия в их доме она старалась быть внимательной, услужливой и незаметной. Ни разу она не посмотрела на меня прямо, будто специально отклоняя голову на левую сторону. Я знал, что в детстве Любовь Васильевна в игре повредила ножницами глаз. Я невольно или вольно ловил ее взор — и отворачивался.

Когда ехал к отцу, боялся жгучего чувства ревности по отношению к его жене. Теперь ощущал только вездливую занозу любопытства: почему отец предпочел моей матери, такой красивой, умной и деловитой, обыкновенную женщину, кажется, даже без профессии, да еще с заметным физическим недостатком? Мой шестнадцатилетний мозг не мог справиться с такой мудреной задачей.

За столом отец развлекал меня забавными историями из своего детства. Когда умер его отец Михаил Трофимович, родная тетка отвела девятилетнего Ваню к дальнему родственнику, богатому сухиничскому купцу, и пристроила *мальчиком* в его магазине. В обеденный перерыв, когда приказчики пили чай вместе с купцом, Ваня подметал пол в магазине. И вдруг в уголке обнаружил золотые три рубля. Он удивился, поднял их, рассмотрел и сразу же отнес купцу. Тот посмотрел на Ваню пристально, улыбнулся, при этом, как рассказывал отец, приказчики почему-то странно щерились. Купец погладил его по головке, сказал:

— Молодец, Ванятка, будешь у нас работать.

Как потом выяснилось, это была своеобразная проверка на вшивость.

Я все больше влюблялся в отца. Возвращаясь домой, я был охвачен этим сладостным чувством, перебирая все мельчайшие подробности этой первой встречи, и вдруг сообразил: подаренной роскошной швейцарской папки со мной нет! И легко простил моему дорогому отцу пустячную забывчивость.

Позже мы встречались с ним довольно регулярно, я привозил к нему своих детей. И Любовь Васильевна, и отец принимали их чрезвычайно радушно, поскольку своих детей у них по каким-то причинам не было.

Отец не пропускал ни одного нашего посещения, чтобы сфотографироваться и организовать концерт. После застолья он объявлял:

— А теперь — музыкальный момент.

Каждый брал инструмент по вкусу, их в доме было великое множество, и среди них — роскошная цыганская гитара с двумя грифами. Видать, не просто так она ему досталась, но об этой поре жизни он никогда не рассказывал. Играли что-нибудь простенькое и популярное. Чудные времена...

Как-то я позвонил ему из Новосибирска, чтобы поздравить с восьмидесятилетием. Неожиданно он спросил:

— Как настраивается банджо?

— Зачем тебе?

— Понимаешь, купил себе банджо в подарок, надо настроить.

Таким неумным был мой отец... При этом он был прекрасным рассказчиком — например, историю со Сталиным я помню в мельчайших подробностях.

После успешного своего доклада на XVI съезде отец так осмелел, что решил приблизиться к дорогому вождю на расстояние, позволявшее рассмотреть Иосифа Виссарионовича внимательней.

Обедать делегаты ходили пешком от Большого театра до Кремля, где их кормили в столовой. Путь невелик. Сталин ходил со всеми. Обычно его окружала толпа участников. Двадцатисемилетний рабочий Иван Кручинин плечиком, полегонечку-потихонечку принялся отодвигать делегатов и пробираться к вождю. Оставалось отодвинуть еще одного дюжего молодца, как Сталин его заметил, поманил пальцем и негромко, с характерным акцентом сказал:

— Молодец, Ваня, правильный курс держишь!

С этого самого момента жизнь простого рабочего-электрика резко изменилась — он круто пошел вверх по служебной лестнице. Довольно регулярно его куда-то выдвигали и передвигали, пока он не оказался в управлении железной дорогой. Вот тут-то на его карьере легла тень дружбы с семейством Любви Васильевны. До революции ее отец был управляющим у известного купца, московского булочника Филиппова, а после революции превратился в обыкновенного работника советской торговли, но к сороковым годам пробился до должности директора небольшой булочной, что стояла на углу Бульварного кольца и Кропоткинской улицы. В каких-то бумагах, видать, он все еще проходил как бывший эксплуататор.

1938 год. Однажды утром отец пришел на работу и, не доходя до своего кабинета, встретил в коридоре взволнованную секретаршу.

— Что случилось?

— Иван Михайлович, — шепотом ответила она, — вы в списках.

Что означало это в те времена, объяснять никому не нужно было. Отец тут же забрал все свои документы и, никому не сказав, уехал. В следующем году он уже не смог бы так поступить: людей безоговорочно прикрепили к их учреждениям. В тот год он и женился на моей матери, отыскал новую работу — по Москве было много знакомых — и, по существу, переселился в Ивантеевку. В конце 1939 года родился я. Принимала роды и завязывала мне пупок моя двоюродная бабушка Лиза. Делала это она с большой сноровкой. Я горжусь своим пупком! Не скромно, считаете?.. А если его завязывала единокровная бабушка — серебряная медалистка Императорских курсов повивальных бабок?! То-то!

Вероятно, рано или поздно мы бы переселились в московскую комнату отца с уже известной лоджией, распаханной на пол-Москвы, но случилась некая драма... Анатолий разоткровенничался о ней, когда мне было лет восемнадцать.

Верочка Решетина, дочь тети Лиды, приехала из столицы совершенно взбаламученной. И почти с порога принялась возбужденно рассказывать, как с подружкой, погуляв по Москве, зашли к дяде Ване передохнуть да попить чайку. Тогда дорога до Ивантеевки была долгой и трудной: сперва на электричке до Болшево, потом подождать неизвестно сколько, только тогда на «кукушке» до дому.

Звонок старинный, механический, еле брякает. Открыл сосед, на пороге — смущенный Иван Михайлович, а за спиной — странно одетая дама... как ее там... Любовь Васильевна.

Мама как стояла у моей кровати, так и села. Все подавленно молчали. Наконец мать поднялась, сказала решительно и твердо:

— Больше не муж мне Иван. На порог не пущу, прощения не будет!

Отец слал матери покаянные письма — начало одного я случайно прочитал, и мне было мутно; отправлял друзей-переговорщиков, пытался угова-

ривать через теток, но мать была непреклонна. Я всячески избегал разговоров на эту тему — и мать, и отец мне были дороги.

В связи с этим вспоминаю свою детскую смешную проблему: сознавая, что, став взрослым, придется непременно жениться, как мне преодолеть стыд обязательного объяснения в любви и первого поцелуя? Ужасно мучился. Слава богу, все это в далеком прошлом.

Тут я расскажу другую отцовскую историю.

22 июня Молотов объявил о начале войны, вскоре ее стали называть Великой Отечественной. Романтичный и патриотично настроенный, мой отец решил, что ему крупно повезло: во-первых, он избавлялся от опасности ареста, хотя никакой вины за собой не чувствовал; во-вторых, должны решиться его семейные проблемы — он был уверен, что вернется героем; в-третьих, у него было желание стать этим героем. Приблизительно так он мне объяснял свое решение пойти на фронт.

— Два года довольно успешно воевал, командуя пулеметной ротой, даже не получил ни одной царапины, и тут битва за Днепр... Холодный сентябрь сорок третьего. Немцы со своих понтонов лезут на берег; всю мою роту переколошматили, кто ранен, кто убит, кругом ад кромешный; я хватаю на руки пулемет — с берега закрывали меня кусты — и давай палить по понтонам!..

Конечно, пулемет штука тяжелая, думал я, но отец был не хлипким парнем — рассказывал, что в семье сильнее его был только старший брат Сергей, погибший в Первую мировую, тот подковы гнул и ломал, в честь него отец и назвал меня Сергеем, а не Германом, как хотела бабушка. Перед войной так назвать мальчика — хуже и не придумаешь! В общем, схватил он пулемет, начал палить — и тут недалеко рванула мина, отца засыпало землей, контузило, он потерял сознание. Долго пролежал в госпитале, почти оглохший, затем его санитарным эшелоном переправили в Омск. Здесь его навестила Любовь Васильевна. Вскоре комиссованный, он с трудом добрался до Москвы и стал жить с Любой, Любовью Васильевной.

Орден Красной Звезды и медаль «За отвагу» он получил позже, в военкомате. Так разрешились его семейные и прочие проблемы.

## Глава девятая. Толюшка, полуторный брат мой

Люди моего поколения хорошо помнят эпизоды беззастенчивого кромсания отечественной истории. Не стану рассказывать о криминальном, напомним лишь о смешном, но не менее циничном.

Кадры хроники: 1961 год; вернувшись из космоса, Гагарин идет по ковровой дорожке в объятия улыбающегося блиннолицего Хрущева. 1966 год, та же дорожка, тот же Гагарин, тот же развязавшийся шнурок на его ботинке — объятия другие: на месте Хрущева — чернобровый Брежнев, новый генсек компартии СССР, дорогого Никиты Сергеевича как не бывало — беспамятные льстецы вырезали отовсюду.

Однако вернемся к страстям семейного быта.

Овальный фрагмент пожелтевшей фотографии диаметром чуть больше куриного яйца, не слишком аккуратно вырезанный из общей фотографии. На скамейке у деревенского дома запечатлена Нионила — вдова Васи Костина, рядом с ней мальчик лет пяти-шести, их сын Анатолий, Толюшка, как его с нежностью и сочувствием звали в нашей семье. Лицо Нионилы на фото несколько исцарапано. Кому и зачем понадобилось вырезать овальный фрагмент из общей карточки? Кто исцарапал лицо Нионилы? Я пытаюсь отыскать следы других людей, запечатленных на общей фотографии. Наверное, мне не хватает криминалистических способностей, чтобы их найти, а может, их вообще не было...

Известно, что у Толюшки в то время появился отчим — Глеб Дружинин, сосед через улицу, наследник когда-то богатой, зажиточной семьи. Об этом

Анатолий никогда и ничего мне не рассказывал — уверен, переживая из-за этого.

*Полуторным* братом я его называл потому, что родство наше было двойным: его мать и мой отец были родными братом и сестрой — Кручинины. А моя мать и его отец — тоже родные брат с сестрой, Костины. Вот и получается, что родными нельзя назвать, но и не двоюродные — выходит, полуторные.

В детстве мне часто ставили Толюшку в пример. Рассказывали, как рано он научился читать, причем самым нелепым и смешным образом: кого-то из старших детей учили читать, а любопытствующий Толя сидел напротив и видел букварь вверх ногами — так и научился читать справа налево и вверх ногами. Так он прочитал сказки Пушкина и приступил к подшивке журнала «Садоводство», оставшегося еще от деда, Ивана Семеновича. Так бы и читал, не заметь это бабушка, попросившая отыскать статью о замачивании яблок.

К этому времени у Нионилы начали проявляться признаки чахотки. Толюшку родные тетки забрали в Ивanteeвку, Надю назначили опекушкой.

Весь первый день в Ивanteeвке Толюшка простоял у электрического выключателя, пораженный и очарованный, бесконечно включая и выключая свет, как рассказывала Надя.

— Отойдет на секунду к раковине, откроет кран, закроет — и опять к выключателю. Не могли покормить и уложить спать, до того поразило его живое электричество.

Всех удивило его умение читать, писать и считать, поэтому решением директора школы Толю поместили сразу во второй класс. Учился он прекрасно, шел к золотой медали, но перед окончанием десятого класса в 1940 году случился казус. Было задано сочинение на тему «Кем я хочу быть?». Анатолий уже знал, что будет поступать в Академию имени Тимирязева, но ради фантазии и безвинного озорства наваял, что хочет быть пастухом в деревне, и описал все прелести этой благородной и нужной профессии: зори и закаты, дудочку и кнут, запах парного молока и российские просторы.

На следующий же день к директору школы была вызвана как опекушка Надя, а с ней на всякий случай пошла и Таня. Оказалось, что Анатолия уже вызывали и беседовали с ним строго. Директор стал пенять Наде на плохое воспитание подопечного, что Анатолий не понимает политического момента, затраченные на его образование государственные деньги он готов пустить на ветер, избрав себе профессию пастуха.

Таня с Надей убеждали директора, что сочинение Толи является всего лишь невинной фантазией, детской памятью, поскольку ранние годы его прошли в деревне, что он не собирается стать пастухом, а намерен учиться в Тимирязевке на агронома, а может, и ученого. Но директор был непреклонен — и потребовал переписывания сочинения. Не знаю, было ли это сделано, но аттестат зрелости и золотую медаль он получил.

С братом мы стали общаться особенно активно, когда он обосновался в нашей квартире в Ивanteeвке, чтобы писать диссертацию. Привез микроскоп, люксметр и еще какие-то приборы с пробирками, что чрезвычайно восхищало и занимало меня. Я почти не отходил от него.

Ровно в девять часов он садился к столу, чтобы писать диссертацию, я усаживался напротив учить уроки. Меня удивлял метод его работы. Он ничего не зачеркивал и не переписывал, просто перекладывал из одной стопки в другую листы, только что заполненные ровным круглым почерком.

Ровно через час он останавливался и закуривал «Беломор». Запах дыма мне нравился, но особенно я ценил этот момент, поскольку мог успеть задать один или два вопроса, на которые он всегда отвечал просто и исчерпывающе.

Где-то около двенадцати наступал большой перерыв. Толя включал свой приемник, привезенный из общезнания академии, и мы слушали либо оперетты, либо другие музыкальные передачи. Эта привычка потом у меня долго сохранялась.

Через некоторое время Анатолий привез из Москвы машинописный текст на стандартных ватманских листах и начал на них цветной тушью чертить графики. Вот тут своему брату я очень пригодился, поскольку освоил чертежный почерк и заполнял все подписи под графиками сначала карандашом, а потом черной тушью. Карандаш затем снимался корочкой сухой белой булки, а тушь — лезвием бритвы. Так я заполнил все четыре экземпляра диссертации.

Увлеченный оформлением Толюшкиной научной работы, в школе я впался в историю, подлинный смысл которой тогда не смог осознать.

Начну издалека... Толиной диссертацией руководил академик Якушкин, правая рука своеобразно знаменитого Трофима Денисовича Лысенко — академика, любимца Сталина и, позже, Хрущева. И тому, и другому он клятвенно обещал в скором времени засыпать СССР по уши пшеницей — дайте только срок. Метод был удивительно прост: перевоспитать плодородную яровую в озимую, путем селекции вывести зимостойчивый образец яровой пшеницы. И ему верили и ждали скорого всесоюзного изобилия и благолепия. Анатолий занимался лишь частной проблемой этого «великого научного подвига», чем-то вроде влияния освещенности на вегетацию пшеницы, обозначенной особым кодом.

Так вот... В школе, это был пятый класс, мы как раз проходили ботанику. И учительница, выпускница Московского университета, рассказывала нам о принципиальной разнице яровой и озимой пшеницы и о том, что никоим образом невозможно одну превратить в другую.

Я поднял руку, и Зинаида Сергеевна, всегда в своем аккуратном бежевом костюме с белым кружевным воротничком, позволила мне встать и задать свой вопрос. В школе ее любили.

— Мой брат, — со скромной гордостью сказал я, — на эту тему пишет диссертацию — и считает это возможным.

Класс вмиг затаил дыхание и будто приник к переднему краю науки. «Мой брат» и «диссертация» произвели большое впечатление. Побледневшая от гнева Зинаида сделала паузу и ответила:

— Твой брат только пишет диссертацию, а учебник составляли известные академики. Садись.

С тех пор за свои ответы я стал получать только двойки — и тройки, когда уж очень сильно старался. К концу года становилось все более ясно, что меня не могут перевести в следующий шестой класс — в финале маячила двойка. Не знаю, как разворачивалась ситуация, но мать пошла к директору, ничего мне не сказав. То ли ее вызвали, то ли она сама догадалась о том, что меня ждет, но в дневнике моем за год была выставлена тройка. Она и попала в аттестат зрелости в графе «ботаника» — единственная среди четверок и пятерок. Об этой истории мать мне ничего не рассказала, но много времени спустя о баталии в кабинете директора поведала тетя Надя, а мой дорогой брат Толюшка об этом так и не услышал — его благородно решили оставить в неведении.

К седьмому классу я озадачился грандиозной мыслью — освоить самые гениальные образцы мировой литературы. Для этого нужен был план, и я обратился к Толюшке.

— Начни с Шекспира, — сказал он, — на другие имена выведут любознательность и твой характер.

В школьной библиотеке я взял два огромных, в черных крепких обложках, тома переводов Лозинского. С этого момента жизнь вокруг я начал наблюдать сквозь очки, подаренные мне самим Шекспиром, даже семейную жизнь моего любимого брата Анатолия Васильевича Костина.

Жену брата звали Рая. Отсылки к слову «рай» были в постоянном обращении, когда Анатолий заговаривал с ней. Была у них такая игра: Раешник, Райчонок, Скворечник...

Рая была белокурой, с коротким точеным носом и фигурой писаной кравицы. Но особым ее достоинством были волосы: огромная коса ниже колен,

которую она оборачивала вокруг головы, как корону. На это уходило воскресное утро и часть дня. Обычно она приезжала к нам в субботу вечером и уезжала в воскресенье вечером. Поэтому в нашей семье появилось понятие «второй завтрак» по воскресным дням. Иногда Толюшка и Раечка представлялись мне подлинными Ромео и Джульеттой, но когда она начинала щебетать о ком-то в метро, разглядывавшем ее с восхищением, или о комплиментах мужчин на кафедре, я с болью наблюдал, как у Толюшки бьется жилка на покато лбу, как топорщится шапка его вьющихся колючих волос. Я сочувствовал брату и ненавидел Райку, приравнивая ее сразу ко всем злодейкам Шекспира.

Когда она уезжала, Толя брал гитару, оставшуюся от его отца Василия Ивановича, старую, битую, но звучную, и пел жестокие романсы и веселые беззаботные песенки из оперетт, которые мы с ним слушали по приемнику.

Если отвлечься от Шекспира, от семейных переживаний Анатолия и любимой мною Райки и повернуться к музыке, которая стала моей профессией на всю жизнь, то можно вспомнить, что Толюшка постоянно обращал мое внимание на известных композиторов и различные музыкальные жанры. Хотя сам он был любителем, но многие произведения знал почти наизусть: свободно мог напеть мелодию любого из них. Именно Толюшка натолкнул меня на мысль освоить какой-нибудь инструмент.

Надя откуда-то добыла трехструнную домру и самоучитель. Толя говорил:

— Вот научишься на домре, освоишь лады, образуеться в нотной грамоте, тогда можно и на скрипке учиться. Скрипка — царица музыки! — вещал он. — Одним словом, *виолينو*, слышишь?.. Это по-итальянски. Звучит?!

Всеобщим семейным триумфом стала защита Толюшкиной диссертации. Из деревни приехал даже дядя Ваня в новом синем костюме, с неизменной, почти академической тростью. Костюм справили специально для такого случая, сдав в кооперацию флягу меда, сотню яиц и много молока с четырехпроцентной жирностью, еще и заплатив какие-то деньги.

На защиту отправились все наши женщины во главе с Иваном Тимофеевичем. Я не пошел, остался в комнате общежития — боялся, что буду волноваться, когда Толюшка начнет свой доклад. Долго сидел, слушал музыку, пока, наконец, не вернулись все, радостные и возбужденные, и Райка с цветами. Я успокоился и лег спать, а родня еще долго шумела, обсуждая непонятные мне детали. Но все это я слышал сквозь сон, в котором Толюшка являлся в образе мавра-победителя, дарящего мне монету с гербом на обеих сторонах. «Играй в орлянку», — говорил он, рыча. Смысл этого видения я не расшифровал до сих пор.

Вскоре Анатолия пригласили возглавить научно-опытное хозяйство в Калистове, в сорока километрах от Москвы, выделили небольшой, но уютный домик с просторной верандой и красивый сад с фруктовыми деревьями и чудесными плодородными ягодниками. В общем, райское место! Красавица Рая же туда не захотела переселяться — ее притягивала Москва. С субботы на воскресенье она приезжала к Толюшке, собирала гигантский сизый крыжовник и душистую сладкую малину, забирала часть зарплаты и вечерней электричкой укатывала в шумливую, разноликую, радостную столицу.

Понемногу Анатолий начал пить. Приезжая к нам, он усаживался за переводы сельскохозяйственных статей, которые печатали в различных журналах. Рядом всегда стояла бутылка вина; постепенно его лицо краснело. Когда бутылка заканчивалась, он прекращал работу и тихо ложился спать.

Однажды, занимаясь на скрипке в другой комнате, я услышал истерический крик Нади, бросился туда и увидел Надю в полуобморочном состоянии, опустошенную винную бутылку на столе и Толюшку, пьяно требующего пропустить его в магазин.

Я подскочил к брату и со всего маху ударил его кулаком в лицо. Он осел на кровать, из носа темной струйкой потекла кровь, в воздухе повисла ужасная пауза.

Резко в комнату вошла мать и, окинув всех властным строгим взглядом, приказала Анатолию:

— Ложись! — и подала полотенце. Из буфета достала пузырек с нашатырем, намочила платок и поднесла Наде. Мне тихо сказала: — Иди, учи уроки.

Она увела Надю на кухню. Ключ от входной двери положила себе в карман.

Жизнь Толюшки шла по наклонной. С Райкой они расстались. Через некоторое время он женился во второй раз на скромной женщине из Калистово. Звали ее Наташа. Было у нее двое детей от первого мужа. Анатолий старался им быть отцом, хорошим отцом. Но, видимо, заноза с именем Рая, Раечка, Раюнчик сидела в нем до конца его дней.

## Глава десятая. *Violino*

В Мосторге пальто из бобрика не оказалось. То, что там было, матери не нравилось. Она долго о чем-то разговаривала с продавцом. Потом поехали еще куда-то, еще и еще... В одном из магазинов даже нашли «бобрик», но дорого и «не на вырост», как сказал продавец. И мать повторила огорченно: «Не на вырост». Поехали обратно в Мосторг, но каким-то кружным путем, на трамвае.

Солнце уже начало краснеть, перевалив далеко за полдень. По Москве бежали грязные ручьи, город шагал в весну. От трамвайной остановки до Мосторга пришлось еще долго идти пешком, и в галоши набиралась сырость. Проходя серый невысокий особняк за забором, мать указала на него глазами и, наклонившись к моему уху, сказала:

— Запомни.

У меня чуть не вырвался вопрос: «Что это?» — но я сдержался, увидев расширившиеся глаза матери, руководимый каким-то звериным чутьем опасности.

Когда отошли далеко, мать прошептала:

— Это дом Берии.

Берию разоблачили уже года полтора назад, но злобная тень лысого человека в блестящем золотом пенсне еще долго бродила в людской памяти, то пугая, то вырываясь частушкой: «Берия, Берия вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков».

— И про Сталина — все правда?

— Не знаю, — горестным шепотом ответила мама.

Портреты Сталина хоть и были убраны с видных мест в нашей квартире, но так же, как и затушеванные бледно-красным карандашом и хорошо узнаваемые портреты старых большевиков в календаре 1932 года, были спрятаны в книжном шкафу под кипой технических атласов, чертежей ткацких станков, которые мать хранила еще со времени своей учебы.

Почему-то эта пустынная улица, со старинными уютными особняками за высокими каменными заборами и витыми чугунными воротами, рядом с которыми стояли милицейские будки, показалась мне пронзительно знакомой. Точно! Это посольства разных стран. Мы шли по ней с Толюшкой почти два года назад, 7 марта 1953 года, он еще по памяти называл страны, не глядя на гербы и бронзовые таблички.

Во всех газетах тех мартовских дней печатались портреты Иосифа Виссарионовича Сталина в черных рамках и снимки плачущих людей. Тугая очередь, как траурная лента, огибала гроб, вознесенный пеной живых цветов. Везде проходили траурные митинги. В школе все классы первой смены выстроили в линейку, и завуч держала речь. Девчонки плакали, у ребят наворачивались слезы. И вдруг завуч завела белки глаз и начала валиться, ее еле успели подхватить стоявшие рядом учительницы, проводили в ближайший класс, забегали по школе в поисках нашатыря и каких-то лекарств. Растерянные школьники продолжали стоять больше часа, пока их не догадались распу-



стить. Несколько дней не учились и в глубине души радовались, но тревожная мысль преследовала каждого: что же будет дальше, как будем жить без вождя и гениального учителя, разве можно кем-нибудь его заменить?

На следующий день, именно седьмого марта, утром Толюшка решил ехать в Москву прощаться со Сталиным.

— Возьми меня, — просил я.

Тетушки возражали, а мать рано ушла на фабрику: продолжались траурные митинги.

— Молодому человеку полезно, даже необходимо быть внутри исторических событий, а не стоять в стороне, — веско сказал Анатолий.

Эта фраза все решила. Тетушки только горестно вздохнули.

Приехав на электричке в Москву, мы обнаружили, что общественный транспорт не работает. Кругом — толпы народа, некоторые улицы перегорожены шеренгами милиции, солдат и курсантов, грузовиками и танками.

Потоптавшись у Ярославского вокзала, решили пробираться к улице Горького или Пушкинской, отсюда два шага до входа в Колонный зал Дома Союзов, где стоял гроб с телом Сталина. Толюшка хорошо знал все проходы от Комсомольской площади. Миновав Савеловский вокзал, пронырнули через Большое Садовое кольцо, по которому гремела военная техника, и какими-то переулками вышли на Кировскую, к зданию, составленному из громадных серых кубов с широкими и мутными лентами окон, расположенных без видимой симметрии, но в какой-то удивительной гармонии. Оно произвело большое впечатление на меня. Никогда я не видел такой мрачно-величественной архитектуры.

— Корбюзе! — в голосе Анатолия звучала гордость.

— Что? — переспросил я.

— Французский архитектор-модернист Корбюзе, двадцатые годы.

— А-а! — протянул я. — Куда мы теперь?

Кировская была перегорожена грузовиками с милицией. Анатолий указал на какой-то деревянный забор за зданием Корбюзе, где уже кучковались ребята чуть постарше меня.

— Эй, мужик, — парень смотрел на Анатолия, — ты нас подсади, а потом мы вас вытянем. Там по трубам отопления, потом по дворам — и, считай, на месте.

Ребята не обманули. По толстым двойным трубам, цепляясь руками и рискуя свалиться в какую-то вонючую клоаку, мы добрались до чердака соседнего дома, и дальше — через чердаки и дворы. Улица Горького в районе Главтелеграфа была перекрыта танками, за ними вплотную стояли грузовики. Еще метров через десять улицу перегораживал плотный ряд милиционеров, державшихся за руки. Ряд чуть шевелился, походя на толстую живую ленту, перекинутую через серую асфальтовую реку. Лента жила своей жизнью и волновалась под действием весеннего ветра. Метров через десять за милицией стояли курсанты. Их ряд был сильно разрежен. Между курсантами было метра по три. За спиной крайнего милиционера я заметил открывшуюся дверь подъезда, из которого вышли два парня — маленький и побольше, с хозяйственной сумкой, и отправились по тротуару в нашу сторону. Они миновали милицию, грузовики, танки и пошли куда-то вверх по улице.

— Наверное, они живут в этом доме, — шепотом сказал я брату. Толюшка согласно кивнул.

— Скажем, — зашептал я, — что живем в этом подъезде, пройдем милицию и быстро побежим мимо курсантов, они вон как редко стоят, как-нибудь проскочим.

— Попробуем, — согласился Анатолий, — только зайдем в подъезд, выйдем удобный момент и по моей команде побежим разом.

Мы подошли к милиционеру, стоящему у самой стены дома.

— Куда? — грозно спросил тот.

— Мы здесь живем, — ответил я.

— В какой квартире? — милиционер посмотрел на нас с сомнением.

— В девятнадцатой, на третьем этаже, — уверенно сказал Анатолий.

— Идите... — нехотя посторонился милиционер.

Зайдя в подъезд, прильнули к щели. Наконец, двое курсантов заговорились между собой и невольно сблизились.

— Бежим? — спросил я.

— Бежим! — скомандовал Толюшка, и мы, вырвавшись из подъезда, петляя, побежали через ряд курсантов.

Я бежал впереди. Курсант расставил руки, чтобы поймать меня, но я увернулся. Другой курсант уже бежал мне наперерез:

— Стой, паршивец!

Но я, вильнув, пробежал и мимо него; и все же парень успел подставить свою длинную ногу. Падая, я увидел позади себя бегущего Анатолия и приближающую толпу. Понял, что, увидев прорвавшихся братьев, толпа перескочила военную технику и, сметая уже расстроенную милицейскую ленту, помчалась по пути, проторенному нами.

Я начал подниматься, но кто-то из бегущих сбил меня, а уже следующий повис на моих плечах, увлекая на льдистый грязный асфальт. Темные фигуры проносились с обеих сторон: кто-то падал на меня, все сильнее припечатывая мое тело к грешной земле. Через валенки с галошами я чувствовал несильные удары ног спотыкающихся. Потом, когда уже стало трудно дышать от навалившихся людей, удары стали приходиться по голове — хорошо, что шапка была подвязана и не потерялась. Удары стали больней. Видимо, люди обгали эту кучу либо пытались перепрыгнуть, но им не удавалось перелететь весь этот шевелящийся и кричащий клубок темных тел.

Я увидел у своего носа раздавленные в песок очки Анатолия. У них смешно дергались дужки. Толюшка схватил меня под локоть и пытался выдернуть из плотной кучи тел.

— Помоги мне! — кричал он. Без очков глаза его были красными и беспомощными. — Толкайся ногами, выползай!

Мне невероятным усилием удалось выбратья — ни одной пуговицы на моем пальто не было. Под телами остались и рукавицы.

Анатолий вывел меня на тротуар.

— Все, попрощались, пойдем покупать очки.

А кругом еще бежали люди, солдаты и милиция растаскивали живые кучи кричащих и стонущих, матерясь и выбрасывая шапки на тротуар.

В начале марта в Москве темнеть начинает рано. Был момент, когда уже начинало смеркаться, но еще не зажигали фонари. Становилось холодно. В городе было много грязного снега, лежавшего подтаявшими кучками в дальних углах дворов и даже у тротуаров. Кучи ершились щепками, битым стеклом и какой-то дрянью.

Я весело пересказывал брату, как за мною погнался курсант, как подставил ногу, и я, не удержавшись, упал, как спотыкались и наваливались бегущие. Мне казалось, что я немного отвлекаю брата от мысли о раздавленных очках и необходимости покупать новые.

Анатолий шел молча, бледный, с трудом различая путь подслеповатыми глазами. Сжимая желваки, пробормотал:

— Будет случай, почитай «Клима Самгина» Горького. Такое уже было в Москве.

Проходя какой-то солидный дом, я увидел немногочисленную группу людей: из подъезда выносили крышку гроба.

— Смотри-ка, — остановил я брата, — кого-то хоронят. Разве это можно в такой день?

— Умирать всегда можно... и хоронить тоже. Рождаются и умирают все одинаково.

Присмотревшись, он спросил негромко:

— Кого хоронят?

Ему ответили в тон:

— Композитора Прокофьева.

— Про кого? — ничего не понимая, спросил я.

— Пойдем, пойдем, расскажу.

У Толюшки возник странный блеск в глазах, он обернулся и произнес неслышимое. Я заметил — брат волнуется. Немного отойдя, он начал говорить вполголоса:

— Помнишь «Петю и волка», музыку к балету «Ромео и Джульетта» по радио? Это композитор Сергей Прокофьев... а ты, да еще громко, «про кого?»...

Завернув на какую-то незнакомую и красивую улицу, растянувшуюся дугой, мы зашли в магазин «Оптика»...

Сейчас, идя с матерью по плавно заворачивающейся улице со старинными особняками, казавшейся мне удивительно знакомой, я пытался понять, в какой же стороне та «Оптика», где мы купили очки для Толюшки. Прошли площадь и уперлись в улицу Неглинную.

— Пройдем до конца и отдохнем, — сказала мать. — Устала. Там есть туалет — тебе хочется?

— Мам, — позвал я, — смотри-ка, на углу музыкальный магазин, давай зайдём, я никогда не был, интересно... давай зайдём! А, мам!

— Ой, Сергуня, да я уж устала, а там ступеньки.

— На мину-точку... тебе тоже будет интересно!

Мать, поддавшись напору, пошла: ей и в самом деле было любопытно. Однажды она была в магазине роялей и простояла там целый час, любуясь лаковыми красавцами разных размеров и фирм. Крышки у всех инструментов были подняты, и рояли, как однокрылые птицы, никак не могли оторваться от земли. Между ними ходил человек в синем халате и демонстрировал даме в мехах, сопровождаемой лощеным военным, возможности каждого инструмента. Мать вспомнила, как он важно произносил: «Кабинетный Блютнер!» — и играл, не присаживаясь, а слегка наклонившись, что-то очень красивое, что заполняло все пространство магазина, и от чего невозможно было оторваться.

В витрине магазина «Музыкальные инструменты» стоял большой барабан с медной тарелкой на вершине и свешивающейся, как большая серьга, колотушкой. Вокруг, как лучи, расположились сияющие трубы. Было ощущение праздничного аккорда, искрящегося и восторженного — как у Дунаевского.

Я быстро взбежал по истертым деревянным ступеням и открыл дверь.

На стене висело огромное количество скрипок, виолончелей и гитар. Я в восторге обернулся к матери.

— Violino, целый оркестр.

Продавец с одутловатым лицом в синем халате подчеркнуто вежливо обратился к матери:

— Что вам угодно?

— Посмотреть! — выпалил я.

Мать, не выказав смущения, стала расспрашивать продавца, какая скрипка требуется этому молодому человеку. Она так и говорила — «молодому человеку», с улыбкой глядя то на меня, то на продавца.

Выяснилось, что скрипка требуется *целая*, в том смысле, что четыре четверти, взростая, — несколько витиевато отвечал продавец.

— Имеется и смычок, и канифоль, и самоучитель — весь набор, — выжидающе наклонив голову, добавил он.

— Сколько же это стоит? — уже не контролируя себя и готовый от суммы, которую сейчас назовет продавец, закрыть глаза и тут же провалиться сквозь землю, спросил я.

— Не забегай, — твердо сказала мать, и заметно было, как она задержала дыхание.

— Всего — сто пятьдесят, — не моргнув глазом, ответил одутловатый продавец с вежливым полупоклоном, и неморгающие глаза остановились на матери.

— А как же пальто? — дрогнувшим голосом спросила мать, ища у меня поддержки и судорожно что-то подсчитывая в уме.

— Да я еще сезон прохожу, — сжавшись и не веря себе, ответил я.

— Ну... — мать словно запнулась, — выберите, пожалуйста, получше! — решительно закончила она.

— Как себе, — с готовностью ответил продавец и сдернул со стены скрипку. — Самая лучшая, самая красивая из партии, которую просматривал сам Яровой. — Он повертел скрипку перед глазами, любуясь ею, и начал заворачивать в жесткую черную бумагу: отдельно скрипку, отдельно смычок. Самоучитель и канифоль мать уложила в сумку.

— Яровой! — повторила мать после некоторой паузы.

— Яровой сейчас в Москве самый модный мастер, директор фабрики музыкальных инструментов...

Пока ехали в электричке, я, не выпуская свертков со скрипкой и смычком из рук, прочитал почти весь самоучитель, но не мог понять, как правильно держать смычок, куда ставить большой палец — на колодочку или на трость. Рисунок был плохо пропечатанным. Совершенно не было в самоучителе описания вибрации, которую я подсмотрел у скрипачей в театре. Во всех антрактах я торчал у оркестровой ямы и, хотя было неудобно, будто невзначай бросал быстрые взгляды на разыгрывающихся или просматривающих ноты скрипачей и виолончелистов. Меня удивляли равномерные колебания кисти руки с прижатыми к грифу пальцами. Это движение я пытался повторить на домре, но оно никак не получалось, такое эластичное, ровное и достаточно быстрое, отчего из-под смычка выходил необыкновенно волнующий живой звук. И большой палец на смычке так был скрыт другими четырьмя, положенными на трость, что, как ни старался, то отходя, то чуть пригибаясь, разобрать не мог, потому держал большой палец на карандаше каждый день по-разному, искал удобного положения. Оркестровые музыканты при этом гледили на меня вопросительно; я, смущаясь, заливался горячей краской и, не решаясь заговорить, быстро уходил, чувствуя себя провинциальным увальнем.

Сейчас я держал свою драгоценность, violino, на коленях, осторожно, через хрустящую жесткую бумагу прощупывал ее формы — и не мог дождаться приезда домой, когда разверну скрипку, натру смычок канифолью, и божественные сладостные звуки польются из-под смычка, заставляя окружающих плакать и смеяться, быть добрыми и прекрасными, любить всех на свете. Стесняясь себя, я подумал, что скрипка похожа на женскую фигуру, и представил ее, обнажающуюся от хрустящего черного покрова...

Дома мать пошла на кухню готовить ужин и оправдываться перед сестрами за покупку скрипки. Я слышал удивленные возгласы тетюшек, жалел мать и осторожно разворачивал скрипку, опасаясь поранить ее золотистый лак жесткой бумагой. От скрипки шел смешанный запах лака и дерева. Чем-то он отдаленно напоминал запах улья, который я ощутил в деревне, на родине матери и ее сестер. Сама скрипка представляла собой какое-то древнее и очень прочное сооружение, без гвоздей и шурупов — вообще без всякого металла. Жильные струны натягивались деревянными колками и подпирались изящной резной подставочкой; на верхней деке по обе стороны подставочки имелись резонаторные вырезы в форме латинской буквы «b» — эфы. Пожалуй, удивительным созданием фантазии и рук человеческих была скрипичная головка — вальжной крузиэны завиток раковины, такое чудо останавливало дыхание. Одна из струн немного обвисла, и я, ориентируясь на строй домры, подтянул ее, боясь порвать. Потом настроил другие струны, прикоснулся к ним — и струны за-

звенели. Я приложил ухо к нижней деке и слушал, как глубокий тембр, зародившись где-то внутри инструмента, долго звучал, почти не ослабевая. От верхней деки, через эфы, шел звук более открытый и интенсивный. Тогда я попробовал провести по струнам натянутым волосом смычка, но, кроме пустого неровного шелеста, никаких звуков не выходило. Я знал, что так и получится, но мне интересно было проверить — натерев смычок канифолью, я уже никогда в этом не смогу убедиться. Волос на смычке был черным, и я предполагал, что когда натру его канифолью, он изменит цвет на белый, поскольку ни разу в театре я не видел смычков с черным волосом. Начав тереть, понял, что этот фокус мне не удастся: волос только чуть-чуть посерел, даже лопнуло две волосины от излишнего старания, но волосная лента смычка не хотела белеть.

После каждого натирания я пробовал провести смычком по струнам, но выходили шепелявые рваные звуки, смычок затягивало то на гриф, то на подставку, отчего звук становился мало похожим на музыкальный. Я с досадой и нетерпением начал вчитываться в самоучитель. Казалось, я делаю все правильно, все так, как написано, но звук оставался карикатурным. Я попытался сыграть «Соловья» Алябьева, ставя пальцы приблизительно там, где располагались нужные лады на домре. Но на скрипке ладов не было, пальцы с трудом находили нужный тон, при этом лента смычка кончалась на самой середине звука, приходилось смычок вести в другую сторону, звуки извлекались трясуцимися и прерывистыми.

Мать, осторожно приоткрыв дверь, устало произнесла:

— Ну... теперь ты нас всех замучаешь... Иди поешь.

— Помучаю, помучаю, — радостно подтвердил я, — вот только не пойму, как держать на смычке большой палец: в тексте — одно, а на рисунке — другое.

— Большой палец держи вверх, как победитель, — засмеялась мать.

— Конечно, мам, лучше скрипка, чем плохое пальто, правда? Пальто все равно изнашивается, а скрипка — навсегда.

— Вот и я так всем нашим сказала. А завтра Толюшка на выходной придет — в две головы с одним пальцем как-нибудь управитесь. А пальто осенью купим, тогда оно будет нужнее и прослужит дольше.

Из своей комнаты вышла младшая из теток, Надя, та, что когда-то подавала домру.

— Ты бы, Сереж, похвастался своей скрипуньей.

Воссияв, я побежал в комнату за скрипкой и слышал голос старшей из тетушек, тети Мани:

— Иль ты не знаешь, Тань, как музыкант — так пьяница!

— Я не буду пить, — громко и твердо сказал я, — за меня выпили все, что надо и не надо, мои родственники.

— Дай-то бог, — со вздохом ответила тетя Маня, и все как-то разом замолчали — от тяжелых воспоминаний или от красоты и сияния форм драгоценной для души моей *violino*.

## Глава одиннадцатая. Что в имени твоём, Калуга?

Иной раз я сам себя чувствую говорящим скворцом: не понимаю, что говорю, но в результате получается нечто затейливое и осмысленное. Пусть эта бредовая мысль станет чем-то вроде эпитафии к новой главе.

Моя Калуга — летящая по ветру шляпа Гоголя; моя Калуга — остро-пряный вкус юношеской свободы; моя Калуга — возвышенность первой взрослой любви; моя Калуга — всеохватывающая музыка!

Как все это растолковать даже самому себе? Ведь это — всего лишь один ряд ассоциаций... Отчего я начал с белой пуховой шляпы Гоголя, летящей в лужу, а не с шинели, из которой вышла якобы вся русская литература, и не

со второго тома «Мертвых душ», писавшегося в Калуге и перед смертью сожженного им. Там же, в Калуге, он был прочитан жене губернатора Смирновой-Россет и ее брату Арнольди. Для меня до сих пор представляется курьезом то обстоятельство, что Гоголь в качестве интриги для Чичикова использовал обвинение губернатора в подделке завещания — и при этом читал текст его жене. Подобное можно объяснить только тем обстоятельством, что великий писатель не верил обвинителям калужского губернатора. Известно даже, что, совместно с писателем Толстым Алексеем Константиновичем, одним из авторов знаменитого «Козьмы Пруткова», Николай Васильевич рьяно защищал опороченного. Но это так — историческое отступление, вдруг пригодится...

И все-таки... летящая шляпа Гоголя и бегущий за нею нелепый господин с разметанной гривой волос, ловящий руками воздух, и лица лавочников с застывшими в удивлении кривыми улыбками, а среди них под рекламным кренделем булочной мой дальний родственник по линии Кобелевых, купец третьей гильдии, владелец лавки Александр Александрович Кобелев.

Об этой шляпе Гоголя я узнал в первый же день моего появления в Калуге, куда приехал поступать в музыкальное училище, поселившись в доме родственника, родного племянника моей бабушки Николая Ивановича Кобелева. До революции дядя Коля служил приказчиком в крупном мануфактурном магазине купца Ракова. Кстати, Николай, сын этого купца, впоследствии стал известным советским композитором. Дядя Коля в советское время командовал железнодорожным складом, где сильно промерзал, и даже дома не снимал кроличьей кацавейки, грея спину о кафедру голландской печи.

Когда-то в этом двухэтажном доме располагались кельи женского монастыря и опочивальня игуменьи — как раз в той комнате, где была устроена кафельная печь, дававшая тепло всей квартире. В тридцатые годы монахинь разогнали, а жилплощадь распределили между совслужащими. Из окна квартиры можно было видеть церковь с покосившимся ржавым куполом без креста. В огороженном дворике стояли рядами гипсовые скульптуры Ленина, с головой и без головы, фигуры пионеров с горнами и девушек с веслами, часто тоже без голов. Изготовление головы — особое искусство: не всякое туловище достойно головы, к тому же их можно менять согласно погоде на дворе. Я хочу сказать, что церковь перестроили под скульптурную фабрику. Где теперь витал монашеский дух, откуда возникла ехидно-носагая улыбка Гоголя, меня тогда еще не заботило. Тетя Юлия, жена дяди Коли, усердно и часто молилась у иконы Казанской Божьей Матери; Николай Иванович подтрунивал над женой, но утверждал, что вера в семейной жизни — вещь полезная.

То было давно, пятьдесят шесть лет назад. И сейчас я сижу в Новосибирске, в квартире на улице Гоголя, и мысленнозираю на Калугу моих сродников по крови: то глазами булочника Кобелева, то самого Гоголя, любившего в лодке переплывать Оку и любоваться старинным городом с того берега, от села Ромоданова. Калуга, как праздничный пирог на высоком холме, с горящими свечками золотых своих куполов и сорока восьми колоколен...

Отогреваясь у голландки, дядя Коля с удовольствием рассказывал мне о том, как бегали с братом Мишей к своему сродному деду, булочнику, кланить черные пряники. Старый Кобелев владел секретом изготовления черного теста. Тайна заключалась не столько в составе теста — черные сухари, мед, карамель и травы, сколько в его вымораживании. К этому священному процессу он никого не допускал, все делал сам. Калужские черные пряники славились не меньше вяземских. Даже царская семья их закупала. Даром пряники нам не давались, рассказывал дядя Коля, нужно было нарубить лед и принести несколько ведер опилок. Новой власти свой секрет булочник не пожелал передать — унес в могилу.

От моей головы до бронзовой головы Гоголя на гранитном цоколе всего триста метров, но каких! Я успел ее увидеть на Красном проспекте недалеко от перекрестка, пока в глазах моих окончательно не потемнело. Теперь в мозгу

чаще рождаются картины-фантазии и белая шляпа Гоголя, парящая над Калугой, будто мистическая тарелка — одна из этих фантазий.

Память ясно воспроизводит 4 ноября 1957 года: репродуктор на кухне каждые полчаса передает сигналы первого спутника Земли, запущенного в СССР. Дядя Коля взволнованно отбегал от голландки, взмахивал руками и вновь устремлялся к теплому кафелю. Вопросил у меня, семнадцатилетнего:

— Зачем искусственный спутник? Зачем такие траты? Какой прок в этой пищащей железке?

Я ссылаясь на Циолковского и бубнил о будущем человечества на других планетах.

— Эх, — ярился дядя Коля, — не понимаю! Вы разберитесь на Земле!

Отчего образ Гоголя так тревожит меня? То он запускает свою шляпу над Калугой, то своим птичьим носом лезет в мои воспоминания: знал я одного калужского скрипача с фамилией Россет. Его дочь, учившаяся со мной, намекала на их родство с Александрой Осиповной Смирновой-Россет — женой бывшего калужского губернатора. Порой моя знакомая напускала на себя столько странности и загадочности, что я переставал верить ее рассказам. Однако драгоценная скрипка Антонио Амати, на которой ее отец играл в маленьком ансамбле между киносеансами, развеивала все сомнения относительно принадлежности к известному роду. Скрипач неустанно искал самое безопасное место своей драгоценной красавице. Могли ведь нечаянно задеть и разбить, пока во время вынужденных антрактов он забивал козла в домино. И такое место было найдено — на струнах рояля. Было тщательно все промерено: даже если крышка рояля чудом сорвется со своей опоры и упадет, она никоим образом не коснется скрипки, даже самой высокой ее точки на резной подставке.

Какой фильм крутили в тот вечер, не помню. Я беззвучно, одними пальцами, просматривал партию второй скрипки. У окна за шторой кларнетист любезничал с пианисткой. Остальные резались в домино. Подходило время запускать публику на новый сеанс. Россет вознес руку с костяшкой, чтобы объявить «рыбу» и эффектно шлепнуть дублем о стол, но не успел. Раздался дикий грохот, загудели струны рояля. Все бросились к инструменту, бледный Россет так и не смог опустить руку, сидел, сжимая белыми пальцами костяшку домино. Осторожно подняли крышку рояля: трехсотлетняя скрипка от удара воздушной волны превратилась в пыль. Только жильные скрипичные струны продолжали подрагивать на стальных рояльных. Разве это не Гоголь с его мрачными фантазиями?..

Похоже, Николай Васильевич не отпустит меня, пока я не закончу главу.

К юбилею Гоголя, 150-летию, решили поставить любительский спектакль. Разумеется, «Ревизора». Исполнителя роли Хлестакова долго искать не пришлось: в училище появился молодой преподаватель, выпускник Московской консерватории, блестящий пианист, красавец — Виктор Деревянко. Был он человеком остроумным и артистичным, все решили — лучшего Хлестакова не найти. Мне поручили роль Земляники — попечителя богоугодных заведений. Что надоумило нашу режиссершу, яркую блондинку с неохватным бюстом и талией, прозванную Пушинкой, наградить меня этой серенькой ролью, не знаю, должно быть, провидение.

Кажется, все отрепетировано. Минут через тридцать — спектакль. Деревянко закрылся в классе, доучивает роль. Сережа Власов, студент-хоровик, бродит по сцене, ища интонацию с придыханием нашего директора училища; он — Городничий: то одергивает зеленый мундир, то закладывает пальцы за обшлаг — мысль творческая не останавливается. В зал пока никого не пускают.

Меня гримирует Наташа Гомберг — пианистка со второго курса. Натягивает на мои буйные кудри лысый парик, подклеивает седые бакенбарды, подкрашивает морщины. У нее такие черные бездонные глаза, обведенные

длинными ресницами! Я в них тону, забывая все на свете, включая роль. Наташа, улыбаясь, с огромным удовольствием обезображивает меня и низко клеит кустистые брови, делая мои глаза маленькими и почти незрячими.

— Поднимите мне веки! Пусть я не Вий, но могу хоть тебя видеть?

— Зачем? Я не панночка. Я — иудейка, — с непонятной мне гордостью сказала она.

— Сто процентов? — задал я дурацкий вопрос.

— Двести двадцать, как в розетке.

— Так ты опасна?!

— Пальцы не следует совать, можно и по сусалам получить, а можно и коленом, папа меня хорошо научил.

К сцене я отправился абсолютно влюбленным в эту странную девчонку в огромной шапке черных вьющихся волос. А она радовалась своему счастью художника, неожиданно сотворившего чудо.

— Настоящий Земляника! — произнесла она с восторгом.

«Негритосик», — про себя называл я Наташу с нежностью.

Действие пьесы проходило в тумане волнения.

— Как называется эта рыба? — чуть не падая с кресла от широкого и пьяного своего жеста, вопрошает Хлестаков.

Я выдвигаюсь вперед, чтобы с услужливым поклоном подсказать: «Лабардан-с». Я кланяюсь, словно в танце выдвигая локоть, и от волнения забываю это французское слово. Помню только Наташины черные глаза и шар вьющихся волос. Пауза затягивается, из-за кулис мне что-то шепчут, надо разгибаться, а слова нет. Делаю вид, что вступило в спину, хватаюсь рукой за бок, со стоном распрямляюсь, хрипло выдыхаю: «Треска-с, ваше сиятельство».

В зале смех. Понимают ли они, что я лишь ловко выкрутился? Треска и лабардан — названия одной и той же рыбы. За кулисами просто разрыдались от моей наглой находчивости. Первой меня поздравила Наташа, а Пушкинка сияла от счастья: спектакль удался — все играли, азартно импровизируя. Но Витя Деревянко был недосыгаем.

С тех пор, приходя в училище, первым делом я отыскивал среди студентов черный шар вьющихся волос и таинственными зигзагами пробирался к Наташе. В отличие от меня, закончившего перед музыкальным училищем десять классов, Наташа поступила после седьмого, поэтому ей приходилось проходить и все школьные предметы. Тут я был на высоте: писал для нее контрольные по математике, иногда сочинения по литературе. Мне это ничего не стоило, поскольку в двух последних классах я хорошо и старательно учился, собираясь поступать в архитектурный институт. Этого очень хотелось маме, я увлекся этой идеей, даже сдал свои рисунки на конкурс, предшествующий экзаменам, и они прошли. Оставался месяц до экзаменов, как вдруг из Калуги пришло письмо от моей троюродной сестры Ларисы Кобелевой, дочери дяди Коли. В письме лежала вырезка из газеты о приеме скрипачей в Калужское областное училище. Я так загорелся, что сломя голову помчался в Калугу и поступил, для чего занимался чуть ли не сутками.

Первые месяцы занятий были для меня ужасно тяжелыми. Гаммы и этюды, которые я не доиграл в музыкальной школе, слишком поздно начав, цедили из меня кровь. Это обстоятельство шлейфом прошло по всей моей музыкантской жизни. А вот сочинения для Наташи я писал легко и с удовольствием.

Я стою в фойе у выхода из класса, где пишется годовое сочинение. Время от времени выбегающие из класса торопливо сообщают: «Основная тема — Гоголь», — что хочешь, на собственный страх и риск.

Я уже набросал план на тему «Народность образа Бульбы» и отдельным пунктом включил отношения Тараса с Янкелем.

Наконец вышла Наташа.

— Ну? Какую тему ты выбрала? Мне кажется, лучше «Тараса Бульбы» ничего нет.



- Ни за что! — резко ответила она.
- Почему? — я был крайне удивлен.
- Мне папа, — она замялась, — советовал не читать эту повесть.
- Почему? — глупо повторил я, уже догадываясь.
- Потому! Раз ты читал, понимаешь. Вот будет мне лет восемнадцать,

прочитаю.

Я мысленно пролистал повесть — те места, где Гоголь описывает еврейский погром, где Янкель, спасенный Бульбой, не раз помогает Тарасу, то снабжая информацией об Андрее, предавшем веру и отечество, то выводя к плененному поляками Остапу. Правда, все далеко не бескорыстно... Может быть, в этот момент мне пришла в голову мысль, что в образе Янкеля исторической правды больше, чем в пафосно-романтическом Тарасе Бульбе.

— Может, взять тему второго тома «Мертвых душ»? Кстати, он писался в Калуге.

— Вера Израилевна не поверит, что я могу это знать.

— Я тебе быстренько расскажу, и ты будешь знать.

— О! Вейз мир! Он мне расскажет! — засмеялась она. — Через час я должна сдавать готовые три страницы. Знаешь, о чем я напишу? О чиновниках из «Ревизора», о Землянике с его пересушенной треской.

Я засмеялся:

— Давай набросаем план с пристрастием.

— Не план, а меню.

— Тебя, — поправил я.

Я начал быстро надиктовывать. Потом проверили ошибки, Наташа сунула листки под кофточку и убежала в класс.

В те времена в наше училище поступало довольно много евреев из Украины, Москвы и Подмоскovie. Это были вполне крепкие музыканты, не прошедшие конкурсы во Львове и Москве из-за пятой графы в паспорте. Из Ростова тянулся тонкий ручеек армян, возможно, по той же причине. Почему-то, при подавляющем большинстве русских, в этой национальной солянке преобладали тягучие иудейские интонации. Вероятно, хрущевская оттепель возродила еврейский анекдот с его пряными акцентами, попавшими в благодатную среду молодых музыкантов. Каждый день появлялись новые анекдоты, которые тут же пересказывались, совершенствуя вопросительный стиль общения одесских дворов. Я не избежал этой участи и даже жалел, что уродился не евреем. Когда приезжал домой на каникулы, то, чуть грассируя, деликатно, чтобы сильно не смущать, используя арсенал наработанных анекдотами языковых средств, поведал маме и тете Наде о веселой жизни в Калуге. Они смотрели на меня широко раскрытыми глазами, дивились чужеродности моего говора и понимающе молчали: пройдет, мол, со временем, экий ты смешной.

С момента написания сочинения мы почти не расставались с Наташей, разве что для занятий. Бродили по Калуге и ее окрестностям и говорили, говорили, говорили... Мы по несколько раз внимательно осмотрели все музеи, не пропускали концертов филармонии и театральных премьер. В то же самое время, не признаваясь друг другу, искали уединения, пустынных уголков.

Наташа жила на квартире с подругой у ужасно строгой хозяйки, не допускавшей никаких гостей. Я тогда с друзьями жил в холодном и сыром полуподвале, куда Наташу приглашать не решался. Помню, закончились дрова. Хозяйка отказалась нам помочь, сказала, что самой до весны не хватит. В гортопе нам тоже не дали — лимиты. Некоторое время мы обогревались электрическим уюгом, но долго так продолжаться не могло. Мы — я, Яшка Суббота и Юлик Лиховайдо — решили ехать в лес за дровами, у Яшки жил там сторожем при пионерском лагере родной брат. Высадившись из автобуса, мы добирались через снега, утопая в них выше колена. Выглядели мы весьма своеобразно: брюки дудочкой, пальтишко на рыбьем меху и набриолиненный кок на голове — стилиаги, жертвы моды.

К брату мы явились дрожаще-синими, с соплями по пояс и зубовным кланьем.

— Ой, миленькие, — всплеснула руками телесистая баба, жена брата, — скидайте усю амуницию и бросайте на печку! Берите там че найдете, облачайтесь в теплое — и за стол: кабы не заболели, буду кормить вас.

Пока переодевались в стеганные штаны и телогрейки, хозяйка успела порезать толстыми ломтями хлеб, бросить в миску соленых огурцов с рыжей веточкой укропа, наполнить тарелки дымящимися щами с торчащими кусками мяса и налить по полстакана водки. Водку я ни разу не пил, но коли приехал рубить лес, изволь, преодолей и это. Знал — чтобы не осрамиться, водку нельзя нюхать. Так с Юликом мы и сделали: зажали пальцами носы и не без опасения выпили. Яшка привычно опрокинул стакан, крикнул и захрустел огурцом, с ехидной усмешкой поглядывая на нас; я решил заесть горячими щами. После второй ложки от желудка во все стороны промерзшего организма стало разливаться такое волшебное бодрящее тепло, что я понял: водка — настоящий продукт, и я готов хоть сейчас вырубить половину леса. Однако ограничились пятью уже подготовленными бревнами: напилили, нарубили, уложили в поленницу. Через пару дней Яшкин брат привез нам поленья в огромных мешках на своем мотоцикле.

Подвал повеселел, но мы с Наташей искали иного уюта и не могли найти его. После премьеры «Женитьбы» Гоголя нам пришла в голову шальная мысль — спрятаться в зале между кресел или где-то среди декораций — и таким образом провести ночь в театре наедине. Чтобы ночной сторож не тревожил нас, для него мы купили бутылку пива и три пирожка с ливером. Не поняв, кто мы, актеры или посторонние, Семеныч благосклонно принял дары и пожелал нам спокойной ночи. Так довольно длительное время мы обитали в театре, рано утром, еще до прихода уборщиц, умывались и бежали завтракать в управление железной дороги, где столовая работала круглосуточно. Потом легко, пока все еще спали, отыскивали свободные классы в училище и могли вволю позаниматься на своих инструментах. В девять часов начинались уроки, и все повторялось. Спектакли почти не менялись: репертуар был невелик, публика ходила вяло. Нас уже пускали как своих, не спрашивая билетов. Мы теперь не следили за содержанием — только за отдельными сценами и актерскими ляпами: в этом было много разнообразия. Особо радовали темп и рисунок спектакля. От раза к разу они менялись, в зависимости от состава актеров. Все же это было сродни музыке.

Актеров мы, конечно, знали всех, даже их жизненные истории. В спектаклях тогда блистали Тамара Волосиади и Басов. С некоторыми из молодых актеров мы перебрасывались одной-двумя фразами в антрактах. Нам даже предложили музыкально оформить один из современных спектаклей. Шел он почему-то редко, и мы получали копейки. Еще у меня было несколько учеников в музыкальной школе, и, вместе со стипендией и мамиными ежемесячными тридцатью рублями, нам хватало, хоть и не было густо. Бывали дни, когда мы ели только селедку и запивали чаем с шоколадным маслом, которое регулярно посылали Наташе ее родители.

Однажды, уже собираясь ко сну, далеко у входа мы услышали голоса, и на сцене, освещенной контрольной лампочкой, появился главный режиссер театра Давид Любарский. Какая нелегкая его принесла?.. Только его здесь не хватало. Забыл, видите ли, свой сценарий на режиссерском столике. Но худа без добра не бывает. Увидев нас, он крикнул:

— Семеныч! Откуда здесь посторонние?

Уже изрядно пьяный, Семеныч прибежал на сцену, грубо схватил нас под локти и решительно начал толкать к грузовым воротам, ведущим на сцену. Выкрикивал:

— Ишь, какие лазутчики! Вон отсюда! Вон!

Я изловчился, выхватил руку и вытолкал Семеныча за ворота, щелкнул шпингалетом. Матерясь, тот побежал к служебному входу, где обычно спал на топчане у конторки с телефоном.

Любарский оторопело спросил:

— А кто вы?

— Мы — музыканты, — сказала Наташа, — у вас в «Оптимистической трагедии» играем.

— А-а... — протянул Любарский, — да-да-да... Вспоминаю. — Потом спросил: — А хотите быть сторожами на полставки? Семеныч-то не справляется.

И мы согласились.

Жизнь в театре открыла нам особый взгляд на искусство — более широкий и свободный. Все же в профессиональной музыке слишком много технологии и чувственной интуиции. В литературе и живописи больше мысли, философии. Именно в театре мы прочитали Ремарка, Триоле, раннего Эренбурга и Олешу. Помню, как Наташа рыдала над «Дневником Анны Франк».

После одного жаркого спора с театральным художником о смысле живописи и музыки мы решили вновь отправиться в художественный музей — посмотреть на «передвижников». У самого входа в зал висела «Курсистка» Ярошенко: девушка в скромном темном наряде с белым воротничком словно вырывалась к нам из зеленовато-плесневелого слякотного фона. В лице, освещенном внутренним светом, была устремленность в будущее.

— На Светку Белушкину похожа, правда? — спросил я Наташу.

Наташа как-то смешалась и ответила не сразу:

— Правда. Я вчера с ней советовалась...

— О чем? — удивился я.

Наташа взяла меня за руку и с жалкой улыбкой произнесла:

— У меня задержка.

Мне показалось, я пошатнулся. Но это только показалось. В голове заработал мощный мотор, мне стало жарко.

— Зачем с Белушкиной? Сначала со мной! — резко сказал я. — Или хотя бы с мамой.

— Маме я боюсь говорить.

Белушкина была старше нас. В училище поступила поздно, после института. Говорили, что у нее есть ребенок, где-то у родителей.

— Белушкина ничем не поможет, только растреплет преждевременно.

— Она сказала, что найдет бабу, — сообщила Наташа.

Эта мысль показалась мне спасительной. Но вдруг я представил темную избу, бабу у раскаленной печи и таз с грязной водой.

— Нет, — сказал я Наташе, — нет! И тебя угробят, и ребенка. Лучше я поговорю с матерью одного товарища, она врач, — продолжал малодушничать я.

— А если... оставить? — робко спросила Наташа.

«Оставить... — засуетились путаные мысли, — решиться на появление незнакомого беспомощного и абсолютно неожиданного существа... Поддержат ли нас родители? Что будет с призывом в армию, ведь уже восемнадцать...» Совсем недавно я, совершенно голый, стоял перед призывной комиссией.

— Нет, — наконец вымолвил я, — разговаривать нужно только с родителями. Это единственная настоящая опора. У нас еще нет ни профессии, ни опыта.

Как я и предполагал, после разговора Наташи со Светой дело приобрело неожиданный характер. Меня вызвали к завучу. Мария Владимировна некоторое время молчала, листала журнал, собираясь с мыслями.

— Почему задолженность по гармонии? — она перевернула еще несколько страниц.

— Не успел подготовить последовательности.

— Так занят?!

Я молчал.

— Я слышала, у вас странные отношения с Наташей Гомберг.

— Почему — странные?

— Тебе лучше знать.

— Я ее люблю, — сказал я просто.

— А если любишь, почему не бережешь?

Я пожал плечами, не зная, что ответить.

— Как ты думаешь, что скажут ее родители, узнав об этом? Ведь ей шестнадцать лет.

Я был поражен. Никогда не задумывался о возрасте Наташи, она казалась мне взрослой, я даже не знал дня ее рождения.

— Вам надо пожениться, — посоветовала Мария Владимировна.

Далекая перспектива вдруг приблизилась и даже обрадовала. Планы поступления в консерваторию растворились в странной безмятежности.

— В ближайшую среду, — деловито объявила завуч, — состоится комсомольское собрание, на котором будет разбираться ваше личное дело. Подумайте. Иди и подготовь последовательности.

— А при чем здесь комсомольское собрание?! — не уходил я. — Наши отношения с Наташей — это ведь только наше личное дело.

— Ты ошибаешься, — холодно парировала Мария Владимировна, — в коллективе личных дел не бывает. Вашими бывают только успехи или провалы, а дела все — общественные. К тому же, как ты говоришь, ваше личное дело — другим наука. Иди же, — повторила она.

В смятении выйдя от завуча, я поискал Наташу. Нигде ее не было — ни в библиотеке, ни в коридорах, ни в классах. Заглянул в гардеробную — Наташиной зеленой курточки на месте не было.

Я вышел в парк, примыкавший к училищу. У Оки на старых липах галдели галки, устраивая гнезда для своего будущего потомства. Их даже не смущал одинокий голос тромбона. Наверное, это Валерка Дагаев учил очередной этюд. Духовики здесь часто занимались. У каждого был свой уголок, свое любимое дерево. Ко мне подбежал шоколадный вислоухий спаниель, он всегда здесь крутился, пока его хозяин, Николай Васильевич Радко, находился на уроках. Всех училищных он знал и подбегал безбоязненно. Звали его Фунтик. Ничего вкусного для него у меня в карманах не было. Я наклонился и потрепал его бархатное ухо.

У стены на штабеле бревен сидели две хоровички — Валя Еремишина и Лара Богомолова. Между собою студенты звали Лару *пововой*. Она действительно была дочерью священника из-под Малоярославца. Здесь, на солнышке, они разучивали хоровые партии, выводя их дуэтом, или пели что-нибудь для удовольствия — популярные советские и русские песни на два голоса. Валя крикнула:

— Кручинин! — в отличие от других, она почему-то называла меня по фамилии. — Кручинин! Ты придешь на собрание?

— Какое собрание?

— Как какое? Комсомольское. Объявление висит.

— Ну... раз приглашают, приду. И ты не опаздывай, — досадливо ответил я и подумал: «Начинается...»

Я шел домой, в свой полуподвал на улице Спартака, где, может быть, сейчас спали, ели или занимались мои друзья, Яшка и Юлик. Но я шел в никуда. Прохожие мне представлялись манекенами, дома и деревья — декорациями, только небо являлось живым. По бледно-голубому тянулись белые нитки перистых облаков. Влажный ветер облизывал мое лицо. Он казался пришельцем оттуда, из движения и света. Люди шли, задевая меня. Тетка с авоськами пробормотала мне вслед: «Сумасшедший». Что я хотел увидеть среди затягивающих голубизну сероватых облаков? И вдруг, догадавшись, рассмеялся в голос: хочу увидеть в чистой голубизне белую пуховую шляпу Гоголя в форме легкого облачка. Это для меня — его перст, усмешка и маяк. В тот юбилейный год я решил прочесть все четырнадцать томов Гоголя, и многое, что со мною происходило, воспринимал через призму его произведений.

Я остановился на Каменном мосту и через зеленый просвет Березуйского оврага стал смотреть на посеревшую под низкими облаками Оку, на крыши села Ромоданова и одинокий зуб бывшей колокольни. Когда-то там любил гулять Николай Васильевич Гоголь. По каким закоулкам бродят нынешние гоголи? Отчего бы им не распять на комсомольском собрании шекспировских Ромео и Джульетту? Вот вышел бы со своим баяном секретарь комсомольской организации и грохнул бы на весь зал открывшей рот публике проклятие любви. И вжались бы все в свои кресла от ужаса и ненависти к юным влюбленным, а тут на сцену выскочил бы вокальный дуэт Еремишиной и Поповны — и давай выдавать частушки, смешные и обидные для социально незрелых развратных юных особей. И какой-нибудь флейтист подсвистит им сдуру, и скрипач пропиликает что-то фальшивое и невнятное. А самая разумная и умудренная жизнью Белушкина расскажет собранию, как надо вести себя настоящим комсомольцам в эпоху великих строек, побед в космосе и на международных музыкальных конкурсах. Таким, как Ромео и Джульетта, не место... И тут войдет Дагаев со своим тромбоном и, не вполне понимая, что происходит, сообщит: «У меня с восьми часов расписан зал для занятий с концертмейстером». Исключенные из комсомола Ромео и Джульетта выйдут из зала последними, пожмут Дагаеву сильную руку и растворятся в истории.

Чего только не наболтал мой говорящий скворец внутри головы!

На самом деле комсомольское собрание прошло как по нотам. Осудили, но не растерзали. Секретарь говорил об успехах великой страны и только в конце коснулся недостойного поведения отдельных товарищей. Присутствующие жаждали подробностей, но подробности деликатно опускались. То ли по незнанию, то ли намеренно. Кто-то обвинил нас в высокомерии, кто-то в эгоистичности, а кто-то в низкопоклонстве перед Западом. Присутствующая Мария Владимировна в основном молчала, лишь иногда тихо подавала реплики председателю собрания. Белушкина объяснила комсомольцам воспитательную роль коллектива и предложила объявить нам выговор без занесения в учетную карточку, а только в протокол собрания. Я возмутился, поднял руку, чтобы протестовать, но Белушкина с силой отдернула мою руку и прошипела в спину: «Хочешь вылететь из комсомола — так и говори!» Народ разочарованно проголосовал и разошелся. Представления не состоялось, но порядок был соблюден. Все наши друзья благоразумно промолчали, как любит говорить один мой знакомый, «без обид». И вообще, не выказали никаких эмоций, разбежались по делам и классам.

Мы посидели немного, подождали, пока все разойдутся, и тоже пошли искать свободный класс. Нам предстояло подготовиться, помимо экзаменов, еще и к шефскому концерту: выучить пару небольших ярких пьес. Искать пришлось недолго. Из класса за сценой вышла четверокурсница Рита Богородская со штабелем разномастных книг. Увидев нас, она высоко вскинула брови, будто не предполагала встретить живыми. Приветливо улыбнувшись, безмолвно удалилась. Наверное, она там пряталась от комсомольского собрания, заодно занимаясь полезным делом.

На пюпитре рояля стояла тонкая тетрадка нот с романсом Глинки «Не искушай», кем-то забытая. Пока я доставал скрипку и канифолил смычок, Наташа открыла романс и начала играть. Мы оба молчали: комсомольский каток тяжело прошелся по нашим сердцам. Освобожденная от слов, простая нежная музыка успокаивала наши взъерошенные чувства. Вспомнились слова Баратынского, известные почти с детства. По радио он звучал довольно часто: «Не искушай меня без нужды возвратом нежности твоей; разочарованному чужды все обольщенья прежних дней».

Наташа вдруг остановилась, сказав с каким-то странным смешком:

— Ты представляешь, я всегда стеснялась слушать этот романс. Только сейчас обнаружила в нотах, что у Баратынского — «возвратом нежности твоей», а мне всегда слышалось «развратом нежности твоей».

Я дико расхохотался.

Кто-то заглянул в класс, сказал извиняющимся голосом:

— Я здесь ноты оставил, — это был кларнетист Гена Хайкин.

— Забирай, мы их уже изучили, — Наташа хмыкнула.

— Подожди... — остановил я Гену. — Ты можешь наизусть произнести две первые строчки Баратынского?

— Да я могу и больше.

— Давай!

— Не искушай меня без нужды, — механически произнес Гена, — не верю нежности твоей...

— О! Вот и попался!

— Что? — удивился Гена.

— Загляни в ноты.

Он открыл ноты и, будто про себя, запел: «Не искушай меня без нужды возвратом нежности твоей».

— Понял?! — торжествовал я.

— Ничего особенного. Гении тоже ошибаются.

— Это ты о себе?

— О себе, конечно. Заодно и о Глинке. Изменил же он некоторые слова Баратынского, надо было и это изменить, а то, вишь, теперь мы все мучаемся. Пойду позанимаюсь.

— Одна неточность тянет за собой другую, — высказал я неожиданную для самого себя сентенцию. И почти без всякой паузы: — Наташ! Пошли завтра в загс, и уже никто к нам не будет приставать, учить нас.

— А какие документы нужны? — не колеблясь, спросила она. — Я обязательно возьму свою зачетку, у меня там одни пятерки.

— А я скажу, что моя зачетка в краеведческом музее, на выставке.

— Скорее... на сельскохозяйственной выставке: сплошные птицы-тройки.

— Ладно-ладно, у меня тоже пятерки встречаются. Возьми паспорт.

В маленькой и заставленной сейфами комнатке скучная дама взяла наши паспорта, внимательно просмотрела и сказала:

— Пока вы не имеете права на регистрацию брака.

— Почему? — я уже ненавидел эту тетку.

— Наталья Аароновна Гомберг пока не достигла необходимого возраста, восемнадцати лет.

— Но я беременна, — упавшим голосом сказала Наташа.

Дама с глубоким вздохом критически оглядела ее и раздраженно пояснила:

— Во-первых, нужна медицинская справка от гинеколога, во-вторых, вы не прописаны в Калуге даже временно, а прописаны в Подольске, потому и справка должна быть выдана по месту прописки. До свидания.

Странный был день — ветренный, пыльный и неуютный. Мы шли, будто отсеченные друг от друга этим приговором. Ехать за справкой в Подольск накануне экзамена по специальности было некогда. Но ведь нас никто и не торопил.

Что-то все-таки произошло в этом кабинете, чего я никак не мог понять. Может быть, я не сказал те слова, которые должен был сказать, или не совершил поступок, который должен был совершить — спрашивать у Наташи я не решался. Ее беременность я все больше воспринимал как реальность и неизбежность. Святые слова «Благословен плод чрева Твоего» еще не вошли в мое сознание. Иногда я пытался представить, каким будет наш сын, но кроме Наташиных глаз ничего не возникало.

Наши экзамены по специальности прошли довольно успешно, но под особым вниманием педагогической комиссии — это мы оба почувствовали и решили один день перед следующими экзаменами провести в сладостном бездельи, «dolce far niente», как говорят итальянцы. В тот день мы отправились

на Оку. За нами было увязалась Наташина подружка Сушко со своим приятелем, но Наташа так пристально на нее взглянула, что та резко поменяла планы.

Мы отыскали совершенно райское место — небольшой клочок песчаного берега, окруженный густым кустарником, на его крепких ветвях у самой воды вверх дном была пристроена старая лодка. Все это выглядело как шалаш. Рядом — пепел давно угасшего костра и пятилитровая жестяная банка с остатками смолы и намертво влипшей палкой. Кто был хозяином этого сказочного места? Рыбак или одинокий романтик? Похоже, давно его здесь не было. Костер замыт дождями, в банке вода.

Солнце не слишком жаркое на абсолютно чистом небе, вода в реке удивительно ласковая. Не стесняясь друг друга, мы скинули одежды, обретая вид ветхозаветных Адама и Евы, и вошли в воду.

— Свобода! — крикнул я.

— Свобода-ода-ода! — подражая эху, протянула Наташа. И эхо откликнулось!

Вволю наплескавшись на мелководье, мы поплыли к зеленому острову, мирно отражавшемуся в спокойных водах реки. Бывают в жизни открытия, но случается и волшебство. На острове обнаружили целые поляны рано созревшей крупной земляники. С восторгом обедаясь душистыми ягодами, мы еще и разрисовывали ими друг друга, гоняясь и прячась между кустами, потом слизывали подсыхающие хрустящие корочки. Насытившись и утомившись, переплыли к нашему «законному» месту, расстелили плед и пожалели, что не взяли спичек и сырой картошки, чтобы испечь в костре. С собою мы захватили лишь батон с изюмом и бутылку газировки. До вечера нужно было экономить. Это обстоятельство вносило особый аромат в ощущение нашей свободы. Оставшиеся экзамены не брались в расчет, специальность была сдана успешно, все комсомольско-педагогические рифы позади, впереди пусть трудная жизнь, но обязательно с земляничными полянами...

Наташа жует травинку и с нежной, вопрошающей улыбкой заглядывает мне в глаза.

— Интересно... — она умолкает.

— Что?

— Какие глаза будут у нашего ребенка? Как у меня — черные, или как у тебя — славянские, сине-серые?

Ее слова возвращают меня к действительности: ребенок, болезни, заботы...

— Мне бы хотелось... как у тебя — черные, бархатные, библейские, бездонные, от наложниц самого царя Соломона.

— Не-ет... — протягивает Наташа, — мне бы хотелось, чтобы как у тебя — с такими у нас жить легче.

На реке мы провели весь день, до самого заката. Еще раз сплавали на остров, чтобы вдоволь наесться земляники, и собирались заночевать на берегу, под лодкой, завернувшись в плед. Но опустился туман, становилось все холоднее и холоднее, мы поняли, что до утра не продержимся, свернули плед и вернулись в город, к своей испытанной железнодорожной столовой. Потом я проводил Наташу к ее квартире, сонная хозяйка ворчала, но дверь открыла, и я ушел к себе по темным, пахнущим жасмином улицам.

Проснулся поздно от странных болей в мышцах, шумело в голове и сильно хотелось пить. Понятно было, что заболелаю. Дома никого, нужно было что-то предпринимать. Зашел в аптеку, купил аспирин и отправился в училищную библиотеку. Если уж болеть, то хотя бы с книгами и нотами.

Именно здесь меня изловила загадочная подружка Наташи Лиля Перельман. На квартире они жили вместе. Я узнал, что утром у Наташи поднялась высокая температура, появилась нездоровая желтизна, Лиля позвонила родителям, приехал папа и увез Наташу в Подольск на машине. Я пытался позвонить Наташиным родителям, но телефон не отвечал.

Вероятно, у меня поднимался жар, я выпил две таблетки и заснул в ожидании товарищей. Дня два или три я провалялся в бреду и полудреме. Даже не помню, вставал ли. Судя по всему, никто не приходил. Очнулся каким-то слабым и легким, попил воды и пошел в столовую. На обратном пути зашел на телеграф, чтобы позвонить Наташе.

Трубку сняла ее мама, Фаина Георгиевна, и сказала, что Наташа очень больна, мне следует быстрее приехать к ним.

В тот же день я отправился в Подольск.

В квартире я застал только маму Наташи — ни сестры, ни отца не было. Она торопливо напоила меня чаем и жестко, глядя в глаза, сказала:

— Наташа беременна, вам следует пожениться. — Я удивился, поскольку такое решение у нас уже было. — Сейчас ты сможешь мне донести одну вещь из хозяйственного магазина, потом мы поедем к Наташе в больницу. Тебе следует привезти к нам твою маму, и мы все обговорим, — диктовала она.

Почему при этих разговорах отсутствовали Аарон Исаакович, папа Наташи, и ее сестра Лида — я могу только догадываться. В зимние каникулы целых два дня я гостил у них в доме. Папа и сестра Наташи мне очень понравились. Папа остроумно держал застолье, показывал старые фокусы, и Наташа с Лидой ему подыгрывали. Было очень весело. Но мама... Мама только изредка роняла веские слова и смотрела на меня так, словно измеряла логарифмической линейкой и другими приборами жизненную вершину, которую я способен одолеть.

Наташу мы отыскивали быстро, в сквере у больницы. Она сидела на чугунной скамье, рядом с кустом барбариса. Обычно яркое, ее лицо было бледным. Я рванулся к ней, но мать преградила мне дорогу и села рядом с Наташей, разделив нас. Теперь мы могли общаться с Наташей только как через бетонную берлинскую стену. Несколько незначительных слов и взглядов. Я страстно ловил их, но, под потоком бесконечных вопросов матери, ее ответные короткие взгляды вдруг сворачивались и уходили в землю, как молнии от громоотвода.

В Ивантеевке я узнал, что мама моя три дня назад уехала в деревню, к Анюте, в отпуск. Тете Наде я коротко пересказал суть моей истории и побуждал давать телеграмму в деревню для мамы, чтобы она срочно возвращалась. Позвонил и Фаине Георгиевне, заверил, что через день-два, в зависимости от расписания поездов, мама вернется в Ивантеевку.

После обеда Толюшка, перелистывая газету, ехидно сказал:

— Ну... хвастайся — говорят, ты женишься...

— Женюсь, — смутился я, — придется как-то зарабатывать.

— Придется, — подтвердил Анатолий. — Говорят, еврейка? — задал он мне неловкий вопрос.

— А что? Нельзя? — огрызнулся я.

— Почему? Свежая кровь! Даже хорошо. — Я промолчал. — Не мы первые, не мы последние, — добавил он досадливо.

Ни на второй, ни на третий день мама из деревни не вернулась. Я отправил в Колтенки еще телеграмму и сообщил об этом Фаине Георгиевне. Хотел приехать, повидаться с Наташей, но она твердо сказала: «Только с мамой».

На девятый день мама вернулась. Выяснилось, что ни одну, ни другую телеграмму она не получала: в Шлиппово часто ломался телеграфный аппарат. Я позвонил Гомбергам, и мы с мамой отправились в Подольск. По дороге она не досаждала мне вопросами, сама о чем-то напряженно думала. В электричках, с пересадками, мы провели больше четырех часов. Мама выглядела усталой, еще не успев отдохнуть от дороги из деревни.

Встретили нас очень сухо. Ни Наташи, ни Лиды дома не было. Могло показаться, что готовятся к ремонту или генеральной уборке. Без лишних слов, даже не напоив чаем, усадили на стульях у стены, как бедных и нежеланных родственников. Перед нами, не стесняясь, продолжали выметать и сворачи-



вать дорожку. Мы удивленно ждали. Наконец Фаина Георгиевна выпрямилась, сгибом ладони поправила волосы, произнесла:

— Наташе сделали операцию, поэтому все отменяется. — У меня остановилось дыхание: «Она вынудила свою дочь на то, на что не решились мы сами». — Единственное условие: Сергей должен забрать документы и уйти из училища — это травмирует Наташу. — И добавила: — Надемся, у Наташи появятся новые друзья более близкого нам круга.

Аарон Исаакович молча продолжал мести, скручивая дорожку. Казалось, он вот-вот начнет выметать и нас из квартиры.

Мы напряженно попрощались и ушли.

Я казнил себя мыслью, что не нашел возможности встретиться с Наташей. В электричке мы с мамой молчали, не находя нужных слов.

— Отлупить бы тебя, — со вздохом, тихо и обреченно сказала мама, — да случай не тот, — она взяла меня за руку. Я не отнял руки, а она, перебирая мои пальцы, заговорила: — Пусть живут как хотят. Если сможешь, переводись в другое училище.

Я слушал мать, а перед глазами Наташа на том самом острове, измазанная земляникой...

Я уже на Каменном мосту, крепко держусь за перила. Передо мной распахнуты речные дали. Там, за излучиной Оки, земляничный островок, теперь бесконечно далекий. В кармане — все документы, включая зачетку. Я больше не студент Калужского музыкального училища. В Воронеже меня ждет замечательный педагог, альтист Митрофан Филиппович Крячко.

Каждый день я пишу Наташе длинные письма и не получаю ответа. Это становится ритуалом, как и наблюдения за облаками. Они плывут ко мне из-за Оки, пухлые, подсвеченные послеполуденным солнцем. И традиционно я отыскиваю среди них облако, хоть немного напоминающее белую пуховую шляпу Гоголя, которую я никогда в жизни не видел. Это дает мне надежду когда-нибудь увидеться с Наташей...

Так я простоял на мосту часа два. Скоро мой поезд. И вдруг стук приближающихся каблучков, в потоке солнечного света — Наташа, я рванул на встречу. Девушка улыбнулась и прошла мимо, обдав запахом хорошо проутюженной одежды и цветочных духов. Все это меня так поразило, что я сделал несколько шагов за ней и остановился как вкопанный: как же так?! Я люблю Наташу, готов отдать за нее руку, ногу, голову на отсечение, а какая-то неожиданно понравившаяся девчонка способна увести меня. Эта мысль поразила меня и не давала покоя еще очень долго...

*(Окончание следует.)*



Пётр МОРЯКОВ

## «СТО РЕК И РАДУГ ЗА ПЛЕЧАМИ...»

*В это невозможно поверить: не кавказец, всю свою жизнь вдыхающий хрустальную чистоту заоблачного воздуха, пьющий целебную воду из горных источников, но сибиряк, живущий в мегаполисе, переживший голод, холод, несколько войн, разруху, возрождение и снова разруху в великом государстве, ввергнутый в нищету мизерной пенсией — доживает до ста лет. И не просто доживает, но сохраняет ясный ум, и главное — пишет стихи, добрые, светлые, жизнеутверждающие. Сколько же событий вместила эта удивительная жизнь! Он родился, а в это время страдает в Москве от непризнания своих литературных заслуг юный Сергей Есенин, бродит по столице «красивый, двадцатидвухлетний» Владимир Маяковский... А впереди: Первая мировая, революция, гражданская война, индустриализация, коллективизация, Великая Отечественная, Хиросима, искусственный спутник земли, первый человек в космосе, высадка людей на Луне — прорва событий, и всему этому он свидетель — Пётр Фадеевич Моряков. И ведь не только свидетель, но и непреременный участник, а точнее — летописец судеб соплеменников, ибо профессией избрал журналистику. Профессия задала и ритм жизни: извечная готовность сорваться с места и мчаться за «горячим» материалом. Собранный материал уходил в публикации, а впечатления откладывались в памяти и в кою-то пору стали переплавляться в стихи. Все пережитое и накопленное за всю жизнь непостижимым образом обратилось в эликсир высокой лирики. Одна за другой выходят книги, отмеченные печатью доброты и таланта: «Любови святая простота», «Доверье души», «Речь ручья», «Звезда на излете» «А жизнь идет» и др. За прошедшее десятилетие Пётр Фадеевич проявил феноменальную писательскую активность, издав помимо стихотворных сборников несколько книг воспоминаний о своем трудовом пути. Он и свой столетний юбилей отметил выходом в свет очередного поэтического сборника «Озарение» и, как жется, он не будет последним.*

*Евгений МАРТЫШЕВ*

\* \* \*

Мне — сто.  
Невидимые двери  
Я в мир неведомый открыл.  
Своим глазам я не поверил —  
Такой рубеж переступил!

И все во мне притихло сразу...  
Но даже в дни, что так тихи,  
Я рад тому, что ясен разум,  
А в сердце все еще стихи.

\* \* \*

Не все весна.  
 Придет и осень.  
 И станут все луга пусты.  
 Сентябрь косою незримой скосит  
 Весенней лирики цветы.

Так думал я.  
 Все так и вышло,  
 А листопад навеял грусть.  
 Но горевал-то я не слишком.  
 Раз все меняется — и пусть.

Но в сердце все же что-то зреет.  
 И вник я в суть закатных дней.  
 Чем грусть осенняя острее,  
 Тем и лиричней, и родней.

\* \* \*

Полна природа перепадов.  
 Гроза еще гремит в полях,  
 А радуга к реке припала,  
 Струю студеную ловя.

И не пила ее — вдыхала.  
 А чтобы ярче был улов,  
 Бесцветный блеск переливала  
 В семь ослепительных цветов.

Вот эту магию и мне бы,  
 Чтоб мог и я всю благодать,  
 Что разлита под синим небом,  
 В свои стихи переливать.

\* \* \*

Я чувство времени утратил  
 В лесной рассветной тишине.  
 Но застучал вдруг дробно дятел —  
 И я очнулся — это мне.

Вот иволга, простившись с ночью,  
 Свой голос пробует взрывной,  
 Кукушка мне года пророчит,  
 Стрижи стреляют надо мной...

А с поля хлебного, из дали  
 Шлет перепелка свой привет.  
 Я всем пернатым благодарен,  
 Не дали мне проспять рассвет.

## ТЕНЬ

Представить трудно, что на свете  
Ты тенью стал. Тебя уж нет.  
Но я же был!  
Касался веток  
И трогал жаркий горицвет.

А луч?..  
Его прикосновение?  
Он согревал мою ладонь.  
Не может быть, чтоб стала тенью  
Рука, принявшая огонь.

## ЖИЗНЬ — МИГ

Я знал соседского подростка,  
Он резвый был и озорной.  
Он по тропе, травой заросшей,  
Скакал на палочке резной.

И вот иду я той тропею,  
А мне навстречу старичок.  
Все с той же палочкой резною,  
Но превращенной в посошок.

\* \* \*

Слышать мне не раз случилось:  
Если боль тебя прижмет,  
Не горюй и не печалься,  
Все до свадьбы заживет.

И ведь вправду заживало.  
Дунешь, плюнешь — не болит,  
И теперь бы помогало,  
Да никто не говорит.

Лишь плечами пожимают,  
Устремив глаза во мглу,  
И все бога поминают,  
А про свадьбу — ни гу-гу.

## ТРОПИНКА

На прибрежном пригорке  
Помню все до травинки.  
И смешно мне и горько —  
Потерял я тропинку.

Здесь была над обрывом.  
Нет ее и следа.  
Видно, время размыло,  
А быть может, вода.

Прохожу, как над бездной,  
И подумать боюсь:  
Неужели бесследно  
Вот и я растворюсь?

### НА РОДНОМ ПРОСЕЛКЕ

Здесь каждый вздох  
Меня касается.  
За возом дров идет вдова.  
Я знал ее еще красавицей,  
А вот теперь узнал едва.

Вздохнула горько:  
«Вот история!  
Кружусь одна,  
Всю жизнь одна...»  
Взглянула,  
Но готов поспорить я —  
Меня не вспомнила она.

Когда звала нас ребятишками,  
Уже невестилась сама.  
И на гуляньях и девичниках  
Сводила всех парней с ума.

Но как-то раз меня умышленно  
Вдруг обняла при всех при них:  
«Вот за кого бы замуж вышла я,  
Да не подрос еще жених».

Из жарких рук стараясь вырваться,  
Чуть не сгорел я от стыда.  
А сам подумал:  
«Дайте вырасти...»  
Но где-то шла уже беда.

А красота, она изменчива.  
Гляжу в глаза, но холод в них.  
И вдруг спросила тихо женщина:  
«Не узнаешь меня, жених?!»

\* \* \*

Помню, примостишься у костра  
И следишь, как льется дождик звездный.  
Жаль, что звон зануды-комара  
Лезет в ухо тоненькой занозой.

Головой зароешься в тулуп  
И доволен, что злодей не тронул.  
До чего ж я был в ту пору глуп,  
Столько звездопадов проворонил!

\* \* \*

Сколько мне еще топать по свету?  
Кто же знает отмеренный срок?  
Отвожу я заботливо ветку,  
Обхожу осторожно цветок.

А на ближней опушке, в покое,  
Мне кукушка считает лета...  
Пригибаю я пальцы рукою —  
Неужель досчитает до ста?

Ах, вещунья, ты явно в ударе —  
Столько лет... И откуда взяла?  
Я за щедрость тебе благодарен.  
Только где же ты прежде была?

\* \* \*

Сто рек и радуг за плечами.  
Я так летел — лишился сна!  
А ты грозой меня встречаешь,  
Моя родная сторона.

Ну, не сердись, что долго не был!  
Мне сердце — верь! — не даст солгать,  
Я не забыл под знойным небом  
Твоей прохлады благодать.

Твой добрый бор над перевозом,  
Твои клубничные бугры...  
И даже яростные грозы,  
Что грозны только до поры.

Ну вот и кончился твой ливень  
И, подобрев, унялся гром...  
Опять клубникой и малиной  
Свежо повеяло кругом.



## МУЗЫ

### Рассказы

#### МУЗЫ

Когда летом над деревней начинали с громким писком носиться стайки встающих на крыло птенцов, Наденька любила сесть возле дома на пихтовый чурбачок и наблюдать за ними. Взгляд невольно охватывал при этом все хозяйство: старенький дом в три окошка и антенной на жердине, покосившийся сарай с незакрывающейся дверью, упавший на задах забор... Она давно уже привыкла к запустению и признакам конца вокруг, но иногда, в такой вот вечер, с малиновым закатом над лесом и с птичьими криками, ей вдруг начинало томить душу какой-то невыразимо сладкой тоской, и тогда Наденька, не находя себе места, выходила во двор в надежде обрести природный покой.

Сегодня ей опять растревожили душу бабьими посиделками. От одиночества она не страдала, однако и отказать своим престарелым приятельницам не умела. Их компания сложилась неожиданно и легко. Поначалу в исчезающую деревню, в которой Наденька едва не осталась жить одна, переехали две семьи и вернули Надежде надежды. Потом из новожилов выделилась Верочка, нравом приветливая и по-хорошему любопытная, вернее, равнодушная к окружению. Ковыляя из магазина мимо Наденькиного крайнего дома в свой край, она непременно останавливалась и перебрасывалась с хозяйкой парой ничего не значащих фраз, однако от них на сердце топилося-расплавалось что-то давно позабытое и дорогое, словно разогретое дедом на сковородке коровье маслице, поданное к горке загорелых блинов. Слово за слово — и через пару лет, что для размеренной деревенской жизни не было большим сроком, Наденька с Верочкой сблизилась настолько, что стали даже навещать друг друга.

С Верочкой жил ее брат, из-за болезни почти не встававший с постели и бывший для нее заодно и отцом, и мужем, и сыном. Она, похоже, вовсе не тяготилась этой обузой, однако местом встреч все же выбрали Наденькин дом, где никто не смущал своим присутствием и можно было всласть наговориться обо всем.

Повелось так, что говорила больше Верочка, несмотря на свой возраст, все еще жадная до новых впечатлений. Проглотив очередную книгу из библиотеки, она не могла сдерживать нахлынувших чувств и, придумав заделье вроде куриных косточек для Наденькиного пса, спешила на другой конец деревни.

Наденька сначала не особо раскрывала свои объятья, превратившись с возрастом из человека общительного в закрытого; у нее в душе то и дело звучала какая-то своя сердечная мелодия, слова-ноты которой она заносила на обрывки случайных листочков. Их, этих бумажек, накопилось уже слишком много, и они были даже рассортированы по темам и скреплены бельевыми

прищепками, однако Наденька до сих пор не решила, что же с ними делать, имеют ли они какую-то ценность для мира. Этот больной и глубоко упрямый вопрос иногда ныл по ночам, как нарыв, как эрозия на стенках души, и потом днем она подолгу не могла включиться в бытовые дела, ходила по дому, тычась из угла в угол и теряя обычные предметы.

Приходы Верочки вытягивали ее со дна небытия в бурлящий день и возвращали память о том времени, когда она была успешным районным корреспондентом и вслушивалась в рассказы своих пожилых героев, чтобы потом поведать о них людям. Постепенно и Верочку Наденька стала воспринимать как редакционное задание и обнаружила вдруг искренний интерес к ее болтовне.

Оказалось, что за излишней эмоциональностью, которую Наденька втайне списывала на повышенный сахарочек в крови у подруги, за ее перевозбуждением скрывалась чуткая к красотам мира душа. Наденьке пришлось однажды наблюдать то, как иронически относятся к Верочкиным страстям родственники, и тогда в ней обнаружилось стремление как-то защищать ее от непонимания и насмешек. А Верочка открытой душой сразу это расположение уловила, и между ними установилась негласная симпатия.

Сближало их и то, что обе в свое время баловались стихами. Но если Наденьке пару раз довелось быть напечатанной даже в областной газете, не говоря уж о своей районной, то Верочкины успехи были скромнее: о ее тайном увлечении знали лишь самые близкие. И оттого, что Наденька прикоснулась к лаврам, Верочка испытывала перед ней легкий трепет, в котором сама себе признаться не смела. Внутри добродушно посмеиваясь над этим, равнодушная к славе Наденька слегка подыгрывала подруге, когда та вдруг кидалась защищать ее персону от посторонних домогательств; так верный пес ревностно облаивает случайного кобеля, привлекшего внимание хозяина.

Собственно, на этой поэтической почве и зародился позднее тот тройственный союз, который пару часов назад отзаседал в Наденькином жилище, и теперь она, проводив подруг, сидела на своем пеньке у дома и перекладывала в голову с полки на полку впечатления дня.

Нужно заметить, что районная газетка, которую в народе равнодушно называли «сплетницей», и после Наденькиного выхода на пенсию оставалась чуткой к народным талантам. В ней то и дело рассказывалось о прославившихся земляках, о победителях разных конкурсов, а уж местных поэтов чтили, как богов, — то отрывки из новой самиздатовской книжечки напечатают, то биографию очередной знаменитости поведают, то интервью возьмут.

Среди давно известных всем фамилий на страницах «сплетницы» однажды обозначилась новая, привлекавшая внимание своей краткостью и явно не местным колоритом. Любопытствующий люд выяснил, что в отдаленное село, поближе к родной земле, переехала жить овдовевшая пенсионерка, бывшая учительница. И все бы на этом, потому что — где она, а где Наденька с Верочкой... Это для бешеной собаки сто верст не крюк, а деревенским людям без машины в гости ехать не разбежишься, да и с чего вдруг, когда не звали.

Вопрос решился сам собой, хотя и странным образом. Однажды Верочка появилась у Наденьки запыхавшаяся, неся в руке местную газету.

— Ты читала? — спросила она тревожно, точно намеревалась сообщить о кончине кого-то дорогого.

— Нет еще, даже из ящика не забирала, — ответила Наденька, добывая над плиткой третье яйцо. — Будешь? А то еще парочку кокну.

— Не буду, — буркнула Верочка тоном, который был для нее несвойственным.

— погоди тогда, я быстренько, а то еще не завтракала, — сказала Наденька и без аппетита зашевелила вилкой.

Все время, пока она ела, трудно отрывая не своими зубами заветренный черный хлеб, Верочка молча сидела напротив, напряженно повернув голову в окно. Там, во дворе, порхали последние легкие снежинки, крупные, веселые.



Но Верочка, кажется, их не замечала, она молча шевелила губами, будто что-то вспоминала, и скидывала к потолку, под нависшие веки, свои крупные, навывкате, глаза.

Наконец Наденька отставила сковороду и вопросительно глянула на подругу.

— Если бы мне сказали, что такое может быть, я бы не поверила, — размеренно проговорила та. — А тут — своими глазами вижу!

Верочка повернула к себе газету последней страницей и прочла:

— «Здравствуй, лес, чародей изумрудный, с колоннадой веселых берез, утешитель в моей жизни трудной и родник моих сказочных грез!..»

— Ну? — уставилась на нее Наденька, не понимая. — Стихи как стихи.

— Да-а! — слегка язвительно вырвалось у Верочки. — Если бы у меня не было почти такое же!

— Где?

Наденька взяла протянутую ей ученическую тетрадь в клетку и прочитала там, где ей ткнули кривым кончиком указательного пальца:

— «Милый лес, чародей изумрудный! Сколько в нем белоствольных берез... Хоть мы жизнью живем очень трудной, ты родник наших сказочных грез». Та-ак, не понимаю...

— Вот и я не понимаю! — возбужденно подхватила Верочка.

— Не хочешь ли ты сказать, что эта... как ее... Любовь... украла у тебя строчки?!

— Конечно, нет! — Верочка задумчиво принялась разглаживать перед собой клеенку с нарисованными березовыми веточками. — Кто у меня может что-то взять, если тетрадку я запираю в сундук?

— Тогда что же... — Наденька боялась обидеть подругу, но сказать это было необходимо. — Тогда получается, что это ты... — Она выбирала слова помягче. — Это ты приняла ее строчки за свои?

— И тоже — нет! — воскликнула Верочка. — Я свое написала два года назад, когда мы эту Любовь еще не знали и не читали! Понимаешь?

— Получается...

— Вот и я говорю — выходит, что мы поймали одинаковые мысли! Представляешь?! Это просто чудо какое-то!

— Да-а... — неопределенно промолвила Наденька, пытаясь разобраться в вихре противоречивых чувств в своей душе. С одной стороны, она догадывалась об истинной цене этих строчек, но не имела права называть ее вслух; в конце концов, они были написаны от великой любви ко всему живому, а за это не бьют. С другой стороны, почти полное совпадение не только слов, но и размера наводило на неуютные размышления, которые она поспешила отринуть как недоразумение, поскольку прояснение ситуации уже никак не могло изменить ее расположения к Верочке. И она решила закрыть тему как можно бодрее.

— Видимо, телепатия и впрямь существует. И нам посчастливилось стать ее свидетелями. Ура!

— А если... — Верочка споткнулась. — Если я напишу ей на редакцию и пошлю свой стих... как ты думаешь?..

— Думаю, правильно, — в тон подруге ответила тогда Наденька.

И меж Верочкой и Любушкой случился короткий и бурный эпистолярный роман. Как они там разобрались с чудом поэтического клонирования, история умалчивает. Но, узнав из переписки о существовании Наденьки, Любушка изъявила желание непременно лично познакомиться с обеими. И как-то по весне, когда привезший ее автобус тронулся дальше в сторону станции, лихо разбрызгивая снег с грязью, она подхватила с мокрой обочины свои котомочки и направилась к деревне.

Сколько потом Наденька ни уговаривала ее не возить гостинцы, Любушка не слушалась, волокла и волокла банки — с огурцами, помидорами, с капу-

стой, вареньем, с грибами, будто в соседней деревне были не точно такие же огород и лес, как у нее. В итоге Наденька смирилась и перед приездом Любушки стала ей по телефону просто называть то, чего не хватало на данный момент в доме.

Однако другой неловкий вопрос решить никак не удавалось: за любую маломальскую помощь с Наденькиной стороны, например, те же стихи в компьютере набрать и сбросить на диск, Любушка непременно расплачивалась деньгами.

— Да вы и так вон всего навезли! — отпихивалась от денег Наденька, кивая на приятный прибыток в своем хозяйстве. — Мне с вами и так не расчитаться!

Однако Любушка все равно оставляла где-нибудь подпихнутой сотню другую, чтобы не стать обременительной. И Наденьке пришлось согласиться с этим. В конце концов, деньги невелики, госте не в ущерб, а ей не помешают.

Так и общались, хотя и не часто. Утром, сразу с автобуса, Любушка заходила в самый первый дом, к Наденьке, и до обеда они работали — новые стихи набирали, правили старое.

Однажды Любушка притащила целую тетрадку головоломок для «Поля чудес».

— Как вы думаете, — спросила она почтительно, когда все тексты были занесены на страницы электронной почты, — эти вопросы не слишком простые для них?

Хоть Наденьке вопросы не показались заковыристыми, она убедительно заверила, что они наверняка придутся знатокам не по зубам. И нажала на кнопку «отправить».

Где-то к обеду обычно приходила Верочка, неся в авоське завернутую в «сплетницу» трехлитровую кастрюлю картошки с тушенкой. Для Наденьки начинался праздник тела, во всяком случае, она усердно его изображала, потому что Любушка ела не больше кошки, а сама Верочка, перекусив дома с братом, лишь обмакивала ложку в тарелку. Предполагалось, что все оставшееся в кастрюле будет отписано в пользу Наденьки, и она то и дело шутила:

— Вы бы, Любушка, почаще нас навещали, так и я с голоду не помру!

— Да я бы рада, — смущалась гостя, — но боюсь вам надоесть!

— А я предупрежу, когда хватит! — не боялась грубовато пошутить Наденька.

В общем, у них подобралась вполне приличная компания. По зиме, когда модем обеспечивал приличную скорость, троица позволяла себе путешествие по интернету. Запросы поступали обычно от Верочки — ее интересовали вполне земные и не вполне понятные Наденьке вещи, например, где родился и где похоронен тот или иной знаменитый артист, режиссер, композитор, писатель или их супруги. Хозяйка компьютера уже через полчаса забывала подобную информацию, поскольку не находила в ней особого смысла для себя. Верочкина же память удерживала столько фактов, дат, имен и текстов, что приходилось только поражаться.

Случалось, что в какую-то минутку, заглядевшись в окно и перестав слушать токовавших об особенностях стихосложения подруг, Верочка вдруг низким бархатистым голосом со всеми нюансами выдавала строчку из «Князя Игоря» или «Баядерки», а потом спохватываясь, от стеснения перевирала конец и умолкала, пряча глаза. Любушка только вопросительно поднимала брови, переводя взгляд с Наденьки на певунью.

Несмотря на ставшие привычными встречи, женщины оставались загадочной друг для друга, потому что никогда не говорили о личном. Было известно, что Верочка, всю жизнь проработавшая штукатуром-маляром в большом городе, вдали от родных мест, никогда не выходила замуж и не имела детей; впрочем, именно потому у нее в свое время и получалось путешествовать по миру, читать книги и ходить в кино и в филармонию. Наденька к моменту

появления в деревне Верочки уже была вдовой, отпустившей в большой мир двоих детей, так что ее одиночество тоже было на виду. А вот к Любушкиной истории были сплошные вопросы, которые, разумеется, никто и не собирался озвучивать. Гостя сама дала тому повод, наедине с Наденькой совсем неожиданно обронив:

— Вы знаете, у меня в голове до сих пор не укладывается, что мне уже семьдесят пять. Кажется, так бы и влюбилась еще разок напоследок! — И Любушка, прогнув спину и по-кошачьи потянувшись, задумчиво и нежно потрогала на своем затылке седую гульку.

Наденька не сразу сообразила, как реагировать на этот послыл. Совсем недавно, по весне, она с Верочкой была приглашена на Любушкин юбилей, где за столом вместе с десятком гостей восседал улыбчивый и молчаливый лысый старичок, Иван Иванович. Как стало ясно из общих разговоров, в молодости он был машинистом паровозика на узкоколейке, а когда лесопункт закрыли, стал лесничим. Наверное, намолчавшись на своих работах, он по привычке не болтал и дома. С Любушкой они очень дружелюбно перебрасывались намеками по поводу того, в какой очередности подавать приготовленное на стол; с особым удовольствием вынесли рыбу, выловленную и пожаренную хозяином. Словом, семейство произвело вполне положительное впечатление. И хоть известно было, что вдовая учительница сошлась с этим человеком недавно, одинокой и более молодой Наденьке очень хотелось верить в возможность счастья на самом склоне лет.

— Да что вы! — воскликнула Любушка. — Этот мужчина совсем не в моем вкусе! Я бы на такого никогда сама и не глянула!

— Так что же вас свело? — Наденька даже перестала прибирать со стола бумаги и опустилась на стул, почувствовав в ногах слабость.

— Сестры! — охотно отозвалась гостя, в которой с трудом можно было предположить такую степень открытости.

Как-то, еще до близкого знакомства, Наденька видела выступление Любушки в районной библиотеке, куда набилось десятка три почитателей ее таланта. Задавали простенькие вопросы о судьбе, о вдохновении, о новых книжечках, которые она издавала за свой счет, как пирожки пекла. Не из творческой ревности, просто в силу кое-какого профессионального знания Наденька видела все несовершенство полюбившихся людям сочинений, однако никогда не стала бы публично заявлять о своем мнении. Каждый пишет в меру данного ему таланта и при всем желании не сможет прыгнуть выше головы, равно как и читатель ищет автора себе под статью.

Поразило же Наденьку в тот день то, с каким смущением, едва не заикаясь и с трудом подбирая слова, выступала хозяйка вечера. Тогда еще подумалось, что это в ней учительское — всегда быть закованной в стандарты, не позволять себе ни мысли выразить вольной, ни слова сказать, обычного в своей житейской простоте.

И только дома на юбилее Любушка впервые предстала обычной, уставшей от праздничных хлопот женщиной, которая захотела расслабиться. Она опрокинула с тостами несколько рюмочек белого и под музыку из старенького кассетного магнитофона вдруг пустилась в пляс, да так ладно, так залихватски, будто была моложе на четверть века.

Вот и теперь, за столом у Наденьки, в ней сверкнула та же девчоночья искра, явно взывавшая к расспросам.

Оказалось, что жила Любушка на Кубани, на родине мужа, там его и похоронила. Долго еще на пенсии учительствовала, но со временем оставаться в станице стало невозможно — там настолько распоясались разные сволочи, что по ночам стали обворовывать сараи одиноких жителей. Так и у Любушки утащили с десятком кур и кроликов. Дошло до того, что она стала опасаться и за собственную жизнь, потому не ложилась спать до рассвета. Когда же поняла, что от недосыпания с головой творится что-то неладное, рассказала об этом

двоюродным сестрам. Вот они-то и отыскали ей вдовца с домом и вызволили ее с чужбины. В один прекрасный день три серьезные дамы переступили найденный порог. У хозяина, с которым договорились по телефону, был готов чай с печеньем и жарко натоплена печь. Посидели, поговорив для приличия о чем-то незначительном, а через полтора часика сестры вдруг засобирались на автобус. Накинула на себя пуховый платок и Любушка, взялась за сапоги, но ей помешали:

— А ты оставайся!

— Как это?! — онемела она.

— А вот так! — приказали сестрицы и исчезли за дверью.

— А я подумала-подумала, — заключила Любушка, — да и села на сундук у входа. Не назад же мне на юг ехать.

Наденька от услышанного оторопела, не зная, что спросить дальше. Любушка продолжила сама:

— А он, сами видите, и ростиком меня меньше, и тихий... как не мужик. А мне всегда нравились высокие, смелые... как муж.

— И были после него такие?

— Да был один... — Любушка погрузилась ненадолго внутрь себя и испуганно вынырнула. — Предателем оказался.

— В смысле? Женатый, что ли? Или изменял?

— Да еще как изменял! Мне учителя все уши прожужжали, а я все не верила, дурочка, хороший он, твердила. Но в душу-то сомнение, видно, запало, и решила я к его дому по темноте прийти. Осень была. Пришла я, за калиткой постояла, посмотрела на задернутые шторы, а потом одолела забор и к стене прошмыгнула, чтобы щелочку найти. А окна высоко, не видать. Тогда я нащупала какой-то чурбан, подкатила к дому и залезла... Лучше бы и не лезла... Своими глазами увидела, как они в постели милуются...

Любушка даже плечами зябко передернула, но по голосу было ясно, что теперь она наблюдает те мгновения как в кино, на экране, не отождествляя их со своей жизнью. А тогда...

— Я не знаю, что тогда со мной сделалось... Как что-то щелкнуло в голове... Я не представляю, где нашла эту трубу железную... и давай ею по стеклам колошматить! Одно, другое, третье окно... И ничего после не помню... Сказали потом — в состоянии аффекта была...

Наденька выдержала паузу, пока Любушка складывала назад пережитое, и спросила:

— А он что же? Объявлялся потом? Извинялся?

— Нет! И хорошо, а то бы не знаю... Я вот теперь все думаю: ведь это только со стороны бы увидеть — учительница, за пятьдесят уже, и вдруг лезет в темноте к мужику через забор... стыдобища!

— Через забор даже?!

— Ну!

И они обе расхохотались.

Потом позвонила Верочка, и пока она ковыляла с другого конца деревни со своей картошкой, Наденька поспешила расставить последние точки в рассказанной истории.

— Как же вы теперь с Иван Иванычем, без любви-то?

— Так и живем — как брат с сестрой. Денежки на еду в кучку, а на свои нужды у каждого свое. Я у него ни копейки не брала ни разу! Зачем? Я ведь ему никто... и он мне чужой.

— Так вы и не записаны?

— Какое записаны! Я даже прописана не здесь, а у дочки под Питером. Захочет он меня выгнать, и никто не остановит.

— Да что ж вы... он, по всему видно, человек приличный, — проговорила Наденька. — И хозяйство он ведет?

— В этом-то мы договорились — и по дому, и в огороде. И дети его обещали, что меня из дома не выгонят, дадут дожить, коли он помрет первым... Вот такая любовь...

Любушка кислотовато улыбнулась, проследила в окно, как подходит к дому Верочка, и заключила:

— А все равно влюбиться еще хочется! И чего я строгую из себя корчила всю жизнь? Не понимаю теперь. Никто этого не оценил, медаль не навесил...

Вошла Верочка, водрузила поклажу на стол и привычно поинтересовалась:

— Как поработалось?

— Да уж... порабо-оталось... — с подтекстом протянула Наденька, знавшая, что скоро все расскажет ей в подробностях.

Отобедав, они тронулись к остановке. Наденька по обыкновению понесла в пакете предназначенные для Любушки пустые банки взамен привезенных. За компанией увязался от дома пегий кобелек и все вертелся под ногами, пока они стояли на обочине дороги, обдаваемые сухой пылью от пролетающих мимо машин.

Неожиданно Верочка, жамкая в кармане кофты платочек, вздохнула и ученически выразительно начала декламировать, глядя на закат:

— Вот и солнце садится несмело, и заря золотит небосвод,

И туман опускается белый над речною равниною вод.

А в домах огоньки зажигают, теплый ужин стоит на столе,

И любовь всю семью собирает в деревенском уютном тепле...

— Это ваше? — догадалась Любушка и погладила Верочку по плечу.

— Да, — стыдливо потупила та глаза, — но я смущаюсь...

— По-моему, очень неплохо...

Солнышко еще жарило спины, но уже склонялось к лесу, и теплые бархатные тени от развесистых сосен за спиной гармошкой улеглись по склону придорожной канавы. Сердце отчего-то томилось и вздрагивало, будто в юности.

— Приезжайте еще! — по-девчоночьи быстро замахала рукой Верочка, когда пассажиры помогли Любушке подняться в автобус и усадили ее на переднее сиденье. Гостя не успела ответить, потому что двери захлопнулись и уплыли вдаль вместе с автобусом.

— Вот и все, — низким своим голосом, который так нравился Наденьке, сказала Верочка. — Вот мы и порадовали ее немножко, она хоть душу отвела... А как снова начнет капризничать по телефону, придется опять ее звать, что ж поделаешь...

Весь путь от остановки они брели, обсуждая только что открывшиеся обстоятельства жизни приятельницы. Наденьку так и подмывало вызвать теперь на откровенность и Верочку, но сердце подсказывало, что пока не время. У первого дома они раскланялись, Верочка поковыляла дальше к себе, а Наденька, зайдя в избу, отыскала на полке Любушкины книжечки, зачем-то прихватила блокнот с ручкой и вышла на любимый чурбачок возле дома.

В небе с ребячьими криками носились юные ласточки и стрижи, пронзая тоской сердце. Зачем-то вспомнилось, как Наденька с мужем поднимали к небу скворечник на огромной жердине и никак не могли удержать ее. И тут, словно мышка в сказке про репку, помог маленький еще тогда сынишка: он пристроился у основания живой, только что срубленной и потому тяжелой сосны и своими слабыми силенками склонил баланс сил в человеческую сторону. Не было в этой истории ничего особенного, но душа у Наденьки вдруг заплакала навзрыд, обнаружив свою одинокость и незащищенность без любимых мужиков.

Почуввав тревогу, подбежал к хозяйке озабоченный пес, уткнулся носом в колени, и Наденька, не открывая намокших глаз, почесала ему за ухом.

— Если музы — для поэтов, то поэтке нужен муз, — неожиданно присочинилось ей. — И красивый чтоб при этом, и у губ — крученный ус... — она раскрыла блокнот и быстренько вписала туда пойманные строки.

Затем вспомнила о Любушке и начала листать ее сборнички, разыскивая нужное. Попадались все какие-то глупости, на которые она прежде сердилась, а теперь умилялась. «Идите, люди, в зимний лес, побудьте в дивном царстве этом...», «Родная сторона, лесистое раздолье, задумчивых берез пленительная грусть...».

Наденьке так и представлялось, как Любушка в строгом костюме ходила бы перед своими первоклашками от окна к дверям и обратно и, используя собственные строки, учила бы детишек с трепетом относиться к своей стране: «Родина, тихая, милая, вечный источник любви! Помню всегда, не забыла я дивные чары твои...»

Ее стихи были полны восторженных нереальных картин и чувств — деревья сверкали изумрудами, яхонтами, самоцветами, луг был обязательно росистый, ручей — серебристый, черемуха непременно издавала волшебный аромат.

Когда Любушка выпустила первую книжечку, Наденька не могла удержаться и написала на нее небольшую рецензию, достаточно мягкую, но честную. И теперь ей думалось, что очень правильно редактор отказался поставить ее в газету, потому что намеки автор вряд ли бы уловила, а вот отчаяться могла бы всерьез. Когда однажды ей пришел отказ из областной газеты, Верочка неделю приводила подругу в чувство по телефону. И когда Любушка как-то спросила, не будет ли ошибкой вместо «заброшенного» края сказать «покинутого», Наденька поняла, что остается принять как данность и эту ее особенность. Тем более что были же у нее неплохие строки, были... Да вот же, к примеру!..

Наденька обрадовалась, встретив искомое, и даже прочитала вслух для дышащих у нее за спиной смородинных кустов:

— «Итоги жизни в старости подводим и, прошлое критично вороша,  
Ошибок много у себя находим, и кровью обливается душа...»

Да и о любви у нее получалось, хоть это вот взять: «Хотим увидеть розы счастья, А достаются нам шипы».

Или вот еще... о том, как «долго я не понимала, что счастье — словно солнца луч: блеснет заманчиво, лукаво и пропадет во мраке туч».

А это вот, наверно, о той самой трагедии с разбитыми окнами:

«Листопад, листопад, в жизни все так превратно.

Где тот ласковый взгляд? Где та пылкая речь?

Если я бы могла повернуть все обратно,

Я бы счастье, наверно, сумела сберечь...»

Но искала Наденька все-таки не это, не это, а что-то легкокрылое и светло-горькое. Те строки поманили тогда тайной чужой судьбы, и теперь, когда авторская душа отворилась, хотелось перечитать их новым взглядом. И слова эти с трудом, но нашлись, будучи упрятанными в середину какого-то длинного невнятного стиха:

«Мне быть хотелось белой птицей,

Меня надежды ветер нес.

Но не учла я, что разбиться

Могу о жизненный утес...»

Наденька вдруг ясно представила картину этой трагедии и едва не заплакала. Она догадывалась, что сейчас Любушка копошится по хозяйству в

чужом доме с чужим человеком, вежливо ему отвечая и заботливо предлагая ужин, а на душе у нее... И о чем думает при этом он, с восторгом ребенка глядевший на юбилее, как она кружилась в танце, и вряд ли допускающий, что она все еще несомна давно непонятным ему ветром надежды...

Конечно, чтобы писалось, да еще талантливо, нужно любить, думала Наденька, накладывая ужин собаке, запирая дверь и задергивая шторы, чтобы затененные лучи не ослепляли экран монитора. Конечно, если музы — для поэтов, то поэтке обязательно, обязательно нужен муз, и красивый чтоб при этом, и у губ — крученный ус, конечно!

Она даже не заметила, как открыла чистую вордовскую страничку и принялась печатать то, что нашептывалось у нее в голове после «крученого уса». Почему-то у нее выходило, что, мол, хорошо бы, если бы этот муз «и ночами бы не трогал, а замаливал грехи, разговаривал не строго и давал писать стихи», — словом, очень бы походил на ее покойного мужа, который ни в чем ей не перечил и старался быть будто в тени, однако — до какого-нибудь, не дай бог, рокового момента. Очень хорошо с ним жилось Наденьке...

Затосковав, она вышла в кухню и постояла у мужниного портрета, висевшего над окном, на самом видном месте. Ей все время казалось, что изображение вот-вот дрогнет, и она услышит голос... Но муж молчал, покорный высшей воле.

Почему-то представилось, с какой радостью — вдруг вернувшись — он стал бы носить ее на руках. И Наденька побежала назад к компьютеру, чтобы допечатать еще пару строк: «Даму после презентаций выносил бы на руках и готов бы был остаться упомянутым в веках...»

Почему-то эти строчки не показались ей дерзкими или унижительными для мужчины, наоборот, они рисовали истинного рыцаря и поклонника; только такой человек, по ее мнению, способен взять на себя все бытовые тяготы, и это неперемное условие для счастья, потому что «для поэтки непосилен жизни груз», совсем сегодня вдруг стал непосилен, и что с этим делать, она не знает, потому что слезы катятся и катятся...

Наденька отдернула штору и открыла форточку с той стороны дома, где видна была пустыющая деревня, где вдалеке желтым пятнышком на фоне угасающего неба светился Верочкин свежевыкрашенный домик. Наверное, они с братом уже дремлют под телевизор, потому что встает подруга рано, спешит к своим опрятным грядочкам с огурцами, которые и сама-то почти не ест, а все таскает Наденьке. А Наденька и не знает даже, чем отплатить за ту доброту...

Подхваченная мыслями, она забылась и даже вздрогнула, когда за окном перед самым ее носом ухнула вниз, а потом резко взмыла вверх юная и крикливая птичья стая. И о чем они так кричали, чему радовались?.. Если бы взлететь с ними да оглядеть всю эту жизнь с высоты, может, и ей стало бы веселей, а так — не понять, потому что... потому что для поэтки непосилен жизни груз...

Наденька встала на стул, высунула голову в форточку и, оглядевшись по сторонам, словно могла напугать кого-то в ближнем лесу, прокричала:

— Прилетай ко мне на ветку-у петь со мно-ою, добрый му-у-уз!

Слабое далекое эхо вернуло ее запрос неудовлетворенным.

Дремавший пес брякнул цепью, вылезая из-под крыльца, огляделся и, обнаружив торчащую голову хозяйки, добродушно завилял хвостом.

— Иди, иди на место, — сказала Наденька. — Все в порядке!

Она закрыла форточку, но еще долго стояла у окна, глядя на покосившиеся дома и на пунцовый — к ветру — закат.

## БУМЕРАНГ

## 1.

Если вы прожили жизнь и до сих пор считаете, что судьба наша в наших же руках, то мне искренне жаль вас... Так могла бы сказать Руся, несмотря на свои двадцать. И у нее были для такого заявления веские основания.

В тот день они договорились встретиться с подругой в Центральном доме литератора. Нет, они вовсе не были его завсегдатаями, да и жила тогда Руся не в Москве. Просто приехала по каким-то студенческим надобностям, и — повезло! — подвернулись билеты на интересный вечер.

Еще стояла зима, но воздух в солнечный полдень уже наполнялся весенней истомой. Кровь в Русиных жилах бурлила и бунтовала, и ничего нельзя было с этим поделать. Впрочем, само по себе это не имело к случившемуся никакого отношения. Тем более что в тот предвечерний час в столице уже все-речь подморозило, как всегда бывает перед настоящим таянием.

Чтобы не замерзнуть, Руся зашла в здание и стала поджидать подругу в фойе. Двери почти не закрывались, люди шли и шли, поспешно направляясь к гардеробу. Там даже скопилась небольшая очередь — и она не убывала, а только росла. Обслуга брезгливо принимала пальто у простых смертных и, как подачку, швыряла номерки на барьер, зато знатных и нарядных встречала подобострастными улыбками и воркованием. Русе захотелось поскорее снять и спрятать свою старенькую курточку. В тот самый момент, когда она раздумывала над этим, в людском потоке за окном возникла задержавшаяся подруга. Она извинительно жестикулировала и что-то говорила, на что Руся в ответ кивнула. И тут же увидела, не поверив своим глазам: следом в двери зашел *он!* Руся отпрянула к стене и оберла с закрытыми глазами...

Возможно ли объяснить, что он для нее значил! Тот, кто не пережил подобного, все равно не поймет, почему она ловила в окружающем мире только его имя, выхватывала с газетной полосы только родное сочетание букв, засыпала и просыпалась только с одним словом на устах — с его именем. Он был реален и нереален, потому что недоступен, как бог. И вряд ли она посмела бы сама, по своей воле, пойти ему навстречу. А теперь... Теперь он, нахмуренный, деловой походкой прошагал к опустевшей раздевалке и отдал пальто. Руся видела это сквозь туман, заставший глаза, и никак не могла разобрать, о чем пытается говорить с ней подруга. Слепо сунув курточку в гардероб, она так же машинально рванулась туда, где мелькала, удаляясь, его спина в сером пиджаке. Подруга схватила ее за плечо, указывая на лестницу, по которой нужно было подниматься в зал, и на циферблат, где стрелки уже миновали назначенное время. Но Руся была уже невменяема, и ее не интересовал ошеломленный взгляд, которым ее проводили — все это было из какой-то давней уже, прошлой жизни, не имевшей ни малейшего отношения к тому, что начиналось теперь.

Потом, перебирая в памяти детали случившегося, Руся в ужасе спохватывалась, что ничего могло бы и не быть. Ведь она могла вовсе не приехать в Москву в этот день. Они могли не раздобыть нужных билетов. Да и подруга могла и должна была не опоздать, потому они вовремя заняли бы места в зале, зная не зная, кто появился чуть позже в другом уголке старого особняка. Да и он — привели же его дела сюда именно в этот день и в этот час... Почему? Кто повелевал этим? Кто направлял и исправлял их обычные человеческие планы?... Для чего?... Наверное, такие моменты и зовутся судьбоносными. Человеку предстоит самому выбрать свое будущее, чтобы после не на кого было пенять, кроме себя.

И Руся, не раздумывая, шагнула за ним. И тоже встала в очередь за кофе. Она могла бы быть следующей, сразу после него, но у нее не хватило отваги ощутить его столь близко. Очень кстати между ними вклинилась полная томная дама в меховой накидке и засуетилась, разглядывая из-под очков ценники. Он явно тяготился этим заспанным соседством и постукивал о прилавок уз-



ловатыми пальцами. На приветствия отвечал лишь кивком, не желая вступать в разговоры, и, взяв две чашки кофе, удалился за пустой столик в углу зала.

Руся, ловившая каждый его жест, воодушевилась: можно успеть как бы ненароком сесть рядом. Но не тут-то было. Вальяжная дама впереди сначала долго тыкала лаковым ноготком в меню, соображая, что выбрать, затем неспешно копалась в сумочке, разыскивая разменные купюры, пока кто-то с конца очереди не помог ей разойтись с буфетчицей. А он в это время уже допивал первую порцию! У Руси замерли дрожавшие коленные чашечки, а потом запрыгали еще сильнее. Подсесть к нему просто так, без кофе?.. Невозможно! Но и дожидаться очереди не получалось. Из служебных дверей вдруг вынесли лотки со свежей продукцией, и кудрявая буфетчица, достав из-за уха чернильный карандаш, взялась за накладные. У Руси помутилось в голове: он допивал вторую чашку! Она закрыла глаза и вытерла рукой вспотевший лоб. То ли это было замечено, то ли милостив тот, кто выше, но буфетчица подняла глаза, спросила:

— Вам что? — и быстро выдала нужное.

Руся неслышно опустилась на стул рядом с ним. Никто третий не смог бы пристроиться за уединенным столиком, никто не мог ей теперь помешать. Опустив глаза, она взяла в немеющие пальцы чашечку и поднесла ее к губам. Содержимое колебалось в ней, как при маленьком шторме.

Он в это время залез в карман пиджака, вынул пачку сигарет и принялся распечатывать ее.

Сейчас он сделает это, поднимется и уйдет. Надо было решаться! И Руся, не узнав собственного голоса, спросила:

— Это не очень смешно, что у меня руки дрожат?

Он не понял сначала, что вопрос обращен к нему, затем пристально глянул Русе в глаза и ответил настороженно:

— Не смешно, нет... А что случилось?

Господи, и это он спрашивал, что случилось!.. Да она едва не упала в обморок, словно барышня из классического романа! Хотя, если верить писателям, девушки в те времена не могли себе позволить ничего, кроме как безвольно дожидаться решения своей женской участи. Руся на такое не согласилась бы. И теперь, когда все зависело только от нее, она смирила в себе вдруг подступившие слабость и отчаяние, устала в коричневую тьму в чашке и молвила:

— Я люблю вас... И простите, что вот так сразу... У меня нет другого выхода.

Он рванул на пачке уголок, и две сигареты выкатились на стол прямо в небольшую кофейную лужицу. Руся не подняла глаз, а затем услышала, как во сне, глуховатый голос:

— Вам кофе взять?

Она молча кивнула.

## 2.

Вера Егоровна допечатывала последнюю страницу, когда зазвонил телефон.

Робкий девичий голос в трубке осведомился:

— А Вадима Семеновича можно?

— Его нет, он будет вечером, — привычно ответила Вера Егоровна и поинтересовалась: — А что ему передать, кто звонил?

— Я председатель литературного объединения при заводе, — пояснил голос, — и мы хотели бы попросить его встретиться с нашими участниками. Как вы думаете, он не откажет?

— Думаю, что нет, — сказала Вера Егоровна, зная, что муж действительно охотно откликается на просьбы всех начинающих.

— Хорошо, я перезвоню, — дисциплинированно ответили на том конце провода. — Всего вам доброго.

«Вам тоже», — автоматически подумала Вера Егоровна и удивилась, поймав себя на неожиданном желании услышать этот завораживающий голос еще. Она даже глянула в недоумении на коротко попискивающую трубку и, опустив ее на рычаг, усмехнулась: вот это, наверное, и называется — начать выживать из ума. Когда-то ведь такое все равно должно произойти, почему бы не теперь?..

Едва она закончила печатать рукопись мужа, забарабанили в дверь — явилась из школы дочка. Сколько ни пыталась Вера Егоровна отучить ее от этой привычки — стучать, а не звонить, ничего не выходило. Она не умела настаивать и забывала об очередных своих «последних» предупреждениях. Видимо, и впрямь она, после большого перерыва снова став матерью, слепо поддалась родительскому инстинкту, дремавшему в ней. Все, чего она так усердно добивалась в свое время от старшей дочери, живущей сейчас далеко и своей семьей, и чего она от нее добилась, казалось теперь неважным и даже неразумным. Наверное, не просто она сама за минувшие годы изменилась, наверное, тут сыграло свою роль и кое-что другое. Младшая дочка была рождена от любви, и хоть к обеим девочкам Вера Егоровна относилась, как ей казалось, одинаково, к общению с младшей все-таки примешивалось своего рода безумие. Глядя на нее, Вера Егоровна видела своего Вадима, и все, что прежде могло ее раздражать, теперь превращалось в нежность и умиление.

Вот и сейчас она поймала себя на этом, проследив, как небрежно спихнула Лида у порога свои сапожки и как они остались стоять посреди коридора носами в разные стороны. Вся — вылитый отец, и можно ли с этим бороться, нужно ли...

Лидочка чмокнула мать в щеку и вывалила на свой письменный стол содержимое портфеля.

— Гляди! — она раскрыла дневник и протянула пестревшую красным страницу. — Опять ни одной троечки! А по зоологии даже пять!

— Так и должно быть всегда, — как можно бесстрастней произнесла Вера Егоровна, взявшая за правило не захваливать дочь. — Теперь ты сама чувствуешь, как здорово ничего не пропускать.

Лида потянула мать за руку, и они вдвоем присели на диван.

— Ты знаешь, — сказала дочка, скручивая пальцем локон на кончике долгой, почти до пояса, косы, — мне кажется, что я могу учиться даже на одних пятерки... если захочу.

— Дело не в отметках, — вставила Вера Егоровна с извечной нравучительностью, от которой никак не могла избавиться, — их вообще не сегодня-завтра не будет...

— Подожди, не перебивай! — дочка по-отцовски свела брови на переносице. — Я тебе не про это хочу сказать... Знаешь, мне, конечно, не очень нравится проходить все эти инфузории, протоплазмы, вакуоли. Но все равно... зоология — мой любимый предмет. И я, наверно, пойду работать в заповедник, с животными. — Лида привычным манером закатила глаза к потолку и сложила руки на груди. — Если бы ты знала, мамочка, как мне хочется лета, чтобы поехать в деревню! Мне уже снится, как мы ходим за грибами, как я ношу воду... Поедем скорее, а?..

Она прижалась к Вере Егоровне и стала ее тискать, выказывая свою неумную, не растраченную на уроках энергию. Пришлось взять дочь за руку и подвести к окну.

Настроение у девочки вновь стало лиричным. Она обняла мать за плечи сзади — шестиклассница ростом с мамочку! — и умолкла.

— А ты знаешь, — сказала Вера Егоровна и сама удивилась, с чего это ей вспомнилось, — я в твоём возрасте написала первое стихотворение. Да-да, в двенадцать лет! Вот так же весной стояла и смотрела в окно, на сосульку. И у меня внезапно стало складываться в рифму... Висела сосулька, смотрела глазами замерзшими в свет, и солнце февральское слало сосульке холодный привет. Сосулька на солнце смотрела и тяжело вздыхала она, что скоро придется ей таять, что скоро наступит весна...

Вера Егоровна замолчала, глядя на купавшееся в снеговых лужах солнце, но Лида тут же затормозила ее:

— А дальше, дальше!

— Дальше?.. Все дни напролет она плачет, под нею уж лужа воды, у всех на глазах она тает, страдает от близкой беды. Со светом уж белым простилась, совсем исхудала она. И вдруг... покрепчали морозы. О радость, она спасена!

Договаривая, Вера Егоровна вопросительно глянула на дочку, но та ничего не сказала, только крепче обняла мать за шею и поцеловала в щеку.

Потом из своей комнаты Вера Егоровна слышала, как Лида мерила шагами паркетный пол и выразительно декламировала:

— И вдруг... покрепчали морозы. О радость!.. — здесь она, наверно, артистически взмахнула руками и сделала что-то вроде реверанса. — Она спасена!

Уже ночью, когда все окна в доме напротив были темными, и Вадим лежал рядом, спокойный и нежный после ласки, Вера Егоровна вдруг хохотнула про себя.

— Чего? — спросил муж, зная за ней привычку смеяться над произнесенным.

— Да я над собой... Какие мы, оказывается, в детстве простодушные!

Рука мужа на мгновение замерла на ее голове, потом снова стала перебирать волосы. И Вера Егоровна продолжила:

— Прочитала я сегодня Лиде свое первое стихотворение, а теперь вот подумала, какое оно... наивное.

— Я знаю его?

— Нет.

— А ну-ка...

Вера Егоровна прочитала, на этот раз без выражения, так, чтобы только передать содержание. Вадим молчал какое-то время, продолжая накручивать на палец ее волосы, потом остановился:

— Так как же спасена? Все равно ведь когда-то растает!

— Вот и я о том же...

Вадим обвил рукой шею жены, притянул ее голову к себе и поцеловал в висок. Другая рука поглаживала ее по спине.

— Что ты меня... как маленькую? — спросила Вера Егоровна, прячась у него на груди.

— Чтобы ты была сильная, как большая.

— Я всегда сильная, когда ты рядом...

— Вот и хорошо... Отдыхай.

Муж уже дремал, потому что вздрогнул, когда она вновь заговорила.

— Боюсь сглазить, — Вера Егоровна суеверно поплевала в сторону и отыскала ладонь мужа, — но мне кажется, что из дочки нашей может вырасти очень неплохой человек.

Вместо ответа Вадим благодарно сжал ее пальцы.

— А ты хотел, чтобы я... Как бы мы сейчас одни?

Он снова сжал ее руку, теперь надолго, а потом поднес к губам.

— Спасибо тебе...

— За что? — спросила она.

— За то, что ты есть.

— Это тебе спасибо. Огромное.

— Тебе...

Внутри у Веры Егоровны, будто она слышала эти слова впервые, что-то сладко съехало вниз.

— Старая я становлюсь, — предслезно сказала она.

— Ты у меня самая-самая хорошая, — медленно проговорил Вадим, наверное, уже засыпая, потому что не уловил, не предупредил зарождавшейся в ней внезапной душевной боли. И Вера Егоровна, вопреки здравому смыслу, вдруг ощутила острую неуправляемую обиду и долго еще лежала на спине, не шевелясь и глотая слезы.

## 3.

Если бы Русе сказали, что слезы счастья — это совсем другие слезы, вовсе даже не соленые, она не поверила бы. Да она и не знала до того дня, что можно плакать от счастья. Читала, конечно, про такое, но не верила. Мы о многом знаем понаслышке и из книг, но утверждаемся только в том, что познали сами. И только в этом, самими пережитом, убеждаем потом своих детей. Впрочем, так или иначе, всем приходится пережить все, только кому-то бледнее, а кому-то ярче. Но уж тут как повезет. И неизвестно еще, кто счастливей — тот, кто перенес сильную бурю, в сравнении с которой все остальное — жалкие, никому не нужные будни, или тот, кто вяло любил и вяло страдал, но зато уж и не тосковал по когда-то познанным высотам чувства. Останемся каждый при своем, основанном на собственном опыте, потому как другого нам испытать не дано...

Итак, они ехали в такси — Руся и *он*. Она видела совсем рядом его лицо, осунувшееся и настороженное, какое бывает у людей, постоянно ждущих подвоха. И только когда он оборачивался к ней, глаза его вспыхивали тлеющей добротой, захороненной в ожидании встречной беззащитной искренности. И Руся не пряталась, не скрывала себя истинную, как ничего не собиралась скрывать в себе и о себе. Перебирая в уме прошлое, она понимала, что все прежние удачи и даже ошибки, какими бы жуткими они ни казались, все это был путь к нему, сидящему теперь рядом, с ее рукой в своей руке. И что бы ни случилось завтра, как бы ни повернулась жизнь, этот миг всегда будет для нее точкой отсчета и спасения.

Они приехали в какой-то новый квартал, зашли в дом, позвонили в какую-то квартиру. Открыл нетрезвый мужчина.

А потом, когда они остались вдвоем, и она присела в кухне на краешек стула, он подошел, взял двумя ладонями ее голову и, повернув, чтобы глаза в глаза, сказал:

— Ну что?.. Гора с горой?..

— Человек с человеком... — в тон ему ответила Руся.

Она обомлела, когда впервые увидела его фотографию. Взглядом, бровями, даже строением черепа он был знакомый и родной, словно отец или старший брат. И тоска, вдруг пронзившая ее сердце, не показалась странной: близкие люди не должны теряться в веках. Но эту ошибку судьбы он исправить не мог — как и где он узнал бы про Русю? Потому и случилось, что встречи искала она, замирая от собственной дерзости.

— Я испугался в кафе, — вдруг признался он, — что ты попросишь, как другие, помочь опубликовать что-то твое. Стихи, например. Я подумал — вдруг это неталантливо? Как бы я сказал правду?

— А теперь... скаже... — Руся споткнулась. — Скажете теперь?

Он посмотрел на нее испытующе, словно вытягивая из норки за хвостик ее струхнувшую душу, и коротко, но уверенно провел ладонью по ее плечу:

— У тебя есть что показать мне?

Она ответила одними глазами.

— Хорошо, я посмотрю... после.

Руся потупила взор. Тогда он двумя пальцами взял ее подбородок и повернул лицо к себе.

— Ну?

Она поднялась и, еще не понимая, что делает, шагнула к нему. Получилось, будто они всегда знали друг друга. Высокий, он обнял ее сверху вздрагивавшими ладонями и поцеловал в затылок. А она, уткнувшись ему в подмышку, поняла обреченно, что даже запах его тела — знакомый и желанный для нее, точно она родилась уже с памятью о нем... и все ее прежние дни были направлены именно на это — на поиски его обладателя. Теперь, когда он был рядом, все вокруг теряло смысл, кроме ее желания обрести, наконец, себя такую, какой она была в прежней жизни, когда существовала единым целым с тем, к кому ее так тянуло сейчас.

И все же, переборов помрачение, она прошептала:

— Я хочу, чтобы вы посмотрели это до... Не бойтесь, это не стихи.

Он опять взял ее за подбородок и поймал прячущийся взгляд своим. Руся мгновение держалась, потом выскользнула.

— Я не хочу, понимаете, не хочу, чтобы было только *это*... Я хочу, чтобы вы знали, что у меня в душе...

— А ты думаешь, — он опять положил свои руки ей на уши, и она едва не потеряла сознание, услышав шумный ток его крови в ладонях, — ты думаешь, я этого не вижу и так, в глазах твоих?.. Глупый ты, дорогой человек... Как же это ты шагнула ко мне первой?

— Не знаю, — пробормотала Руся и закрыла глаза, потому что только теперь, леденя, представила, что ничего этого могло бы и не быть, если бы не ее отчаянность. Ни-че-го!

А следом ощутила на своих губах поцелуй, короткий, властный.

— Ну, — сказал он уже из-за стола, — показывай, что там у тебя.

И приготовил сигарету.

Что ее подтолкнуло в этот день положить в сумочку свои первые рассказы, оставалось только гадать. Руся никому их до этого не показывала и не собиралась. И вот...

Пока он читал, она стояла в прихожей, глядя на себя в зеркало и ненавидя собственное отображение. Ей стало вдруг неловко за свое старое синее платье, на котором для украшения она нашла вокруг стоечки дешевенькую пеструю тесьму; за свою прическу, сооруженную при помощи жиденького шиньона из собственных отроческих волос; за свои полные ноги, натуго обтянутые капроном. Но прежде всего ей было стыдно за беспомощность своих текстов и мыслей, среди которых он теперь вынужденно вылавливал что-нибудь достойное. И Руся, заливаясь краской, решила помочь.

— Если совсем плохо, вы скажите. Я переживу и не обижусь.

Он помолчал.

— Ты давно пробуешь? Иди-ка сюда!

Она подошла и ученически серьезно села рядом. Он говорил что-то о сюжете, деталях, синонимах, а Руся слушала и не понимала, слушала и не верила, что это его голос, что это он не отверг ее первых попыток и хотел бы проследить (он так и сказал — «хотелось бы проследить»), что из нее со временем получится. Господи, да могла ли она мечтать о большем счастье... А оно навалилось — и большее...

Всю ночь Руся не могла заснуть. Он тоже, забывшись, то и дело вздрагивал и поднимал взгляд в потолок:

— Мешает что-то... Как будто токи какие прожигают... Никогда такого не бывало. Правда.

— И меня... прожигают.

К утру стал звонить телефон, и продолжалось это с краткими перерывами в течение часа.

— Может, подойти? — не выдержав, шепотом спросила Руся.

— Не надо...

Он сел на диване, спустив ноги на пыльный исцарапанный пол чьей-то холостяцкой квартиры, и обнаружил худые мальчишеские коленки. Машинально погладив их, взял сигарету и закурил. Сказал глухо:

— Это жена моя.

И сказка закончилась. Руся почувствовала себя тактично, но твердо выставленной за ворота. Не им выставленной, нет, а другими силами, которым и противиться бесполезно.

Потом он нервно записывал на сигаретной пачке, не найдя в чужом доме клочка бумаги, как найти Русю в другом городе. И споткнулся после фамилии:

— А как же тебя зовут-то?

— Обыкновенно. Вера. Вера Егоровна.

— Почему же — Руся?

— Вера, Веруся, Руся... Бабушка меня так называла.

## 4.

Девичий голос, поразивший Веру Егоровну, звонил еще дважды, но всегда неудачно — Вадима не оказывалось дома: он в эти дни не писал, а бегал по издательствам, по совещаниям. И она решила сама назначить ему день встречи на заводе, зная, что он не обидится: лет десять она, по сути, являлась его секретарем, и он всегда был ею доволен. Впрочем, даже будучи неудовлетворенным, муж умел скрывать свои чувства, чтобы не обидеть ее. И она никогда не узнала бы о том, что стала жертвой очередной его тактичности, если бы Вадим сам впоследствии не сознавался, что провел ее. Он был как ребенок, не умеющий долго хранить тайну, и от этого она испытывала к нему еще большее тяготение.

Они повстречались в уже зрелом возрасте, в Москве, на курсах профессиональной переподготовки. У Вадима за Уралом была проблемная семья, у Веры Егоровны с мамой осталась десятилетняя дочка, рожденная в кратких незарегистрированных отношениях. Оба не искали любовных приключений и думали лишь о карьере, которая грозила оборваться из-за перестроечных авантюр. В одной комнате их свела случайность в виде сломавшейся у Веры портативной пишущей машинки. А потом они провели целый вечер за разговорами, и Вадим попросил разрешения не уходить в свой холодный одинокий номер. Они уснули на разных диванах, не помышляя ни о чем греховном. Просто время наступило такое, что человеческое тепло и доверчивость стали редкостью, и за них хотелось держаться, не отпускать. А под утро, когда первые трамваи уже громыхали внизу и в коридоре шумели поднявшиеся по своим надобностям соседи, Вадим вдруг перешел к Вере. Она проснулась оттого, что он обнял ее и положил голову на грудь. Не сразу она сообразила, что он спит и сам не знает сейчас, что находится не в своей постели. Видимо, какое-то сновидение заставило его искать материнского надежного тепла.

Никакой дневной здравый поступок не смог бы произвести на Веру такого впечатления, как это бездумное переселение Вадима под ее защиту. Но именно то, что все случилось на бессознательном уровне, и сразило ее: выходит, она так внезапно и прочно вошла в его жизнь, что разделить их надвое будет непросто. Вскоре поняла она и другое: как бы ни поступил Вадим, ушел бы из прежней семьи или остался там, она все равно родила бы Лидочку. Случившееся с ними не было легкомысленной интрижкой, после которой хочется отмыться. Это была любовь, но иная, зрелая, вовсе не похожая на ранние увлечения.

Ее всегда удивляли девчонки, спешившие замуж. Несомненно, случается, что счастливая судьба выпадает кому-то сразу и навсегда. Однако большинство женщин до преклонного возраста не перестают носиться по ателье и парикмахерским, надеясь с помощью службы быта обрести никак не дающийся им душевный покой. И они ведают не ведают, что вовсе не в том его ищут.

Рядом с Вадимом Вере стало совершенно ясно, что те, кто накануне старости полон суетливости и страстей, не осознавая завершенности чувств, те не счастьем обделены, нет, терпением и верой. Поспешили ухватить свой кусок, чтобы быть... как все — при семье, при ребенке. А внутри... Но ведь истинно твое никто не схватит, не отнимет. Жди. А уж через что придется пройти — одному богу известно. И не кори судьбу, не пеняй на несправедливость. Жди.

Вера поняла, что дождалась, тогда, в той комнатке, где вспыхнул неожиданный роман с Вадимом. Их близость была не самоцелью, а следствием душевного тяготения и благодарности друг другу. Как еще могут взрослые неустроенные люди выразить свою признательность за понимание и поддержку во всем? Вот и случилось то, что кажется противоестественным только ханжам.

Для них обоих эта связь превратилась в серьезное открытие. Оказалось, что страсть, принимаемая в юности за любовь и усердно разжигаемая, способна становиться иной, не бунтующей, не агрессивной, а умиряемой. И смысл существования мужчины и женщины друг подле друга по большому счету состоит не в усилении ее пламени, не в лелеянии его, а в погашении, умиро-

творении. Так строго и осмысленно хранят огонь в очаге, не давая ему сжечь весь дом, ведь то, что входит в понятие семейных отношений, гораздо шире телесного притяжения. Суть даже не в банальном физическом продолжении рода, не в воспитании детей, а в развитии души, упрятанной в земную оболочку. В болезненном, надрывном устремлении ее обрести верного понимающего попутчика — величайшее счастье! А в том, что на Земле иного пути, не плотского, для вызревания незримой материи не придумано, не наша вина. Вот мы и не можем успокоиться, пока интуитивно не обретаем объятия, которые помогают нам установить непрерывную связь с нашей духовной частью.

Впрочем, понимание этого пришло к Вере не сразу, а с наступлением истинной зрелости, уже после множества жизненных передрыг, сопряженных с развалом страны. Теперь ей и самой казалось чудовищным, что она когда-то мучительно выбирала между газетой, в которой отработала со студенчества до тридцати пяти, и появлением на свет младшей дочери. Знала бы та, что было противовесом ее жизни!.. Конечно, теперь своим детским умом она приветствовала все, что вершилось вокруг, и верила в незыблемость рождавшихся на глазах новых представлений о жизни. С великим трудом ей удавалось править такие представления, чтобы не дать им пустить глубокие корни. Но Вера Егоровна понимала, что главные домашние столкновения еще впереди. Она хорошо помнила себя давнюю, юную и убежденную, что без ее активного участия жизнь может остановиться, исказиться, рухнуть. Не многие так позволяли себе вмешиваться в чужие судьбы, веря, что делают святое дело. Но незаметно убежденность эта стала слабеть, и только с появлением Вадима Вера Егоровна сумела осознать, что не обстоятельство стали иными, а в корне изменилась она сама. Открыто писавшая обо всем, что видела, думала и чувствовала, она ощутила однажды, что нет в ней больше накала, который гнал в командировки, а затем толкал к письменному столу. Усталость или мудрость поселились в душе? Хотелось больше быть дома, с родными, и выстраивать не всеобщее, а свое позднее семейное счастье. Разве зависит, разве должно оно зависеть от событий вокруг и от людей, правящих страной? Разве могут они приказать или запретить Вадиму замирать, заключив ее в объятия, и безмолвно стоять посреди квартиры, поджидая, когда к их неделимому союзу наитием притянется дочка и замрет в попытке обхватить руками их обоих?

Со временем Вере Егоровне стало казаться, что она всегда была именно такой, поглощенной заботами о хозяйстве, о муже, ребенке, о здоровье — и, в разумных пределах, о литературе. Многие, наверное, и принимали это как должное, и уважали ее за это. Однако тот, кто знал когда-то не Веру, но Русю, с ее горячностью, устремленностью в несбыточное, с ее непреклонностью в достижении цели, тот бы до сих пор не смог поверить, что две эти женщины — одно и то же лицо...

Вера Егоровна давно не гнушалась приготовлением садовых разносолов и выпеканием пирожков, словом, всем тем, что прежде вызывало у нее недоумение и холодок снисходительности. Став редактором в издательстве, она почти все дни находилась дома, чередуя кулинарные заботы с правкой взятых с собой рукописей. И все в теперешнем течении жизни устраивало ее настолько, что изредка в сердце проникал знобящий ветерок, неизвестно с какой стороны дующий. Она старалась не останавливать на нем свое внимание, и все-таки иногда, в какие-то особо счастливые покойные минуты, он вдруг пронизывал ее насквозь и швырял оборвавшееся сердце вниз, в жуткую пропасть. Врач, не находивший в ее раннем климаксе ничего беспокоящего, советовал все-таки больше бывать на свежем воздухе. Вера Егоровна вняла этим наставлениям и, прихватив с собой Лидочку, выходила вечерами во двор.

Однажды, гуляя в своем квартале и наперегонки скользя по тонкому льду на лужах, они увидели Вадима Семеновича — и не одного. Девушка в белой вязаной шапочке с загнутым, как у Буратино, кончиком медленно шла подле и не спускала с него глаз, рискуя поскользнуться. Вскоре так и случилось, и Вадим Семенович торопливо и нескладно подхватил попутчицу под локоть.

Вера Егоровна невольно подумала, как хорошо смотрится рядом со зрелым мужчиной юное существо, совсем не так, как она сама возле Вадима. И не потому даже, что она на два года старше и что женщина увядает рано и мгновенно. Просто умные мужчины с возрастом становятся все привлекательней, и неглупые девушки не могут не обратить на них внимания.

В тот миг, когда мать и дочь оказались лицом к лицу с Вадимом Семеновичем и его спутницей, в памяти у Веры Егоровны вдруг ярко-ярко всплыла Руся, идущая навстречу кумиру своей молодости. Это было так неожиданно и так сильно, что ноги отказались идти.

— Ве-ера-а... — услышала она смятенный голос мужа, который тут же поспешил представить свою собеседницу. — А это Оленька, тот самый руководитель того самого объединения, о котором я тебе рассказывал.

— Здравствуйте, — нежно сказала Оленька и протянула Вере Егоровне свою тонкую ладошку, предусмотрительно вынутую из варежки. — Очень рада познакомиться.

Вера Егоровна кивнула и ненадолго задержала застывшие пальцы девушки в своих. Ее вновь поразил голос, высокий и напевный, вызывавший желание слушать и слушать его бесконечно.

— А мы вот троллейбус ждем, — пояснил Вадим Семенович. — Оленька живет в десятом микрорайоне.

— И мы с вами подождем, да, мамочка? — сказала Лида и переметнулась от материнского рукава к отцовскому. — Прокати меня, пожалуйста, а?

— Ли-да... — сказал Вадим Семенович сдержанно и показал глазами на девушку. — Как же я оставлю человека?

Лида набычилась и исподлобья глянула на смущенную соперницу. Тогда Вадим Семенович рассмеялся и дважды протянул дочку по ближайшей застывшей луже. А потом придержал за руку и решившую проехать улыбчивую Оленьку.

Когда ее увез троллейбус, вся семья, не торопясь и глубоко вдыхая прохладный воздух, дошла до дома. Потом долго пили в кухне чай и смеялись над чем-то обычным, показавшимся вдруг очень смешным.

Вадим Семенович после прогулки уснул быстро, положив свою руку под голову жене и послушно оставив ласки, на которые она не отозвалась. Дыхание его было спокойным и чистым, как у младенца, и Вера Егоровна долго не смела шевельнуться, боясь потревожить его отдых. Сон не шел и не шел, и она, мысленно путешествуя в минувшем, вдруг набрела на давно забытый, а теперь живо представший островок.

Она — вернее, Руся — приехала тогда по зиме в Москву, не догадываясь, что встреча с ним вскоре случится сама собой. В сумочке был раздобытый его домашний адрес и тетрадь с вопросами для курсовой работы. Такое объяснение визита перед его женой было вполне безобидным, однако страх не покидал Русю всю дорогу.

Выходило, что зря, потому что за нужной дверью никого не оказалось. Два часа она простояла на седьмом этаже блочного дома, прислушиваясь к шагам вниз, и когда уже перестала надеяться, лифт остановился и выпустил раскрасневшуюся женщину с двумя девчушками. Каждая из них сжимала синей варежкой по рыжему апельсину.

— А я к вам! — выпалила Руся, смело глянув в глаза жене.

— Так уж и ко мне, — усмехнулась та, вставляя ключ в заветную дверь. — Не ко мне, а к мужу моему... Только вам не повезло! — она отворила квартиру, подтолкнула через порог дочерей и, стягивая с них шубки, добавила: — Проходите, что же вы... Он уехал поработать на родину и не скоро будет. Ему что-нибудь передать, когда вернется?

— Да нет, — давя в себе постыдный жар, ответила Руся. — У меня тут курсовая...

— А-а... — то ли равнодушно, то ли недоверчиво протянула жена и, скрывшись в кухне, забрала посудой. — К нему тут многие теперь ходят...



Говорить больше было не о чем, но и уйти вот так, вдруг, было нелепо. Руся продолжала стоять в тесной прихожей, разглядывая, как девочки снимают валенки. Им явно не нравилось Русино присутствие, и она ловила то один, то другой настороженный взгляд. Наконец старшая, кое-как стащив с себя рейтузы, прижалась к стене и, вгрызаясь в нечищенный апельсин, с вызовом произнесла:

— А тебе я не дам!

Очень кстати в приоткрытую входную дверь просунулась голова соседки.

— А я думаю, что тут такое — все настезь, никого нет! А тут во-от кто пришел...

Она принялась тискать девчонок и громко переговариваться с их матерью.

Руся выскользнула на площадку.

Даже теперь, через четверть века, воспоминание это обожгло Веру Егоровну, словно она только что влетела в пахнущий лаком лифт и нажала кнопку в никуда. Осторожно высвободив мужнину руку из-под своей головы, она повернулась набок. Но сон по-прежнему не приходил, будто ее намеренно оставляли наедине с прошлым. И даже потом, сквозь дрему, оно являлось и являлось, как заевшая пластинка, все одним и тем же местом:

— А тебе я не дам!

## 5.

Что за осень выдалась в тот год! Сил не было сидеть в кабинете, и Руся выпросилась в командировку, чтобы побродить где-нибудь в глуши по ярко увядающему лесу.

«Ах, зачем ты, бабье лето, по-над Русью настоялось, позавесило осины золотую пеленой...» — невольно сочинялось у нее, пока автобусик катил между деревнями и перелесками, то и дело ныряя под гору и выныривая вверх, на холмы, с которых вновь открывались голубые ладошки озер. На вылинявшем небе не было ни облачка, и вокруг была такая неподвижность, точно замерло все навеки — и никогда больше не посмеют сюда, в золотое оцепенение, явиться ни снега, ни метели, никогда не будет здесь больше и зеленых брызг, и горчащего запаха первых лопнувших почек. Все замерло на той звенящей томительно-мучительной ноте, от которой беззвучно плачет сердце, зная, что этот миг, как и все на свете, быстротечен.

Сколько раз вот так же убегала Руся от себя... Сколько раз упрятывала себя в глушь лесов, чтобы лишиться возможности, ощутив смертельную тоску, сесть в поезд и поехать искать *его*... Она понимала, что это было бы глупо, наивно, бессмысленно, но что она могла поделать с сердцем, которое помнило о нем каждый миг и не хотело слушать никаких доводов! Да, все в его жизни давно решено и устроено, да, ничего уже не поделаешь, не изменишь, и все же, все же... неужели нет никакой, совсем никакой надежды?.. Неужели те часы вместе были для него обычным мужским приключением, простой случайностью, ложью?.. И его слова про обжигающие токи, шедшие сверху, и его «человечек», с заботливой тревогой обращенное к ней, — это тоже было игрой, притворством?..

Душа отказывалась верить в подобное. Однако ж он не искал ее с тех пор, не нашел, хотя больше года минуло — целая вечность. Не затосковал? Не ощутил их утраченное во времени родство, зовущее к соединению? Или сдерживал себя, сознавая пути обязательств и ответственности за близких? Но ведь их случайная тайная встреча не обокрала, не сделала никого несчастней. Напротив, счастливей! Руся даже в публикациях между строк угадывала отголоски того дня. Значит... дело? Да, его держало дело, которое было смыслом жизни, ради него он скрывался от бурь! И Руся, думавшая так, вновь покорялась судьбе: будь как будет. Ей хватало знания, что он есть на этом свете, и в самый отчаянный миг она имеет возможность приползти к нему за поддержкой.

Но еще не время было проявлять беспомощность. И Руся нарочно отправилась подальше от железных дорог, на берег лесного озера. Там вместе с матерью жили две сестры-красавицы, молодые доярочки, оставленные комсомолом после школы поднимать животноводство. В прошлый приезд она сходила с ними поутру на ферму, чтобы помочь, чем сможет, однако толку оказалось мало, и теперь этот опыт повторять не хотелось. Да и на душе было по-прежнему маотно, нужно было побыть одной.

Руся вышла вечером на берег, села на мостки, спустив ноги в воду, и присидела так до самой темноты, пока на горизонте не погасло красное тревожное зарево. Утром она даже не услышала, как девочки убежали на дойку. Мать-старушка тоже не подавала признаков жизни, чтобы не тревожить гостью.

На рассвете резко открылась форточка, и Руся вскочила с бухающим сердцем. За окном не было ни дуновения ветерка, даже листва на ближних багровых осинах не шелестела. Не придав событию значения, Руся снова провалилась в сон.

Через сутки почтальон принес известие, что ее просили позвонить в редакцию. Подобного не бывало никогда, значит... это несчастье, несчастье, заранее знала она и, вихляя на дребезжащем велосипеде по колхозной дороге, гадала только — где, с кем, когда?! А потом, уронив телефонную трубку на почте, пошатнулась и едва успела вышагнуть за порог, в пожухлую траву. Когда очнулась, обнаружила над собой качавших головами старух, сбежавшихся на вой. Ей помогли подняться, посадили на велосипед и подтолкнули вперед.

Ехала она потом в кабине грузовика, вцепившись пальцами в свою пустую сумку; ехала в темном фургоне в обнимку с огромной лохматой собакой, ловившей языком ее слезы; ехала в автобусе с гомонящими подростками, игравшими в «города»; а потом в общем вагоне поезда забилась на третью полку и до Москвы не открывала глаз.

Она не видела той бездны, в которую его опускали. Она стояла, зажата чужими телами, не имевшими возможности двинуться вперед, и тихо-тихо скулила. А когда над его пристанищем в человеческий рост вырос холм из осенних букетов, и родные и приближенные уехали на поминки, она тоже пробралась к могиле и опустила на нее свою бордовую ягодную кисть.

В этот беспросветный миг не стало на свете и еще одного человека — Руси.

Однако сколько бы лет ни проходило и каким бы нереальным ни представлялось ей случившееся в далекой юности, всякий раз, открывая форточку, Вера Егоровна ощущала внутри угловатое движение чего-то, так и не отболевшего, суверенно боящегося вестей, приносимых на рассвете странствующим ветром.

В один из весенних вечеров, застигнутая врасплох этим воспоминанием, она стояла возле окна в спальне и смотрела вниз, туда, где в неторопливых сумерках мелькали на шоссе стремительные огни машин. Вере Егоровне не было больно оттого, что она вновь мысленно пережила утрату. Это было уже отстраненное, будто и не ее, горе, о котором она могла даже спокойно рассказывать, со всеми деталями переживаний, но без слез и сердечных спазмов, какие случались с ней в подобные минуты прежде.

Чтобы Вера осталась жить после потери, судьба послала ей дочку. Тоже вот нерасшифрованный закон отношений между людьми... Откуда взялся этот уважаемый серьезный человек, доселе не бывавший в кругу ее знакомых? Что его привело в их город? Что заставило обратить внимание на Русю?.. Слишком просто было бы ответить, что ее молодость, — мало ли вокруг каждой девушки солидных мужчин... Однако чудо притяжения свершается не столь часто, как могло бы. Выходит, опять судьба, предрешенность? Тогда Вере не важен был ответ на этот вопрос, главным было уцепиться за жизнь. И она вся собралась на том, что запульсировало в ней после исповедального вечера с этим седовласым чутким человеком. Она не искала его и никогда больше не видела, а дочку долго растила на легенде о погибшем отце-летчике. Душа же лечилась временем, и настал тот день, когда внутри обнаружилась новенькая

розовая, почти младенческая ткань, говорящая о готовности еще раз довериться провидению.

Тогда и вошел в ее жизнь Вадим, понятный ей целиком. Схоронив в себе все прежнее, вместе со стремлением к сочинительству, она желала лишь одного — чтобы спокойно жилось и работалось ему. Он оказался не просто ее продолжением или отражением, он был как она — близнец по мыслям, чувствам, желаниям, и все, что она не могла и не смела спросить у него, она читала в себе, отвечая на его нужды как на свои собственные — вовремя, полно и самозабвенно. Все, что не было обговорено между ними словами, становилось явным обоим через жесты, интонации, взгляды. Все, о чем вдруг начинала маетно тосковать ее душа, Вера Егоровна очень скоро обнаруживала между строк новых рассказов мужа. Но и все, что вытворяли с Вадимом светлые и мутные потоки несущейся жизни, становилось явным ей из тех же самых рассказов.

В тот вечер у окна ей хорошо думалось, и не столько об их отдельном или совместном прошлом, сколько о будущем, которое представлялось устьем широкой-широкой реки, почти готовой уже навек раствориться в водах океана, потому не способной ни на поворот вспять, ни на ответвления в сторону. Она понимала, что могут быть и будут еще пороги и отмели, но что они значили по сравнению с тем, что осталось позади...

Телефон зазвонил резко и коротко, настойчиво. Вызывала по междугородке старшая дочь, Дина. Она репортерски отчиталась о делах дома и на службе, похвалилась гонорарами, поездкой в Болгарию и сигнальным экземпляром первой книжки. Вера Егоровна подробно рассказала о Лидочке и коротко о муже, с которым у Дины были сложные отношения.

Потом опять был междугородный звонок. Спрашивали Вадима. Его прежняя жена. Пришлось поговорить Вере Егоровне, поскольку мужа дома не было. Супруга хотела знать, не передумал ли он вскоре побывать на родине, чтобы навестить в больнице лежавшего после операции сына. Вера Егоровна сообщила, что нет, не передумал — и уже купил билет. Она даже порылась в письменном столе Вадима и продиктовала в трубку номер рейса и дату. В ответ услышала благодарность. И вернулась к окну почти спокойная. Хоть и виделись они с этой женщиной всего однажды, очень давно, разговоры с ней по телефону не были редкостью и не выбивали Веру Егоровну из равновесия. Она давно смирилась с тем, что счастье не бывает неомраченным, потому всегда готовила себя к худшему, чтобы радоваться, когда неприятности случались невеликими.

И все-таки что-то угнетало Веру Егоровну в тот вечер. Она заглянула в спальню к Лидочке. Та читала в постели с ночником; оторвавшись от книги, притянула мать к себе и обняла за шею.

— Посиди со мной, а?

Вера Егоровна чмокнула дочку в висок, на котором билась выпуклая, как у Вадима, жилочка, и сказала:

— Ты не сердись, но что-то мне нездоровится... В другой раз, ладно?

Лидочка повесила голову, но тут же заговорщицки спохватилась:

— А тогда...

— Ну... что? — вяло отозвалась Вера Егоровна.

— Прочитай мне еще раз про сосульку, а? Я забыла, как там в конце...

Смотри, — дочка, жестикулируя, начала декламировать в постели. — И солнце февральское слало сосульке холодный привет... Ну, как дальше?

— Сосулька на солнце смотрела... — начала было Вера Егоровна, но тут же остановилась и любовно шлепнула дочку по ягодицам. — Спи-ка лучше, сосулька!

— Ну, ма-ам!

— Не мамкай. Все!

Она вернулась к окну, почему-то облюбованному ею сегодня, и снова уставилась вниз, на дорожку, ведущую к дому. Та серела в полумраке вытаявшим из-под снега асфальтом, и редкие прохожие торопились по ней домой —

скоро по новому развлекательному каналу телевидения должен был начаться нашумевший американский фильм, не рекомендованный детям.

Вадим обычно не смотрел такие картины, но сегодня обещал тоже присоединиться к отдыхающим массам, поскольку вечер все равно пропадал — после встреч с аудиториями работать он не мог. На этот раз он был приглашен в один из вузов, в какой — Вера Егоровна не запомнила, поскольку договаривался он сам, а контролировать его было не в ее правилах. Однако часы показывали уже около полуночи, а муж не возвращался.

Вера Егоровна убедилась, что дочка уснула, прошла в гостиную и включила настенный экран. Он тотчас же загорелся зеленовато-голубым светом, следом замелькали английские титры.

В это время зазвонил телефон. Вера Егоровна брала трубку, уверенная, что это Вадим, и не ошиблась.

— Веруся, — сказал он тревожно, — ты волнуешься, наверно?

— Ты же знаешь, — уклончиво и как можно спокойней сказала она и приглушила в телевизоре звук. — Ты скоро?

— Понимаешь, — Вадим слегка замялся и прокашлялся, — застрял я тут у одного человека... Я потом расскажу тебе о нем. И вот — досиделись до фильма... Ты не очень обидишься, если я посмотрю его не дома? — Он помолчал, дожидаясь ответа, и добавил: — В кои веки собрался, и на тебе... обидно!

— Ну, конечно же, — с пониманием сказала Вера Егоровна. — Только потом попроси таксиста, чтобы не очень гнал, а то они ночью лихие!

— Смешная ты у меня, Русенька... Ну что со мной может случиться...

Голос Вадима стал мягким и благодарным. А Вера Егоровна вся съезжилась от этого неловкого в его устах *Русенька* и полчаса сидела недвижно, уставившись в немой экран. Затем она погасила его и снова встала к окну в спальне.

На улице было тихо и безлюдно. Время двигалось как-то неравномерно, то мчалось вперед резкими прыжками, то тягуче ползло. Иногда Вера Егоровна поддавалась дреме; очнувшись, проводила сухими ладонями по векам. Но тогда ей начинала мерещиться на углу соседнего дома знакомая парочка, не желавшая расстаться, и душа молча корчилась от боли. Воображение начинало рисовать картину возвращения Вадима: его деланное оживление, его неловкую, потому что впервые обращенную к Вере, ложь, его нарочитые мужские притязания, так явно говорящие о содеянном недавно грехе. Даже пальцы похолодели, будто снова ощутили ледяную ладошку Оленьки.

Начинало светать. Сама того не сознавая, Вера Егоровна начала вслух вспоминать стихотворение о несчастной сосульке, а когда дошла до покрепчавших морозов, спасительно увидела, что напротив их дома остановилась легковая машина, и из нее, легко толкнув дверцу, вышел Вадим. Она узнала его и по силуэту, и по походке, и просто по тому, как трепетно, словно они не виделись целую вечность, забилося сердце.

Пока Вадим шел к подъезду, поднимался по лестнице, искал в карманах вечно куда-то западавшие ключи, Вера Егоровна не отходила от окна и опять задавала себя вопрос, казавшийся самым главным на свете:

— Как же — спасена? Ведь все кончается...

И не могла ответить на него однозначно. Да и был ли вообще такой ответ? И зачем ей нужен был он, категоричный, как сама юность...

Послышалась возня на площадке. Наверное, Вадим опять не сумел отыскать ключи и теперь собирался звонить. Уж лучше бы постучал...

Вера Егоровна вздохнула, усилием воли приходя в себя, и шагнула к дверям. Все равно надо было идти открывать мужу, ведь другого входа, как и выхода, у них не было.

Марина МАТВЕЕВА

## КИНО «БЕЗ ТЕБЯ»

\* \* \*

И снова, как в душную сказку, войду домой,  
где ждет меня мой суровый сепаратист.  
Не нравится «ангел мой» — будешь «черт немой».  
И выключи новости — будь хоть минуту чист...

Я чертова женщина, я не могу смотреть  
всечасно: убили, сожгли, разбомбили дом...  
Я плакала, помнишь? И будет со мною впредь.  
Сначала увижу тебя, а потом — потом.

Ты хочешь быть там. Я хочу, чтобы ты был здесь.  
Пусть это смешно, но убьют тебя — я умру.  
Тебя не берут, потому что уже не весь,  
уже не мальчишка — не сможешь ты, как в игру,

играть в эту правду, раскрашивать в бело-синь  
с подстрочником красного черный, лохматый свет.  
Ты слишком серьезен, покинутый ассасин.  
Ты ждешь лишь приказа. Не нужен тебе ответ

на сотни вопросов сведенного бытия,  
и несть философии, Бога тем паче несть.  
Ты мыслишь иначе, чем полусвятая я,  
чем те, у кого перебитое сердце есть.

Меня отучают писать о себе, свое:  
о том, как мне больно и страшно, — не полусловь.  
Иначе — «слабачка». Но им невдомек: дает  
мне силы моя незастреленная любовь.

Чем новости слушать, пойду, испеку пирог.  
Занятье рукам — полусладок его бальзам.  
Не нужно мне видеть: ты снова — как за порог —  
туда, где нет места ни Господу, ни слезам.

\* \* \*

Ты старше меня.  
Ты раньше умрешь.  
Я стану невидимой миру вдовою:  
Не рвать мне волос с показательным воем,  
Не сметь демонстрировать черных одёж.

Ты круче меня.  
Ты раньше умрешь.  
Есть Божий предел и для самых отважных.  
Моими молитвами выживешь дважды,  
А в третий... другие пусть молятся тож!

Ты лучше меня.  
Ты раньше умрешь.  
Такие нужнее в раю — для примера.  
А я эпизодом приду на премьеру  
Кино «Без тебя». В сердце — тоненький нож...

Ты любишь меня.

\* \* \*

Дочь капитана Блада уходит в блуд:  
в Гумбольдта, в Гамлета, в гуру пустыни Чанг...  
Папочка рад. Он пират, и ему под суд  
страшно... ну так хоть дочка не по ночам

шляется, а накручивает свой бинт  
мозга — сокровища ищет на островах.  
Только когда-то сказал доходяга Флинт:  
«Слава проходит, а после — слова, слова...»

Будут пятерки, дипломы и выпускной,  
«Звездочка наша!» и старых доцентов взрыд...  
Хлопнется дверь, захлебнется окно стеной...  
Станет сокровище и непонятный стыд.

Папочкин «роджер» взвивается для старух  
в касках (на случай студентских идей-обид).  
Дочь капитана Блада — из лучших шлюх:  
с Гумбольдтом, Гамлетом и Геродотом спит.

\* \* \*

Мы несвободны — от смены зимы и лета,  
в рабстве у солнца, дождя и причуд природы...  
В холод не выйдешь из кожи своей раздетым —  
в холод людской пустоты за пустой победой.

В холоде этом она поражает очень:  
даже свершилось — как будто и не бывало.  
Мы все равно несвободны — от дня и ночи.  
Даже проспав трое суток, умрешь усталым.

Мы все равно несвободны. За что сражаться?  
За несвободу свою от чужой неволи?  
Криноиде\* от камня не оторваться...  
Креноидеи на душу — морскойю солью

льются, волнами врываясь в земные поры,  
только земле эта соль — как ежу алмазы.  
Две несвободы схлестнутся в семейной соре,  
тысяча рабств революцией плюнет в массы —

передерутся, помирятся, перепьются,  
а протрезвев, успокоятся в новых клетках.  
Мы все равно несвободны — от революций,  
вспышек на солнце и счастьяшек наших редких.

Свободолюбцы страдают — и поделом нам.  
Тихие винтики счастливы? Ну, спасибо!  
... Милый, даю тебе в сердце пять лет условно,  
можешь уже не скрывать каземат и дыбу.

\* \* \*

Господи!.. Как он растет — кипарис! —  
что наконецник копыя Святогора...

... Сможешь ли, дерзкий поэт-футурист,  
дать ему слово? А в слове — опору?

... Буря грозит иступить острие,  
злобно ломая зеленое тело...

Господи!.. Это — само не свое!..

И не поэтово дерзкое дело.  
«Юноша бледный», готовый на риск  
словораспила для мозгопрогрева,  
видишь ли, «кипа», «пари» или «рис» —  
тоже слова.  
Но дрова, а не древо.

Верю в тебя. Ты талантлив, речист —  
Смело влезай на сверхумную гору!

... Боже!.. Как рвется, крича, кипарис  
из-под земли! ... словно дух Святогора...

\* Морская лилия, животное класса иглокожих.

\* \* \*

Ушла в себя луна  
за дымною стеною.  
Для будущих гробов  
качаю колыбель.  
Зачем тебе страна  
с гражданской войною?  
Зачем тебе любовь  
ее — да не к тебе?

Для будущих могил  
уже готовы ямы.  
Чуть досок дострогать,  
чуть недоплетен кант...  
Зачем тебе? Беги!  
Я — Родина? Я — Мама?  
Мне нужен — ренегат!  
Мне нужен — эмигрант!

Стоишь. В руках — стихи.  
Протягиваешь руки...  
О, крылья журавлей,  
презревших южный путь  
за широту стихий  
расейских... на поруки.  
Вот верности твоей  
предательская суть.

«Я за тебя умру!»  
А я тебя просила?  
«Я за тебя...» А я,  
уставшая вдоветь,  
из ослабевших рук  
столь многих отпустила,  
на стольких подняла  
изгнанническую плеть...

И вот, стою одна  
за дымною стеною.  
Для будущих гробов  
качаю колыбель.  
Аз есмь еще — страна!  
С гражданской... виною.  
Еще храню любовь  
мою — да не к тебе.





Валерий ТАРАСОВ

## ТРИ СУДЬБЫ

Документальное исследование

*Валерий Николаевич Тарасов (1937—2010) — известный новосибирский журналист, литератор, автор документально-очерковых книг и романа «Посиди у камня на дороге». Его творческие интересы, всегда разносторонние, имели одну особенность — они были тесно связаны с Сибирью, с ее прошлым и настоящим. В последние годы своей жизни вместе с новосибирским краеведом Вадимом Петровичем Капустиним он работал с материалами, связанными с историей создания и становления органов ВЧК в Новосибирске. Один из очерков этой объемной работы, открывающий еще одну малоизвестную страницу сибирской истории, мы предлагаем вниманию читателей.*

Трудная задача писать о людях тех стремительных революционных лет. Им выпала на долю война, да такая, что сразу не разберешь, кто друг тебе, а кто заклятый враг.. И не национальность, не происхождение определяли врагов. Весь мир поделился на «красных» и «белых»...

То было время надежд и тяжелых испытаний, какие едва ли выпадали на долю другого народа. Не было в этой борьбе сторонних наблюдателей, и целые страны и народы волею судеб втянулись в орбиту гигантской битвы...

Судьбы тех, о ком мы расскажем, — лишь песчинки в урагане дней и событий.

### **СУДЬБА ПЕРВАЯ,**

*о которой узнаем из автобиографии, сохранившейся в тоненькой папке личного дела Петра Ефимовича Щетинкина*

*«Я — сын бедняка-крестьянина, родился в 1884 году 21 декабря в селе Чуфилowo Неверовской волости Касимовского уезда Рязанской губернии.*

*От матери остался трех лет. Отец работал у деревенского кулака в кузнице, получая 10 рублей в месяц. Такой скудный заработок, конечно, не мог удовлетворить семью, состоящую из трех детей, старшему из которых было девять лет. Крестьянское хозяйство даже не оправдывало труда, так как всей земли в то время приходилось на душу около одной десятины...*

*В 1895 году я пошел в шахту, в которой пробыл всего лишь два года, а затем был взят в Москву на работу по плотницкой части. На этой работе я провел время до октября месяца 1906 года.*

*25 октября того же года был призван по жребию на военную службу...*

*В 1913 году окончил школу подпрапорщиков, а в 1914 году вместе с 29-м Сибирским стрелковым полком ушел на фронт в качестве фельдфебеля пятой роты...»*

Простой безродный фельдфебель награды получал только за храбрость и пролитую за отечество кровь. Какой же солдатской доблестью нужно отличиться, чтобы всего за год стать кавалером всех четырех степеней Георгиевского креста (по уставу полному георгиевскому кавалеру даже генералы должны первыми отдавать честь), и в дополнение к ним получить две Георгиевские медали! В русской армии таких людей за всю ее историю наберется не много.

До конца войны Пётр Щетинкин получит еще три офицерские награды — Станислава 3-й степени, Анны 3-й степени, Станислава 2-й степени — и закончит войну в декабре 1917 года в чине штабс-капитана.

1 марта 1918 года Пётр Ефимович Щетинкин вступает в РКП(б). В торжественной обстановке ему вручают билет № 123182 и назначают начальником уголовного розыска Ачинского уезда.

В то время уголовный розыск, помимо борьбы с преступниками, выполнял функции Чрезвычайной Комиссии. Перед Щетинкиным и его сотрудниками стояла задача выявления и ликвидации контрреволюционных организаций и подавление саботажа на хлебном фронте.

Когда белочехи подошли к Ачинску, Петра Ефимовича, учитывая его боевой опыт, назначают командиром красногвардейского отряда. Из недовольных колчаковской властью крестьян он формирует Красный добровольческий отряд в количестве 80 человек. Активные действия этого отряда начались в декабре 1918 года и продолжались до 1 января 1920 года. К приходу Красной армии отряд насчитывал 22 тысячи бойцов при 153 пулеметах и шести орудиях...

С первого дня Пётр Ефимович переводит красногвардейцев на казарменное положение. Его поддерживают старшие, опытные солдаты. И командир сам учит молодежь трудной науке конного и пешего боя, стрельбе без промаха.

*«В своих отношениях с подчиненными Пётр Ефимович всегда был чутким и хорошим товарищем, — вспоминает один из его соратников — Виньке. — В раз-решении тех или иных вопросов он исходил лишь из интересов дела, формализма не переносил. Будучи сам хорошим стрелком, он приложил много энергии, чтобы и в своих подчиненных развить любовь к стрелковому делу...»*

*В то время нельзя было найти ни одной винтовки, которая не была бы проверена и пристрелена самим Петром Ефимовичем... Как-то раз он из трехлинейной винтовки на расстоянии ста шагов тремя пулями пробил пятикопеечную монету».*



Молодой П. Щетинкин



П. Е. Щетинкин —  
полный георгиевский  
кавалер с фронтовыми  
друзьями

В донесениях белогвардейского командования Щетинкина именуют «страшным предводителем красных, который, как призрак, появляется внезапно и так же внезапно исчезает». За поимку или убийство Щетинкина назначается награда в 50 тысяч рублей золотом.

Но посланные для уничтожения партизан отряды белых возвращаются порядком поистрепанными или не возвращаются совсем. Колчак решает разом покончить с мятежным районом и направляет на подавление партизан значительные силы. Им удалось окружить Северо-Ачинский отряд. В неравных боях щетинкинцы несут большие потери. Пётр Ефимович понимает, что долго не продержаться. И тогда он принимает отчаянное решение — пробиваться через кольцо окружения на реку Ману для соединения с Заманским партизанским соединением.

Ранним утром Щетинкин внезапно атаковал белых. Не давая опомниться противнику, североачинцы прорвались к железной дороге.

И здесь произошла его первая встреча с казачьей сотней барона Унгерна. Сам барон повел в атаку своих головорезов, но было поздно — красный отряд пересек железную дорогу и скрылся в тайге.

Колчаковцы решили, что красные попались в ловушку, прижаты к непроходимым перевалам и пропастям Саянского хребта...

Но Пётр Ефимович принимает решение — идти через горы. Более чем 700-километровый переход по заснеженным перевалам без продовольствия и теплой одежды казался немыслимым, но Щетинкин хорошо знал своих бойцов — «железный поток» двинулся в горы...

Через головокружительные пропасти, по узким горным тропинкам они переправили Саянский хребет и неожиданно появились в тылах колчаковских гарнизонов. 19 апреля они вышли на Ману и соединились с партизанской армией А. Д. Кравченко. На заседании штаба было принято решение — зачислить героический отряд в ряды армии отдельным Северо-Ачинским полком. Командиром полка назначили Петра Ефимовича Щетинкина, а через некоторое время его избрали помощником командующего армией...

В начале декабря партизанский штаб получил от Реввоенсовета 5-й армии новое боевое задание — захватить железную дорогу и отрезать колчаковские войска.

На коротком военном совете решили разделить армию на две боевые единицы. Под командованием Щетинкина часть ее устремилась на Ачинск. Другая часть во главе с Кравченко взяла направление на Красноярск.

Двойным ударом партизанских сил и регулярных частей под Ачинском белым нанесено сокрушительное поражение. Январским утром 1920 года партизаны соединились с 27-й дивизией Красной армии. А вскоре с согласия Реввоенсовета республики народная армия Кравченко — Щетинкина переформировалась в Первую Енисейскую стрелковую дивизию 5-й армии с сохранением прежнего комсо-



П. Е. Щетинкин (крайний слева) в Монголии

става. Это было признание боевой мощи и боевой готовности народного ополчения и его командиров.

Гражданская война в Сибири подходила к концу. Перед военными командирами ставятся новые задачи.

Вот как пишет об этом периоде сам Пётр Ефимович в автобиографии:

*«4 июля распоряжением Сибревкома я был назначен Уполномоченным Центральной комиссии по восстановлению разрушенных хозяйств Сибири по Енисейской губернии. Первым ачинским уездным съездом Советов в июле месяце 1920 года был избран Товарищем Председателя уездного Исполкома, а затем членом Укома. Губернским съездом Советов был избран членом Губисполкома и делегатом на 8-й Всероссийский съезд Советов».*

Но работу съезда пришлось отложить из-за чрезвычайных обстоятельств.

*«Мандат.*

*Выдан Реввоенсоветом республики П. Е. Щетинкину на запись добровольцев для формирования при Окрвоенкомате Восточной Сибири пехотного и кавалерийского полков, дивизиона легкой артиллерии и конно-пулеметного взвода из числа бывших красных партизан, рабочих, коммунистов и сочувствующих...»*

26 августа 1920 года Щетинкин обращается к друзьям по оружию, к енисейским партизанам с призывом вновь встать на защиту Республики. Сформированный и возглавленный им 21 стрелковый полк в сентябре 1920 года принял первый бой за Перекоп. За особую храбрость и находчивость Михаил Васильевич Фрунзе назовет его «сибирским Чапаевым». Только в декабре, после разгрома Врангеля, приедет Пётр Ефимович в Москву.

*«Удостоверение.*

*Предъявитель сего, командир 21 полка 23 стрелковой дивизии тов. Щетинкин Пётр Ефимович действительно командирован на 8-й Всероссийский съезд Советов в качестве делегата, согласно мандата № 12755...»*



Комдив  
Красной армии  
П. Е. Щетинкин



П. Е. Щетинкин (в первом ряду второй справа) с членами правительства МНР и командирами монгольской армии

Жена говорила ему: «Хватит мотаться, отдохнул бы после фронта». Пётр Ефимович только улыбался в ответ: «Подожди, родная, скоро наладим мирную жизнь, тогда и отдохнем...»

В марте 1921 года по предложению Дальневосточного Секретариата Коминтерна его направляют в Монголию. Приказ штаба 5-й армии предельно лаконичен:

*«П. Е. Щетинкин назначен начальником и военкомом отдельного Красного добровольческого отряда для борьбы против Унгерна...»*

Туда же, в монгольские степи направили и К. К. Рокоссовского. Но сначала в его судьбе была Красная гвардия...

## **СУДЬБА ВТОРАЯ,**

*начало которой рассказал писатель Иван Стаднюк  
в романе «Москва, 41-й»*

*«Прошлое Константина Константиновича Рокоссовского отличалось от прошлого его одногодков и соратников по службе в кавалерийских войсках, может, только оттенками биографии. Родился он в Великих Луках — глубинке России. Отец его был по национальности поляк, работал железнодорожным машинистом, мать — простая русская женщина. Детство будущего полководца проходило в Варшаве, столице королевства Польского, бывшего западной окраиной Российской империи. Уже в четырнадцать лет Костя остался сиротой, познал тяжкий труд чернорабочего, ткача, камнетеса...»*

1 августа 1914 года Германия вторглась в пределы России.

В польский город Груец из Самары прибыла 5-я кавалерийская дивизия. Среди пополнения оказался и рабочий-каменотес Константин Рокоссовский. Через несколько дней учебы в дивизии Рокоссовский отлично справлялся с норовистым конем по кличке Ад, владел пикой и саблей...

В составе 5-го Каргопольского драгунского полка пройдет он все ужасы Первой мировой войны, не раз отличится храбростью и находчивостью, станет георгиевским кавалером и младшим унтер-офицером.

7 ноября 1917 года нелегальная армейская газета «Окопный набат» опубликовала манифест Военно-революционного комитета:

*«Настал решительный час! Началась борьба за переход всей власти в руки самого народа... Мы, революционные солдаты, должны быть сильными, чтобы наши братья на улицах Петрограда могли быть уверены в нас... Необходимы полное спокойствие и организованность... Не забывают, что мы ведем войну на два фронта...»*

И здесь перед Константином Рокоссовским судьба поставила сложную задачу: с кем быть? Самые близкие друзья-поляки, даже брат Франц, пошли в правые националистические формирования.

Константин вступил в Красную гвардию.

В конце июня их направляют в Екатеринбург, где формируется 3-я революционная армия. Отряд драгун вошел в нее в полном составе вместе со своими командирами.

Удержать Екатеринбург не удалось — слишком неравными были силы, и третья армия с боями отступает в глубь России, стараясь сдержать натиск белых войск. Всю ночь отряд отступал болотами к деревне Дикая Утка, пробираясь сквозь топи, потерял почти всех лошадей. А наутро их внезапно атаковали казаки. Среди необстрелянных местных красногвардейцев началась паника. Судьбу боя решил единственный пулемет, который Рокоссовский протащил через трясины на своем коне по кличке Жемчужный. Драгунам удалось построиться для атаки и «пробить» путь для соединения с главными силами.

В тяжелых боях в 30-градусные морозы полк наносит колчаковцам несколько решительных ударов. В одном из сражений под Рокоссовским убит его конь,

с которым прошли они не одну тысячу километров. Уральцам победа досталась нелегкой ценой. В строю осталось только шестьсот человек. Полк отвели на пополнение.

В конце мая 1919 года Уральский полк был разделен на два дивизиона. Командиром 2-го Уральского отдельного кавалерийского дивизиона численностью в 500 сабель назначили Константин Рокоссовского.

В первом же бою им выпала нелегкая задача — первыми пробиться через реку Кильмезь и открыть путь для переправы главных сил. Разведав болотистую пойму, молодой командир обнаружил брод. Оставив небольшую часть дивизиона для отвлечения, Рокоссовский делает стремительный обходной маневр и с тыла врывается со своими конниками в расположение белых. С этого внезапного штурма началось решительное наступление, закончившееся полным разгромом 2-й Сибирской армии Колчака.

В конце июля 1919 года дивизион Рокоссовского вливается в 5-ю Красную армию под командованием М. П. Тухачевского.

В конце октября дивизион Рокоссовского участвует в стремительном наступлении на линии Курган — Петропавловск. Перейдя ночью по льду Ишима, отряд проскользнул незамеченным между колчаковскими частями и у села Вакоринское ударил в тыл белым.

В разгар боя Рокоссовский заметил на опушке леса батарею противника. С двадцатью оказавшимися поблизости кавалеристами он бросился в атаку. Белые дали залп, но картечь засвистела уже над головами. Ворвавшись на батарею, Рокоссовский осадил коня около офицера и приказал:

— Развернуть орудия! Беглым огнем, пли!

И бросившихся в контратаку белых встретил огонь собственной артиллерии. Паника в рядах противника позволила форсировать Ишим основными силами красных. Путь к Омску был открыт.

За проявленный героизм и находчивость командир 2-го Уральского отдельного кавалерийского дивизиона Константин Рокоссовский получил свою первую награду в Красной армии — орден Красного Знамени.

Но вскоре боевому командиру пришлось надолго расстаться со своим дивизионом. Вот как рассказывают об этом авторы выпущенной в Польше книги «Маршал двух народов»:

*«Узнав из допросов пленных, что на станции Караульная расположился штаб колчаковцев, Константин поднял по тревоге дивизион. После ночного марша, на рассвете 7 ноября измученные всадники, ведомые пленными, незаметно подошли к станции. Сориентировавшись, что охрана небольшая, Рокоссовский решил атаковать врасплох. Бойцы подошли к домам, не встречая сопротивления. Однако свыше десяти офицеров стремились выскользнуть на бричках. Он догнал их с группой всадников, требуя сдаться в плен. Офицеры начали беспорядочно отстреливаться. Один из них прицелился прямо в Рокоссовского, но сабля командира оказалась быстрее. Лошадь вынесла его на несколько десятков метров от места схватки, а когда развернулась, подъехавший Николай Шабалин заметил, что Рокоссовский ранен. Спустя некоторое время они узнали от пленных, что его ранил командир дивизии генерал Воскресенский, погибший от удара шапки комдивизиона... Это было его первое тяжелое ранение за более чем пятилетний срок пребывания на фронте.»*

14 января его дивизион под командованием Николая Шабалина вместе с 5-й армией вошел в Новониколаевск, а 16 января в бою под Красноярском они участвовали в разгроме армии генерала Войцеховского.

Подлечившись в ишимском госпитале, Рокоссовский переехал в Новониколаевск, а отсюда, на санях, через тайгу догнал 311-й стрелковый полк.

После ночного перехода к Щегловску они узнали, что недавно под усиленной охраной город покинул огромный обоз белых. Рокоссовский с небольшим отрядом бросился в погоню по параллельной дороге через тайгу. Неожиданно в нескольких сотнях метров увидели двигавшийся в три ряда обоз. Даже с первого взгляда было видно, что силы слишком неравны, а глубокий снег мешал внезапной атаке.

Но нескольких пулеметных очередей оказалось достаточно. Колчаковцев охватила паника, охрана разбежалась, бросив около десяти тысяч саней, пушки, пулеметы, оружие, продовольствие и награбленное имущество. Саперы больше суток расчищали дорогу. Такого зрелища Рокоссовский не видел за все время своей боевой службы...

23 января 1920 года его назначают командиром вновь сформированного кавалерийского полка.

В мае полк вышел к советско-монгольской границе. Ему поручена охрана более чем семидесятикилометрового участка в одном из самых глухих и опасных районов.

Именно этот участок выбрал барон Унгерн для вторжения на территорию советской республики.

Первый бой с передовыми частями Унгерна под командованием генерала Резухина небольшой отряд Рокоссовского принял 30 мая 1921 года. В одной из атак Рокоссовского ранили в ногу...

### СУДЬБА ТРЕТЬЯ,

*которую избрал прибалтийский барон Роман Унгерн фон Штернберг*

Предки Унгерна, прибалтийские феодалы, прославились еще в далекие века своей жестокостью и грабительскими набегами на суше и на море. Об одном из них рассказал писатель-декабрист А. А. Бестужев-Марлинский в своей повести «Ревельский турнир»:

*«...С новыми конями устремились навстречу: один с уверенностью в победе, другой с злобою мщениия... Сразились, и Унгерн пал.*

*— ...Ты отнял неправдою землю у Буртнека. Откажись от ней, или через минуту тебе довольно будет и той земли, которую теперь закрываешь телом...*

*— Я на все согласен!*

*— Слышите ли, герольды и рыцари! Я лишь на этом условии дарю тебе жизнь...»*

Несколько столетий спустя последний потомок этого рода Роман Унгерн фон Штернберг отвечал на вопросы народного обвинителя Емельяна Ярославского на процессе чрезвычайного революционного трибунала в Новониколаевске.

*«Обвинитель: Сколько лет вы насчитываете своему роду баронов?»*

*Унгерн: Тысячу лет...*

*Обвинитель: У вас были большие имения в Прибалтийском крае и Эстляндии?»*

*Унгерн: Да, в Эстляндии были большие имения, сейчас, верно, нет...»*

Из речи Емельяна Ярославского:

*«Барон Унгерн... принадлежит к одному из самых аристократических родов прибалтийских баронов. Когда-то его предки участвовали в Крестовых походах... Мы знаем, что эти походы сопровождались ужасными грабежами...»*

*Барон Унгерн... получил образование в Павловском училище... Попад в 1908 году в Забайкалье, он потом в течение многих лет связан с Забайкальем, с Монголией, с Тибетом...»*

Нужно представить Монголию начала прошлого века, чтобы понять честолюбивые мечты барона. Он словно вернулся во владения своих предков с неограниченной властью феодалов. Правда, в Монголии местным князькам приходилось делить власть с ламами и тибетскими священнослужителями.

Роман Унгерн быстро осваивает монгольский язык и письменность... И скоро становится желанным гостем в юртах богатых феодалов и первым их ходатаем перед русским консулом...

Неожиданно в его далеко идущие планы врывается война. Повинуясь приказу, войсковой старшина\* барон Унгерн отбывает из Монголии в действующую армию. Несколько смелых вылазок его вымуштрованных казаков приносят ему офицерский Георгиевский крест, с которым он не расстанется до конца своих дней. А в том, что солдаты выполнят любой его приказ, войсковой старшина не сомневался. Позже он сформулирует свои взгляды на дисциплину:

*«Войско всегда должно воевать. Это только в последние 30 лет выдумали, будто воевать нужно за какую-то идею. Раньше идей не знали, а воевали очень хорошо... Войско должно служить своему хозяину, а хозяин тот, кто ему платит. Солдат должен быть послушен, и делать все без рассуждений. Для поддержания дисциплины нужны крутые меры...»*

И когда началась революция, барон собирает остатки царского воинства в «дикую дивизию», добавляет в нее бандитов и уголовников и с этой армией безжалостных потерянных людей уходит в Монголию.

### Барон в роли Чингисхана

Перед Унгерном встает вопрос: «К кому прибиться?» И он останавливает свой выбор на атамане Семёнове. Тот сразу производит его в чин генерал-лейтенанта и разрешает сформировать собственную конную дивизию.

Новоиспеченный генерал немедленно приступает к делу. Своими ближайшими помощниками он назначает прославившихся своей жестокостью генерала Резухина и полковника Казагранди.

Под своим командованием Унгерн объединил белоказаков, две сотни из отряда Анненкова, шайки самых отпетых бандитов из китайцев, корейцев и бурят... А чтобы охотнее шли в бой, отдавал им на растерзание мирное население захваченного района.

Весь этот сброд барон именует Особой Азиатской конной дивизией.

Позже, на суде в Новониколаевске, он сам расскажет о порядках, которые держали дивизию в повиновении:

*«Обвинитель: Какие вы применяли наказания?»*

*Унгерн: Расстрел и повешенье.*

*Обвинитель: А палки?*

*Унгерн: К солдатам — да.*

*Обвинитель: Сколько палок давали в наказание и как били палками?*

*Унгерн: Били палками по телу. Давали до ста ударов.*

*Обвинитель: Садилы вы людей на лед?*

*Унгерн: Да, когда стояли в палатках...*

*Обвинитель: На раскаленную крышу сажали?*

*Унгерн: Да».*

«Дикого генерала» с его дивизией быстро заметило и японское командование. Он получает предложение, к которому шел всю жизнь.

Из заключения по делу бывшего начальника Азиатской конной дивизии генерал-лейтенанта Романа Фёдоровича барона Унгерна фон Штернберга:

*«Следствием установлено, что Унгерн являлся проводником части панмонгольского плана, выдвигаемого Японией, как одного из средств борьбы с Советской Россией (заявление японского министра иностранных дел Учида в японском парламенте об идее образования нового государства из самоуправляющихся под протекторатом Японии — Маньчжурии, Монголии, Тибета и “некоторых русских дальневосточных областей”...))»*

\* Офицерское звание в казачьих войсках, соответствовавшее подполковнику.



Унгерн мгновенно представил себя единовластным самодержцем целой империи. Куда там атаману Семёнову с его идеей возрождения в России Учредительного собрания. Между ними произошел крупный разговор, и Семёнов изгнал собственного генерала из армии. Но Унгерна столь крутой поворот только порадовал — теперь он мог распоряжаться Азиатской дивизией по своему усмотрению, а японское командование заверило его в полной поддержке... но раскошелиться не торопилось: пусть барон докажет, что ему под силу борьба с Красной армией.

Он решил попробовать роль «спасителя желтой расы». Такая программа приглянулась по душе и представителям свергнутой императорской династии Цин, и крупным феодалам, и буддийским и тибетским священнослужителям.

Он пишет письма маньчжурскому принцу, киргизскому Буруй Хану, тибетскому Далай-ламе... И его идеи, опирающиеся на сабли «дикой дивизии» и на поддержку японского командования, находят отклик в сердцах представителей высшей знати, не на шутку напуганной успехами красных отрядов под командованием Чойбалсана.

Ламы тут же подтверждают старинное пророчество о русском бароне-спасителе (забыв, что к русской нации Унгерн имеет весьма отдаленное отношение), а маньчжурский принц присваивает ему высший княжеский титул «вана» и присылает желтый халат, зеленый паланкин, «трехглазое» павлинье перо и желтые поводья...

Получив все знаки отличия монгольского полубога, пристроив на халат генеральские погоны и Георгиевский крест, барон Унгерн фон Штернберг предстал перед своим войском, пополненным монгольскими отрядами. И тут же глашатаи на русском и монгольском языках зачитали приказ генерала:

*«По праву старшего военачальника, — говорилось в нем, — не прекращающего своей борьбы с красными, я объявляю себя командующим вооруженными силами, находящимися на территории Монголии...»*

И «дикая дивизия» устремилась на Ургу (ныне Улан-Батор). Внезапно атаковав небольшой гарнизон революционной армии Монголии, Унгерн захватил город. Первая крупная победа! Нужно поощрять измотанное долгими переходами воинство. И он отдает город на растерзание своим головорезам...

Через несколько дней Урга тонула в крови. Убивали всех, кто попадался на пути — женщин, детей, стариков... Оказавшиеся здесь русские купцы тоже не избежали трагической участи...

Через несколько дней разграбленный и опустошенный город уже не мог прокормить завоевателей. В августе 1920 года Унгерн направляет войска для захвата Внешней Монголии. К этому времени его дивизия, пополненная согнанными со всей округи кочевниками-монголами, бурятами и китайцами, насчитывает около пяти тысяч сабель...

«Дикая дивизия» мечется от селения к селению, силой отбирая запасы продовольствия. При малейшем сопротивлении — сжигает поселения, оставляя на их месте дымящийся пепел и горы трупов.

Государственный обвинитель Е. Ярославский скажет на заседании трибунала в Новониколаевске:

*«...Он уходит кормиться на монгольские хлеба. Он уходит — и там колодецы наполняются трупами, там мельничные колеса перемалывают живых людей, там сгорают дети, женщины, расстреливаются старики и 80-летние старухи... Он берет себе в помощники Сипайло, который теперь арестован и тоже предстанет перед судом народа. Это человек, который колотушками бьет людей по голове и бросает их в колеса паровозного винта...»*

Зверства Унгерна и его подручных приводят в ужас даже монгольских феодалов, но теперь барону до них нет дела — облеченный властью и знаками отличия, он уже видит себя новым Чингисханом.

Но для создания империи барону нужны союзники понадежнее.

Унгерн пишет призывные письма атаману Семёнову, Анненкову, Бакичу, Кайгородову и другим лидерам белогвардейского движения. Но главная его надежда — японская армия. И долгожданное известие, наконец, приходит — японцы высадили десант и приближаются к Верхнеудинску...

### У барона появляются «соратники»

«Дикая дивизия» превратилась в серьезную угрозу для молодой советской республики. Значительно пополнив ее в монгольских землях и укрепив дисциплину, барон Унгерн при поддержке японцев и остатков белогвардейских войск готовился перейти границу России и перерезать Транссибирскую магистраль — главный и единственный путь снабжения Красной армии, ведущей боевые действия против интервентов на Дальнем Востоке. Оторванная от центра, лишенная людских ресурсов, подвоза оружия и продовольствия, армия не представляла бы серьезной опасности для интервентов, получающих постоянное подкрепление через морские порты. Не нужно быть великим стратегом, чтобы понять значение Великой железной дороги для осуществления планов японцев и американцев по разделу и колонизации богатейших дальневосточных и сибирских земель.

И «дикая дивизия» барона Унгерна оказалась для осуществления захватнических планов иностранных держав как нельзя кстати.

На том этапе и военные штабы интервентов, и дипломаты обещают Унгерну исполнение его самых честолюбивых желаний — пусть поможет, а дальше видно будет, по крайней мере от великой азиатской империи они и сами не откажутся.

Понимали всю серьезность положения и в Москве.

И в это время на имя Ф. Э. Дзержинского из далекого Новониколаевска пришла шифровка от его давнего товарища Полномочного Представителя ВЧК по Сибири И. П. Павлуновского\* — перехвачено письмо Унгерна к Кайгородову, руководителю одного из самых крупных бандформирований в Горном Алтае. Под началом Кайгородова насчитывалось около двух тысяч человек. Причем основу составляли бывшие царские офицеры, остатки колчаковского воинства. В послании барон призывал Кайгородова немедленно присоединиться к нему для похода на Россию и захвата узловых станций Транссибирской магистрали.

Дзержинский немедленно вызвал Павлуновского в Москву.

— Если Унгерн хотя бы ненадолго перережет Сибирскую железную дорогу, положение может стать катастрофическим.

— А что если направить к барону наших чекистов?

— Хитер барон и беспощаден. К тому же в его контрразведке опытные английские агенты. Если заподозрят — расправятся немедленно и жестоко...

— Есть у меня на примете несколько преданных нам бывших царских офицеров. А возглавить операцию может Борис Николаевич Алтайский, тоже бывший царский офицер. В совершенстве владеет четырьмя языками. Нужно только снабдить ребят хорошей суммой.

— С этим сложнее. Валютой и золотом страна небогата...

— Да не нужно, Феликс Эдмундович, золота. В Монголии самая ходовая валюта — царские сто- и пятисотрублевки.

— Ну, этого добра у нас — хоть стены оклеивай...

Многое об этой уникальной операции сибирских чекистов мы узнали из переписки новосибирского писателя, в прошлом чекиста, Георгия Лосьева и профессионального разведчика Бориса Алтайского — непосредственного участника

\* Павлуновский Иван Петрович (1888—1937) — член РСДРП(б) с 1905 года. Член Военно-революционного комитета при Петроградском Совете. С началом гражданской войны находился в органах ВЧК: начальник особого отдела 5-й Красной армии, первый зам. начальника особого отдела ВЧК, начальник особого отдела Восточного фронта. С 1920 по 1925 г. — Полномочный представитель ВЧК по Сибири, с 1926 по 1928 г. ПП ОГПУ по Закавказью. В последующие годы — зам. наркома РКИ, начальник главка в Наркомате тяжелой промышленности. Член ВЦИК СССР и кандидат в члены ЦК ВКП(б). Репрессирован и расстрелян в 1937 г. Посмертно реабилитирован.

тех далеких событий, направленного во главе небольшой группы для работы в «дикую дивизию» барона Унгерна. Эта переписка сохранилась стараниями внучки писателя Светланы Борисовны Климович, и благодаря ей мы можем сегодня цитировать подлинные воспоминания Б. Алтайского.

Из отзыва Б. Алтайского на советско-монгольский художественный фильм «Исход»:

*«Операция “УНГЕРН”, как и все другие операции ВЧК, проходила под руководством Ф. Э. Дзержинского.*

*Возникла она в связи с тем, что от Полномочного Представителя ВЧК по Сибири Ивана Петровича Павлуновского на имя Дзержинского поступила срочная шифровка о том, что нашей контрразведке удалось перехватить письмо от... Унгерна — эсерам.*

*Павлуновский вместе со Смирновым (предсибревкома) был вызван в Москву.*

*Вести оперативно-разведывательную работу на территории дружественного государства не разрешалось, в связи с чем потребовалась санкция партии, правительства и лично В. И. Ленина.*

*По согласованию с правительством МНР была дана команда — действовать. Унгерну было написано ответное письмо, которое ему повез уполномоченный ПП ВЧК по Сибири Волохов, переодетый в форму офицера старой армии.*

*Так началась работа с бароном.*

*Со стороны противника работала главным образом английская разведка, руководимая генералом Ноксом и майором Каубери.*

*Нашим чекистам противостояли такие разведчики, как... Александр Даль и его красавица жена Галина. Александр Даль, он же Владимир Владимирович Юдин, он же майор английской службы Генри Сейсиль был старым коллегой Сиднея Рейли.*

*...В фильме не показаны участники борьбы... Х. Чойбалсан, Д. Сухе-Батор, П. Е. Щетинкин, Хатан-Батор, Мусоржаб, начальник 35 дивизии Красной армии К. А. Нейман и командир 35 полка К. К. Рокоссовский».*

Мы приводим эту достаточно длинную, но, согласитесь, интересную и познавательную цитату о первой международной операции сибирских чекистов, сразу очерчивая тех, кто возглавил ее с советской и монгольской сторон.

Тесно переплелись в решительной схватке судьбы красных командиров П. Е. Щетинкина, К. К. Рокоссовского, прибалтийского барона Унгерна фон Штернберга и его нового друга остзейского барона Зоммера.

С сожалением можем констатировать, что многие детали уникальной операции сибирских контрразведчиков, наверное, так навсегда и останутся тайной. И тому есть причины.

В одном из писем о подготовке операции «Унгерн» Борис Алтайский рассказывает, какого режима секретности требовали Дзержинский и Павлуновский от молодых чекистов (в сложнейшей операции участвовали молодые неопытные ребята, которым было чуть за 20 лет).

Из письма Б. Алтайского Г. Лосьеву:

*«...Принцип Дзержинского тебе известен: знает один — тайна, двое — может быть, тайна, трое... нет никакой тайны.*

*Даже деньги выдавались не из кассы, а лично, и без всяких расписок.*

*...Письменно ничего не оформлялось, а если оформлялось, то по оформлению немедленно сжигалось по указанию Ф. Э.*

*Кто и как перехватил письмо Унгерна, И. П. не говорил, и я не знаю.*

*Хорошо бы найти Кольку Волохова. Он бы рассказал много, как возил письмо Унгерну».*

А тем временем Унгерн с нетерпением ждет двухтысячный отряд Кайгородова из Алтая и досадует на непонятную задержку. Тем более в письме, переданном ему поручиком Николаем Волоховым, алтайский атаман клятвенно заверил баро-



**Барон Унгерн — командующий «дикой дивизией» в Монголии**

только направит его по ложному следу, но и посеет изрядную сумятицу в самой «дикой дивизии».

О самой группе и ее молодых участниках нам известно немного. Кроме Волохова в письмах Алтайского упоминается колоритная фигура Бориса Шумяцкого. Он входил в группу под конспиративной фамилией — Червонный. «Был он высокого... роста... с курчавой шевелюрой и громогласным басом, что производило на всех и особенно монголов сильное впечатление...»

Сам же Алтайский получил аристократический псевдоним — барон Зоммер. Из письма Б. Алтайского Г. Лосьеву:

*«Зоммер кончал Павловское военное училище и был выпущен прапорщиком в 24 Симбирский полк (конечно, по легенде).*

*Сыпным тифом Зоммер болел на Урале.*

*Бароны Зоммеры, как и Унгерны, давно порвали связь с Германией и были бароны прибалтийские.*

*У Зоммера деньги были, но расходовал он их по-немецки расчетливо».*



**Борис Алтайский на курсах контрразведки**

на в полной преданности, и что в самое короткое время он расправится с остатками красных отрядов и немедленно перейдет монгольскую границу для соединения с его армией.

У барона далеко идущие и тщательно продуманные планы, одобренные его английскими консультантами и японскими дипломатами. Пополнив свою дивизию примерно до десяти тысяч штыков, он легко справится с противостоящими ему отрядами, у которых в общей сложности наберется не больше тысячи красноармейцев. Пробившись на территорию России, взорвет байкальские тоннели, перережет Транссибирскую магистраль и при поддержке японской армии присоединит к своим владениям все Забайкалье, а может прихватить и кусок Дальнего Востока.

Забегая вперед, скажем — ни селенгинские казаки, ни буряты, ни атаман Семёнов, ни Кайгородов, ни даже обещавшие высадить 25-тысячный десант японцы и не думали оказывать помощь «мессии и спасителю желтой расы». Но об этом барон Унгерн узнает слишком поздно. Дезинформация группы Бориса Алтайского не

И чтобы получить хотя бы скудные данные о работе группы — вернемся к историческим поискам Георгия Лосьева, достоверность которых он постоянно подтверждал у Бориса Алтайского:

*«И “Зоммер”, и все члены агентурной группы, засланной в логово барона Унгерна, выдали себя за отставших от колчаковской войсковой группы генерала Войцеховского...»*

*В Монголии имели хождение царские денежные купюры сторублевого и пятисотрублевого достоинства: Держинский снабдил ПП ВЧК огромными суммами этой отмененной в России валюты.*

*Разведчики Павлуновского в Монголии, в Урге (так раньше назывался Улан-Батор) “собрали” деньгами Николая Второго и приобрели*

себе в актив множество унгеровских офицеров-“единомышленников”, любителей КВЗ (как тогда называли офицеров-пьянчуг: “как бы выпить, закусить”).

Таким образом, засланная Иваном Петровичем Павлуновским разведывательная группа вносила моральное разложение в высший комсостав Унгерна, а те сеяли уныние и неверие в возможность соединения с Кайгородовым».

Но сделаем небольшое отступление, чтобы понять, как молодые парни смогли провести унгерновскую контрразведку, которая состояла в основном из английских профессионалов высочайшего класса.

В подготовке группы принимал участие заместитель ПП ВЧК по Сибири Михаил Тихонович Ошмарин. Судьба этого чекиста сама достойна легенды. До революции он работал в лучшем московском ресторане «Эрмитаж Оливье». Ресторан считался самым престижным в первопрестольной, и Михаил Тихонович еще с тех времен знал всю московскую и петербургскую знать. И, естественно, предполагал, о чем и о ком в первую очередь будет расспрашивать Унгерн. Но передадим слово самому руководителю агентурной группы Борису Алтайскому. В одном из писем Георгию Лосьеву он расскажет, как их экзаменовал Ошмарин:

*«С Ошмариным барона Зоммера познакомил Павлуновский. Для проверки легенды барона. Ошмарин как работник “Эрмитажа Оливье” знал все великосветские сплетни и имена-отчества господ. Познакомившись с бароном, он начал интересоваться об изменениях в бомонде, произошедших в связи с революционными событиями.*

*Начал он с заводчиков:*

*— Что с Густавом Густавовичем Леснером, крупным питерским хозяином завода?*

*О нем барон не знал, но знал, что дочь Леснера, Мария Густавовна, пока в Петрограде, в своем особняке, на Каменноостровском, против садоводства Эйлера. Муж ее, Карл Карлович Неллис, собирался ехать к Деникину.*

*На вопрос, бывают ли близкие друзья Унгерны и Колчаки у Неллисов и Штормеров, барон ответил:*

*— Последний раз встретил Аделаиду Людвиговну и от нее знаю, что семья Александра Васильевича в Париже. Куда уехали Унгерны, сказать она не могла. Об этом знает Анна Васильевна Сафонова, которая находится в Сибири.*

*Задав еще несколько вопросов, Ошмарин убедился в подлинной принадлежности барона к высшему обществу и проникся к нему профессиональным уважением, хотя был уже не работником ресторана, а большим начальником.*

*После моего возвращения из командировки в Монголию, узнав подлинную мою биографию, Михаил Тихонович покраснел до корней волос и изрек:*

*— Вот это здорово!*

*Так мы стали с ним друзьями».*

Весной отряд Щетинкина численностью 400 штыков прибыл в поселок Торей для встречи с командующим монгольскими революционными войсками Чойбалсаном. Был на встрече и командир Сухе-Батор, тогда еще молодой человек, не имевший военного образования, до фанатизма преданный Щетинкину.

Пока в штабе шло совещание о совместных действиях, русские и монгольские бойцы соревновались в кавалерийской сноровке, стрельбе из винтовок и луков.

Именно на этом совещании Чойбалсан сообщает Щетинкину радостную новость: по просьбе правительства Монголии его отряд усиливается новыми воинскими частями и преобразуется в экспедиционный корпус.

Штаб объединения обратился к населению от имени Реввоенсовета 5-й армии:

*«Красные войска Российской Советской Федеративной Социалистической республики вступили на территорию Монголии, но монгольский народ не должен опасаться за свою судьбу. Не врагами, а друзьями-освободителями идут наши войска в пределы Внешней Монголии. Красные войска несут войну не монгольскому народу, а убийце и грабителю барону Унгерну...»*

И новое воинское соединение — Особый Западный отряд — во главе с П. Е. Щетинкиным выступило в направлении монгольской границы. Более месяца длился переход. Они шли трудными тропами по самому короткому пути. Не хватало продовольствия, многим бойцам не досталось коней, и они шли пешком. В иные дни на каждого приходилось по небольшому кусочку мяса и горсти сухарей. Но ни разу не услышал Пётр Ефимович жалоб на трудности пути.

### Конец «Унгернианы»

Долгожданное известие, что войска японцев вторглись на территорию России и штурмуют Верхнеудинск, а атаман Семёнов взял Читу, принес Унгерну именно барон Зоммер, возвратившись со своим отрядом из глубокой разведки.

Унгерн решает больше не ждать подкрепления с Алтая во главе с Кайгородовым. Вместе с монгольскими отрядами, бригадами Резухина и Казагранди в Азиатской дивизии больше пяти тысяч сабель.

Барон срочно очищает свое войско от больных и раненых, выделив им небольшой отряд охраны, которому отдан приказ: «В случае нападения красных — всех уничтожить».

3 мая 1921 года Унгерн отдает приказ по дивизии: «...Провести наступление на территорию Советской России, стремясь выйти на линию железной дороги».

Бригаде Казагранди предписано отвлечь главные силы красноармейцев, обеспечив самому Унгерну беспрепятственный переход границы. Но прежде полковнику предписывалось доставить к основным силам обоз с оружием и продовольствием.

В спешном порядке Унгерн назначает командирами самых преданных и безжалостных офицеров и форсированным маршем идет навстречу японским войскам. Главный приказ он отдает в день выступления: «Уничтожить всех, кто встретится на пути, и расстреливать на месте любого, кто попытается дезертировать, невзирая на звания и прошлые заслуги».

Позже он объяснит: «Я убирал хвосты, чтобы красные не узнали о моем маневре».

Но Щетинкин через группу Алтайского хорошо знал маршрут «дикой дивизии».

В начале июля войска экспедиционного корпуса вместе с красными конниками Чойбалсана вошли в столицу Монголии — Ургу, но Щетинкин и Чойбалсан хорошо понимали, что это еще не победа. На территории Монголии Унгерн пользовался поддержкой крупных князей и части местного населения. Для окончательного разгрома «дикую дивизию» нужно оторвать от мощных баз, схороненных в бескрайних степях...

А барон сам шел в расставленную ловушку, устремившись навстречу «победоносным» японским войскам и атаману Семёнову.

В первую очередь Щетинкин поставил задачу — разгромить бригаду полковника Казагранди и захватить огромный обоз с оружием и продовольствием для основных сил Унгерна.

Решили атаковать врасплох. Конница, совершив обходной маневр, с ходу ударила в районе озера Олуи-Нур. Атака была столь неожиданной и стремительной, что белые смешались и в панике стали отступать в направлении реки Селенги. Преследование продолжалось несколько суток. Люди настолько устали, что засыпали в седлах. На привале Щетинкин и Чойбалсан отобрали самых крепких бойцов и с небольшим отрядом продолжали погоню.

Узнав, что его преследуют небольшие силы красных, Казагранди устроил засаду. Заманив отряд Щетинкина — Чойбалсана в тесную долину, белогвардейская конница внезапно вышла в тыл, а с гор в лобовую атаку устремилась пехота. Неравный бой длился весь день, и только ночью отряду удалось пробиться на соединение с главными силами.

Утром Казагранди понял всю опасность своего положения и отдал приказ форсированным маршем уходить на юг.



П. Е. Щетинкин (в темной форме) с отрядом чекистов

Ужасная картина предстала глазам красноармейцев после ухода унгерновцев: всех захваченных в плен и раненых распяли на деревьях и заживо сожгли. На могилах товарищей бойцы поклялись отомстить белым бандитам.

На другой день от местных жителей Щетинкин узнал о спрятанном неподалеку обозе.

Усиленный отряд разведки быстро отыскал караван верблюдов и вьючных лошадей с оружием и продовольствием. За караваном гнали несколько тысяч голов скота. Неожиданным ударом отряд разогнал охрану.

В караване оказались несколько семей служащих бывшего царского консульства в Монголии. Натерпевшиеся ужасов в белой войне, они умоляли Щетинкина направить их как можно скорее в Россию. Пришлось командующему формировать для них специальный взвод охраны...

Тем временем барон Унгерн, не подозревая о поражении Казагранди, форсированным маршем перешел границу и устремился к Троицкосавску. Он был уверен, что внезапным ударом с ходу овладеет городом. И только когда до намеченного пункта останется не больше 70 километров, Унгерн узнает, что японцы и не думали начинать военные действия, а Семёнов окончательно разгромлен. В панике барон поворачивает назад, в Монголию, но ловушка захлопнулась. Предупрежденные «бароном Зоммером» конники К. К. Рокоссовского, зайдя в тыл Унгерну, вклинились в самую гущу белого войска.

В районе Гусиного озера отряды Щетинкина и 35 полка 5-й армии взяли его в кольцо. В решительном бою Азиатская конная дивизия оказалась наголову разгромленной, и лишь небольшой ее части во главе с бароном удалось вырваться из окружения...

Потеряв на поле боя более 700 солдат и офицеров, оставив победителям всю артиллерию, барон спасся бегством к реке Селенге, где его поджидал генерал Резухин. От него и узнал барон о поражении Казагранди. Но больше всего взбесило его сообщение о потере обоза. Унгерн тут же вызвал к себе сотника Сухарева и отдал ему приказ: «Расстрелять Казагранди и принять командование над остатками его бригады».

Но куда же девался Кайгородов? Почему не воспользовался заманчивым предложением барона Унгерна и не пришел к нему на помощь? По исследованиям Георгия Лосева и Александра Ивановича Митюшина, на Алтае в это время разворачивалась крупнейшая операция под руководством ПП ВЧК по Сибири. Из перехваченного письма Унгерна стало ясно, что генерал предпринимает от-

чаянные попытки объединиться с Кайгородовым. И в Новониколаевске понимали, что такие объединенные силы могут создать серьезную опасность для измотанной войной республики.

Вспоминая то время, И. П. Павлуновский писал:

*«При отступлении колчаковские штабы оставляли группы в 10—15—20 человек, снабжая их оружием. Таких отрядов органам ВЧК удалось ликвидировать в 1920—1921 гг. до 70-ти».*

На Алтае в бандах насчитывалось две с лишним тысячи человек — больше чем во всех других губерниях Сибири, вместе взятых. Основные силы сосредоточились в банде Кайгородова. По личному поручению И. П. Павлуновского агентурную работу на Алтае возглавил Иван Иванович Долгих. Чекисты внедряли своих людей в бандформирования, вербовали самих участников белого движения. По исследованиям И. И. Белоглазова, в банды Алтая было внедрено несколько кадровых чекистов и девять секретных сотрудников.

В мае 1921 года банда Кайгородова была разгромлена. Вскоре та же участь постигла его ближайших друзей и соратников.

14 августа жалкие остатки унгерновской дивизии вновь вернулись в Монголию.

Через несколько дней он вызвал в свою палатку Разухина:

— Я получил письмо от Далай-ламы, мы уходим в Тибет... Он обещает поддержку...

— Монголы разбегаются. Да и среди казаков брожение...

— Нам бы увести их в Тибет, а там десяток-другой казним на глазах у всех, остальные станут сговорчивее...

Барон прошелся по просторной палатке:

— Я беру с собой третий, четвертый полки и бурятский дивизион и пойду впереди. Вы, прикрывая отход, переждете один день, и следуйте за мной. Дезертиров казнить на месте, да так, чтобы у остальных не появилось желания следовать их примеру...

На другой день, выстроив остатки дивизии, барон объявил:

— Мы идем к границе Китая до первого города, который предстоит взять и переждать там зиму, а весной я снова поведу вас на Россию.

Известие вызвало глухой ропот. Многие офицеры видели свое спасение только в походе на восток, под прикрытием японских штыков. Но барон меньше всего считался с мнением подчиненных.

Вечером 17 августа соединенные силы красных начали переправу через приток Селенги. Едва они перешли на противоположный берег небольшой речки Эгин-Гол, к Щетинкину привели перебежчиков.

В палатку вошли два бородатых казака. Они сообщили, что прошлой ночью в бригаде Резухина поднят мятеж. Сам генерал убит, и труп его закопан неподалеку, верстах в двух, на берегу Эгин-Гола.

— Место показать сможете?

— Сами закапывали, враз найдем.

Неудачный поход в Россию пошатнул авторитет барона Унгерна. Особенно когда стало известно от пользующегося всеобщим доверием барона Зоммера, что на Алтае разгромлен Кайгородов. После такого сообщения даже самые близкие офицеры больше не верили в «счастливую звезду» предводителя... Дивизия таяла на глазах. Красная армия преследует по пятам, и каждый день может стать последним, а барон, как не раз случалось, опять сбежит с поля боя, бросив их на произвол судьбы.

Среди офицеров зрел заговор. Он начался в колонне Резухина. Во главе был полковник Хоботов. Заговорщики решили избавиться от Унгерна, Резухина и еще нескольких приближенных барона и повернуть остатки дивизии к японцам. На сторону заговорщиков встала сотня оренбургских казаков.

Начало мятежа наметили сразу после перехода реки Эгин-Гол. С генералом Резухиным расправились несколькими выстрелами и тут же приказали его закопать.



Солдаты восприняли покушение на генерала как обычное явление в войсках Унгерна. Командование принял на себя полковник Хоботов. А в головную колонну с сообщением о начале мятежа поскакал сотник Макшеев.

В одной из палаток унгерновского лагеря его ждали другие заговорщики.

Сообщив, что Резухин убит, он коротко бросил:

— Теперь дело за вами. По первому сигналу Хоботов будет здесь.

В унгерновском лагере руководил заговором полковник Ефроницкий. Но в последний момент «бравые» офицеры вдруг растерялись. Уж кто-кто, а они знали, как расправятся с ними, если заговор сорвется. Тогда Макшеев сам взял пистолет и направился к палатке барона. Немного времени спустя он вернулся с перекошенным лицом и трясущимися руками:

— Не смог... дьявол он, а не человек.

Но отступить поздно. Если оставить Унгерна в живых, он немедленно расправится с заговорщиками, да так, что другие будут вздрагивать при одном воспоминании. Решили идти к палатке вместе:

— Здесь генерал? — спросил Ефроницкий у часового.

— Они спят. Пускать никого...

Часовой не успел договорить. Ефроницкий разрядил в него пистолет. Но войти в палатку никто не решился. Вся группа открыла беспорядочный огонь сквозь войлочные стенки. Из палатки никто не ответил. Когда, подбадривая друг друга, заговорщики решили войти — палатка оказалась пуста...

Выслушав перебежчиков, Щетинкин пригласил к себе Рокоссовского, Чойбалсана и Сухэ-Батора:

— Кажется, эти гренадеры, — он кивнул на казаков, — говорят правду, но проверить нужно.

Верстах в двух ниже по течению Эгин-Гола на берегу действительно оказалась свежая могила. На покойнике был генеральский мундир. Знавшие Резухина опознали труп.

А в лагере их поджидало новое известие — конная разведка перехватила личного адъютанта Унгерна. При нем оказался пакет с приказом генералу Резухину:

*«С получением сего немедленно со всеми войсками присоединиться ко мне. Я имею дневку и полагаю, что завтра буду стоять в пади, что в двух верстах юго-западнее Буруладжи.*

*Генерал-лейтенант Унгерн».*

Из показаний адъютанта выяснилось, что остатки Азиатской дивизии расположились в 20 верстах. О покушении на Резухина барон еще не знал...

Щетинкин отдал приказ:

— Выступать немедленно!

Вскоре высланная вперед разведка столкнулась с небольшим отрядом, высланным навстречу Хоботову. Пленный офицер сообщил о неудачном покушении на Унгерна.

Щетинкин решил внезапно атаковать белых, воспользоваться неразберихой в лагере противника и захватить самого барона, если он еще жив...

В двух верстах от лагеря им навстречу выскочил перепуганный дезертир, который подтвердил сообщение о неудачном покушении и рассказал, что несколько часов назад дивизия снялась и спешно уходит в Китай.

Щетинкин выслал вперед головной эскадрон 35 кавалерийского полка во главе с Рокоссовским.

В долине, юго-западнее горы Урт, эскадрон увидел вооруженный монгольский отряд.

Монголы смешались, сбились в кучу, даже не оказав сопротивления. В самой середине всадников оказался человек в богатом халате с генеральскими погонами.

— Кто вы? — спросил командир отряда.

— Командующий Азиатской конной дивизией генерал-лейтенант Унгерн фон Штернберг...



К. Рокоссовский  
(в центре)  
с группой захвата  
Унгерна

Оказалось, как только рядом с юртой раздалась выстрелы, барон решил, что напали красные, и не стал испытывать судьбу. Он отодвинул войлок, вскочил на коня и унесся в степь. Когда огни костров остались позади, Унгерн понял, что ему снова удалось вырваться.

Переждав немного, он подъехал поближе. В лагере тихо. Значит, атака отбита, можно возвращаться. Но на месте стоянки дымились только потухающие костры...

Он нагнал их на марше. Но только стал приближаться, по нему открыли беспорядочную пальбу. Барон резко бросил в сторону коня, пригнулся к самой его шее...

Скоро Унгерн нашел в степи монгольский дивизион Сундуй-Гуна.

— Меня предали, князь, — бросил он в гнев, — помогите расправиться с изменниками, и я отблагодарю вас и ваших конников.

Монгол нахмурился, молча кивнул в знак согласия. Но не успел Унгерн отъехать, как на него надели несколько человек, скрутили руки.

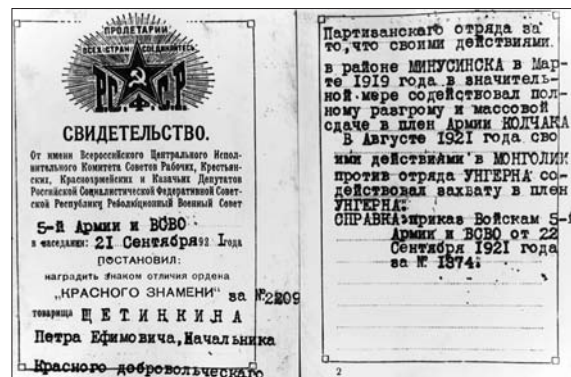
— Так будет спокойнее, барон, — сказал Сундуй-Гун.

Унгерна взгромоздили на коня, и дивизион запылил по степи в неизвестном направлении. Часа через два бешеной гонки они увидели несущихся наперерез всадников с шашками наголо. Унгерн рванулся, пытаясь направить лошадь из гущи всадников в открытую степь, но конь не понял команды...

Допросив барона, Щетинкин и Рокоссовский отправили его под усиленной охраной в Иркутск, где он дал в особом отделе 5-й армии свои первые показания...



Барон Унгерн под охраной  
чекистов



Свидетельство о награждении П. Е. Щетинкина  
орденом Красного Знамени

*«Наградное свидетельство.*

*РВС 5-й Армии и ВСВО в заседании 21 сентября 1921 года постановил:*

*Наградить орденом Красного Знамени за № 2203 товарища Щетинкина Петра Ефимовича, начальника Красного добровольческого отряда, за то, что своими действиями в районе Минусинска в марте 1919 года в значительной мере содействовал полному разгрому и массовой сдаче в плен колчаковцев.*

*В августе 1921 года своими действиями в Монголии против отрядов Унгерна содействовал захвату в плен Унгерна».*

Монгольское правительство присвоило П. Е. Щетинкину почетное звание Тимур Батыр Джань-Джун (Железный командир-богатырь).

Константин Константинович Рокоссовский за успешные действия в Монголии и пленение барона Унгерна был награжден вторым орденом Красного Знамени.

А самого барона Унгерна с его штабом доставили в Новониколаевск для окончательного расследования.

### Следствие, суд и приговор

Возглавить следственную группу И. П. Павлуновский поручает своему заместителю М. Т. Ошмарину. У этого опытного чекиста и строгого руководителя, как описывает Б. Алтайский, имелся один «недостаток»: «Миша Ошмарин был “злостный блондин” и краснел до корней волос при всяком поводе и без повода. С женщинами был стеснителен...»

И надо ж случиться, что именно ему выпало допрашивать майора английской секретной службы Сэйсила (он же Даль) и его супругу Галину. С майором работа шла успешно, а вот Галина решила устроить следователю спектакль. Вот как описывает этот эпизод Б. Алтайский:

*«Увидев красавицу Галину, Миша покраснел как рак. Это не ускользнуло от наблюдательной Галины. Вместо того чтобы отвечать на его официальные вопросы, она пыталась склонить его на разговор, а когда он на это не пошел, она разорвала на себе платье и рубашку и показала ему свою прелестную грудь.*

*Когда и это на него не повлияло, она стала орать на все ВЧК. Прибежал конвой, Вихров и я. Галина заявила, что Ошмарин пытался ее изнасиловать. Галину увели. Доложили И. П.*

*Павлуновский подумал, рассмеялся и говорит мне: “Займись-ка с ней”.*

*Она потребовала... свои гримировальные принадлежности, пудру, помаду. Я велел дать все, вплоть до духов.*

*Ко мне на допрос она явилась во всеоружии.*

*Вот тут-то у нас с ней произошел интересный разговор. Вначале о случае с Ошмариным, затем на отвлеченные темы. Свелся он к тому, что она начала меня вербовать. Предложила организовать ей побег и бежать с ней вместе за границу, где у нее имелось достаточное движимое и недвижимое имущество. Узнав о размере получаемой мною зарплаты, она искренне расхохоталась, заявив, что за границей мне будут платить в сто раз больше, и это минимум.*

*Быстро она решила бросить Генри и выйти замуж за меня.*

*“Допрос прошел в теплой и дружеской обстановке”. Ни “да”, ни “нет” я не сказал.*



Павлуновская, Григорович,  
М. Т. Ошмарин, И. П. Павлуновский

*Доложил Ивану Петровичу. Он подумал и говорит:*

*“А, пожалуй, можно тебе с ней съездить за границу и посмотреть, как там. Подумаем”.*

*Не поехал я в Англию, так как были неотложные задания, и баловаться было некогда. Вспомнил я этот случай потому, что уж очень ярко он характеризует разницу между нами и ими».*

К слову сказать, чекисты тех лет и впрямь жили небогато.

Уже упомянутый нами исследователь И. И. Белоглазов приводит один из отчетов ГубЧК тех времен:

*«С наступлением весны большая часть сотрудников не имеет летней одежды, а главное обуви, кроме зимних валенок. Паек также все время выдается с перебоями, и, наконец, совершенно невыносимое положение с денежной оплатой жалования. Низшая категория сотрудников при получении денежной оплаты в установленных ставках Губпрофсоветом должна доплачивать при вычете стоимости пайка».*

Жена члена коллегии Алтайской ГубЧК в 1920—1922 гг. М. И. Ворожцова вспоминала:

*«Жили мы очень скромно и даже голодно, так как получали паек и больше ничего, а в семье было семь человек. В доме ничего не было, кроме нескольких табуреточек да кроватей, застеленных солдатскими одеялами... Дом был очень холодным, даже вода замерзала в ведре».*

Эти ребята уже много лет спустя с улыбкой вспоминали наивных иностранцев, которые предлагали им зарплату в 100 раз большую, дворцы и прочие житейские блага, но они успешно довели до конца одну из крупнейших операций сибирских чекистов.

Из газеты «Советская Сибирь» от 29 сентября 1921 года:

*«Суд над Унгерном.*

*Узкое длинное помещение театра “Сосновка” залито до краев темным, сдержанно-взволнованным морем людей. Скамьи набиты битком, густо стоят в проходах, в ложах и за ложами. Ломятся под напором желающих широкие двери... Внутри — душно и тесно. Слабо горят немногочисленные электрические лампочки... Тысячи горящих человеческих глаз с пристальным вниманием обращены на сцену. Они смотрят и видят сегодня здесь не обычный фарс, не легкую феерию, даже не скорбно-унылую пьесу Островского. Они видят здесь кусочек захватывающей исторической драмы, с необыкновенной силой отражающей ту великую ломку, которую сейчас переживает мир.*

*Сегодня суд над бывшим бароном Унгерном. За столом, покрытым красным сукном, сидит чрезвычайный революционный трибунал...*

*Унгерн высок и тонок, волосы у него белокурые и обрамляют его небольшое, мало подвижное лицо, длинные усы свесились книзу, на голове небольшой хохолок, одет он в желтый монгольский халат, сильно потертый и истрепанный, и в монгольские ичиги, перевязанные ремнем, поверх халата на плечах генеральские погоны с буквами «А.С.» (атаман Семёнов) и Георгиевский крест на левой стороне груди.*

*Держится Унгерн ровно и спокойно, только руки все время засовывает в длинные рукава халата, точно ему холодно и неудобно; на вопросы отвечает прямо и определенно... смотрит большие вниз, перед собой, не поднимая глаз даже тогда, когда говорит с обвинителем...»*

15 сентября 1921 года Чрезвычайный революционный трибунал, рассмотрев в открытом судебном заседании дело бывшего генерала-лейтенанта барона Романа Фёдоровича Унгерна фон Штернберга, приговорил его к высшей мере наказания — расстрелу.

Из письма Б. Алтайского Г. Лосьеву:

*«По докладу коменданта ПП т. Максимова, руководившего приведением приговора в исполнение, Унгерн вел себя спокойно. Никаких просьб о помиловании не заявлял. К обеду попросил добавку. Шутил и смеялся с комендантом Максимовым и нач. внутренней тюрьмы Зорким.*

*Казнь была на рассвете. Завязать глаза или повернуться спиной отказался. Вот тебе и факты из первоисточника. Хоть и враг, а заслужил уважение. Похоронен в общей могиле с Далями...»*

Так закончилась жизнь последнего представителя рода прибалтийских баронов.

В октябре 1921 года П. Е. Щетинкин выехал в Москву для доклада Главкому республики о завершении операции.

В качестве приложения приведем еще два документа, напрямую не относящиеся к операции по пленению Унгерна, но характеризующие участников этой истории.

## Борис АЛТАЙСКИЙ

### СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

В августе 1918 года Орловский окружной военкомат направил нашу специальную техническую команду в распоряжение штаба Восточного фронта. Трудное тогда было время для Советской республики. Интервенты и белогвардейцы захватили почти весь Урал, Сибирь, район Среднего Поволжья...

Когда мы прибыли в город Свияжск, нашу команду зачислили в резерв. Нам поручили охрану штаба армии, давали и отдельные боевые задания.

Вскоре нас откомандировали в распоряжение начальника особого отдела 5-й армии Ивана Петровича Павлуновского. Этого необычайно храброго чекиста очень уважал и ценил Ф. Э. Дзержинский...

С Иваном Петровичем Павлуновским впервые я встретился в 1918 году, в Казани, в гостинице на Проломной улице, в которой временно расположился штаб Восточного фронта.

Части Красной армии 12 сентября вошли в Казань, а вместе с ними вошла и наша Орловская техническая команда. Эта команда, несмотря на такое прозаическое наименование, предназначалась для особых заданий.

...Несмотря на свою занятость, Иван Петрович нас принял сразу и начал расспрашивать, сколько в команде человек, какие имеются специалисты, какого возраста, как размещаются, как питаются, как обмундированы и какое имеют вооружение.

Получив от нас исчерпывающие ответы, Иван Петрович сказал:

— Вначале вам предстоит серьезная учеба. Вы должны пройти курс специальной разведывательной службы. Без этих знаний хороших разведчиков из вас не получится. Идите к коменданту города Кину, вот вам предписание.

Пока мы разговаривали с Павлуновским, мы почувствовали в его вопросах человеческую заботу о людях. Он сразу в наших глазах приобрел большой авторитет. Мы старались запечатлеть образ своего нового начальника. Он был одет в офицерскую форму старой армии. Не хватало только погон. Оружия — ни шашки, ни револьвера — при нем не было. Светлые глаза смотрели на нас пристально. В его взгляде чувствовалась энергия и сила воли. Так или иначе, мы к своему новому начальнику сразу прониклись уважением.

Направились к коменданту города Кину.

Кин посмотрел бумагу Павлуновского и сказал:

— Разместим вашу команду в особняке фабриканта Крестовникова. Но прошу вас, как только выйдете в особняк, то составьте опись всего имущества, пока его не растащили. Там много ценных вещей. Ну, а что вам потребуется для вашего личного пользования, можете брать.

Ребята увидели особняк и не могли удержаться от оценки:

— Вот это дворец! В пору царю в нем жить, — сказал Иван Кудинов.

Дом действительно был хорош. Большие окна, дубовые двери, резные украшения придавали ему вид дворца.

Когда мы вошли во внутрь, мы и вовсе оторопели. Кругом была такая роскошь, такое богатство, что раньше мы ничего подобного не видали.

Столовая была отделана под дуб. Полы паркетные с художественными рисунками. Потолки лепные. Большие окна с бархатными и шелковыми шторами. По стенам барельефы и картины. Гостиная и того была шикарней — большая комната в три окна, обставленная мебелью в стиле ампир. Такими же были и другие комнаты, а в спальне и гардеробной мы нашли полные шкафы женской и мужской одежды, военной и штатской, и белья.

Вот тут-то и предстояло жить нашим ребятам. . .

— За всю службу первый раз буду жить в такой шикарной казарме, — сказал связист Кубышкин.

Прожив несколько дней в этом особняке, мы получили предписание сдать особняк коменданту и переехать на бывшую царскую яхту «Межень».

На яхте развезался флаг командующего волжской военной флотилией Фёдора Фёдоровича Раскольникова.

Ребята и тут острили:

— Ну и везет же нам. Так и провоюем в царских хоромах.

На «Межени» также все было обставлено богато и шикарно. Нас разместили по каютам. «Межень» готовилась к отходу вниз по Волге. Штаб 5 армии перебазировался в Симбирск.

В этот же день на «Межень» прибыл Иван Петрович Павлуновский. Он обошел отведенные нам каюты, убедившись, что все орловцы размещены удобно, сказал, что мы едем в Симбирск, где начнем проходить курс специальной подготовки.

Вечером в тот же день на отодвинувшемся от Казани фронте было затишье. Были слышны только отдаленные артиллерийские выстрелы большого калибра.

Собрались на верхней палубе. Лариса Михайловна Рейснер расположилась в кресле. Раскольников устроился на скамейке рядом с ней. Павлуновский, Калужский, Вишневецкий, Хореев и другие расположились вокруг них. Кто сидел, кто стоял. Настроение у всех было приподнятое, т. к. наши войска успешно продвигались на Лаишев — Чистополь.

Вначале разговор шел на военные темы, потом о разведке, о выполнении отдельных операций и боевых эпизодах периода наступления от Свияжска на Казань, а потом перешел на литературу.

Павлуновский сказал, что он любит поэзию и литературу. На вопрос Ларисы Рейснер: «А кто ваш любимый писатель?» — Иван Петрович ответил:

— Салтыков-Щедрин, — и добавил, что он даже часто руководствуется его произведениями.

— В каком же смысле? — спросил Всеволод Вишневецкий.

— В смысле изучения работы государственного аппарата. Помните медведя-генерала, от которого ожидали кровопролития, а он чирика съел. Вот так и я, когда посылаю своих особистов на оперативные задания, постоянно им говорю: «Не прозевайте главного и не съешьте чирика».

Все рассмеялись, а Лариса Михайловна сказала:

— Товарищи, раз зашел разговор о литературе, то позвольте мне сказать о своем любимом писателе О. Генри. Я считаю его большим мастером, и в особенности в области психологии. Кто из вас читал его рассказ «Джимми Хэйз и Мьюриэль»?

К нашему стыду, в то время никто из нас этого рассказа не читал. Лариса Рейснер немало этому удивилась и начала нам излагать содержание, в котором говорится о дружбе человека с лягушкой.

На всех нас содержание этого рассказа, мастерски переданного Ларисой Рейснер, произвело потрясающее впечатление.

— Как ни говорите, а О. Генри буржуазный писатель. Другое дело Александр Блок. Чего стоит его «Двенадцать»! — сказал Калужский.

На это Лариса ему ответила:

— Во-первых, Александр Блок поэт, а во-вторых, О. Генри не пишет о буржуазии, не прославляет ее, а пишет о простых людях, о их бедствиях и несчастьях. Так что О. Генри я не считаю буржуазным писателем, хотя он и американец.

— Ну что, Моисей Григорьевич, просветила тебя Лариса Михайловна? — сказал Иван Петрович.

Слушал я этих товарищей и удивлялся их всестороннему развитию. Мне, семнадцатилетнему парнишке, казалось, что я никогда не достигну такого образовательного уровня. Но прошло время, и я многому научился благодаря помощи Ивана Петровича Павлуновского.

По прибытии в Симбирск сразу же Иван Петрович приказал мне найти книгу рассказов О. Генри, и мы с ним занялись ее чтением. В первую очередь прочли рассказ о разведчике Джимми Хэйзе и его подружке лягушке Мьюриэль.

Так было положено начало повышению моего литературно-художественного уровня, а вместе с тем и изучению премудростей разведывательного дела.

Эта беседа на палубе о литературе дала толчок к самообразованию не только мне, но и моему начальнику, хотя он был намного развитее и образованнее меня. Он в 1914 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Поэтому, прибыв в Симбирск, несмотря на очень ограниченное время, мы параллельно со специальными занятиями каждую свободную минуту использовали для чтения литературы.

Иван Петрович постоянно говорил, что чекист должен быть высокообразованным человеком. Не имея возможности глубокого изучения отдельных наук, все пробелы надо пополнять хотя бы из Большой энциклопедии, где кратко дается представление обо всем.

— Без этих знаний, — говорил Иван Петрович, — хорошего разведчика из вас не получится.

200 часов учебы в разведшколе Павлуновского в Симбирске дали мне больше, чем 3 вуза, в которых мне потом довелось учиться.

По окончании курса Павлуновский вызвал меня и сказал:

— Беру вас с собой в Москву.

Так как у начальства не положено спрашивать, зачем и почему, я откозырял и вышел из кабинета. И только в поезде Павлуновский как бы между прочим обронил.

— Получим специальное задание и вернемся обратно. Мы ведь работники Восточного фронта.

По приезде в Москву мы с Павлуновским сразу же пошли на Лубянку.

— Иван Петрович, а к кому мы идем?

Павлуновский метнул на меня строгий взгляд и бросил:

— Придем — узнаешь!

Получили пропуска, поднялись на второй этаж и вошли в комнату, где сидел секретарь.

— Здравствуйте, товарищ! Мы приехали по вызову, — сказал Павлуновский.

— Здравствуй, товарищ Павлуновский! — ответил секретарь и предложил: — Посидите немного. Сейчас доложу Феликсу Эдмундовичу. Он о вас уже спрашивал.

Когда из кабинета председателя ВЧК вышел какой-то посетитель, секретарь сказал:

— Проходите.

Первым к двери шагнул Павлуновский, за ним — я. Навстречу из-за письменного стола вышел Дзержинский. Поздоровавшись с нами за руку, он сказал:

— Располагайтесь, товарищи, — и указал рукой на кресла. — Как у вас там дела? Рассказывайте.

Иван Петрович подробно докладывал председателю ВЧК о работе особого отдела 5-й армии, а я с интересом рассматривал легендарного Дзержинского и его кабинет.

Между тем Дзержинский продолжал расспрашивать Павлуновского:



**Полномочный  
представитель ВЧК  
по Сибири  
И. П. Павлуновский**



— А как наши чекисты и особисты помогали Красной Армии в боях за Казань?

— Все было подчинено интересам общего дела. Некоторые бойцы нашей специальной технической команды даже участвовали в штурме города. Подрывники и десантники действовали замечательно. Они, Феликс Эдмундович, достойны всяческой похвалы...

Из Москвы мы выехали в Симбирск. 5-я армия в то время наступала вдоль Волго-Бугульминской железной дороги на Бугульму... В особом отделе мы получили задание. Оно заключалось в следующем: пробравшись через фронт белых, наша группа должна была проникнуть в Уфу, связаться с местными подпольными большевистскими организациями и развернуть активную диверсионную деятельность. Кроме того, требовалось непрерывно передавать своим информацию о противнике.

Не буду описывать подробности выполнения задания. Скажу только, что справились мы с ним неплохо. Может быть, потому, что нашей работой в тылу врага руководил лично Павлуновский. Это был, конечно, очень рискованный шаг для начальника особого отдела. Но что делать, произошло именно так. В условное время он выходил на одну из улиц Уфы торговать газетами и тихо отдавал нам короткие указания. С перевязанной щекой, в штатском поношенном костюме его просто невозможно было узнать.

29 декабря 1918 года части 1-й армии овладели городом Стерлитамаком, а 31 декабря войска 5-й армии заняли Уфу. Однако частный успех в центре не изменил тяжелого положения на всем Восточном фронте. Колчаковцы усилили нажим на нашем левом фланге. 3-я армия стойко вела борьбу, проявив немало героизма, и все же 24 декабря 1918 года ее части оставили Пермь. Захват белыми этого города создавал прямую угрозу Вятке, а их соединение с белогвардейцами, действовавшими с севера, грозило катастрофой всему Восточному фронту.

Выправить создавшееся положение на Восточном фронте могли только решительные меры...

Начавшееся наступление армий Восточного фронта шло с переменным успехом, но план Колчака по захвату Вятки был сорван. Успехи же войск правого крыла Восточного фронта — взятие Оренбурга и Уральска — и вовсе положили начало разгрому Колчака.

Под руководством Ивана Петровича Павлуновского мне пришлось пройти весь путь сибирский дальний с 18 по 22 год.

Уехал я из Сибири после освобождения ее от белогвардейцев, интервентов и бандитов.



## ПАМЯТИ ЧЕКИСТА

Летом 1921 года к воротам двухэтажного деревянного дома по улице Щетинкина № 16 подкатил старенький автомобиль.

Автомобиль этот достался нам от Колчака. Я знал его историю и, поставив к стене забора свой велосипед, стал рассматривать это тогдашнее «чудо техники».

Из автомобиля вышли два «кожаных» человека.

Первый из них, довольно высокий и статный, отмеченный небольшой лысинкой, окликнул меня:

— Эй, матрос!

Я подошел.

— Я — Павлуновский, — сказал приезжий.

— Иван Петрович?!

— А ты где работаешь? В ЧеКа?

Я подтвердил. Сказал, что работаю у Сманцера...

— А как застрелился у вас Шишков, знаешь?

— На пароходе, во время Кольванского мятежа. Не пожелал сдать на милость бандитам.

— Ну, это и я знаю! А подробности? Что с семьей стало?

— Не знаю, — ответил я, пожав плечами.

— Это очень плохо, что в губчека не знают подробностей. А ну-ка, Гуржинский, что стало с семьей Шишкова? Вот шофер мой — он, по сути дела, не чекист, а знает. Бери пример... Мы обязаны все досконально знать.

Вездесущие ребята облепили автомобиль Павлуновского. Иван Петрович стал рассказывать происшествие. Слушали его все с огромным интересом, а я подумал: «Вот здорово рассказывает!.. Как будто сам был на пароходе “Богатырь”...» И постепенно смысл слова «чекист», его сокровенное значение, способность чекиста узнать то, что не знает другой, — доходило до моего разума...

— Вот так, — закончил Павлуновский. — Что такое чекист, понятно?

Кто-то сказал: «Не болтай, а слушай!..»

Павлуновский подтвердил:

— Именно: «Не болтай, а слушай!». А ну-ка ты, белобрысая, кто у вас в коммуне заведующий?

Воспитанница Катковская смутилась.

— Вот его отец, — ткнул пальцем на меня какой-то парнишка.

— Правда? Тогда зайдём к нему... Как, чекист, можно?

— У него всегда народ... — мотнул башкой я. — Конечно, можно! Зайдемте...

— Гуржинский, Гуржинский, возьми за карбюратор. В нем вся причина, — бросил на ходу Иван Петрович, поднимаясь по лестнице.

Отец сидел за столом и что-то писал.

— Александр Петрович, расскажи, пожалуйста, как разместил приезжих. А потом скажи, как у вас с мясом. Не надо ли чего сделать властью Сиббюро?

Оказалось, ничего не надо. Вот разве бычка забить? Завхоз у нас был «шибко интеллигентный», в белых перчатках привык работать.

Я, не долго раздумывая, взял винтовку и забил бычка.

Стрелял прямо во дворе, в конюшне.

Когда вернулся, рядом с Павлуновским сидел шофер Гуржинский, видимо, уже управившийся с карбюратором.



Новосибирский писатель  
Г. Лосьев, участник первых  
отрядов ЧОН, со знаком  
«Почетный чекист»



Новониколаевский отряд ЧОН

— Покатай ребятишек, — попросил его Иван Петрович. — И с ветерком!  
А мне кинул вполголоса:

— Ты на глазах у ребятишек зря с быком расправился... Надо было за город вывести, понял?

Но и отец с ним не согласился.

— Все равно всего посмотрятся. У нас на Кавказе...

— То — на Кавказе, — протянул Иван Петрович и, обратив внимание на университетский значок отца, спросил: — Ты какой факультет окончил?

— В Томске — юридический.

— Оно и видно, юридический!

Он рассмеялся.

Много лет спустя я узнал, что Иван Петрович был первым в Сибири чекистом-юристом.

«Чекист-юрист» — тогда об этом как-то никто не задумывался: чекист — и хватит, и слава богу!

— Ну, поехали, Гуржинский, забирай ребятишек!

Полный автомобиль набрал Гуржинский. Было много хохота, шума и гама.

— Сколько у тебя детей, Лосьев, кроме этого? — Иван Петрович кивнул на меня.

— Трое...

— И все — при тебе? Понимаешь, в чем дело: у каждого ребеночка есть мама. Пусть не рядом, но где-то она все же есть, на задворках памяти пусть, но есть — мама! Мама — большое слово! А у вас во дворе на их глазах так запросто телят стреляют... Понял, томский юрист? И ты, чекист, понимаешь, в чем дело? Эх вы... Вот что, любитель стрельбы, — взгляд в мою сторону, — готовься в командировку...

— Куда, Иван Петрович, в какую командировку?

— В Омске узнаешь... С твоим начальством я согласую... Ну, будь здоров!

На столе Павлуновский оставил бумажку. Вот она:

**«Постановление Сибревкома об образовании сибирской чрезвычайной комиссии по улучшению жизни детей и устройству их.**

28 июля 1921 года.

*В развитие Постановления ВЦИК от 10 февраля сего года и инструкции, опубликованных в “Известиях” ВЦИК от 17 февраля с.г. и принимая во внимание стихийное движение детей из голодных местностей Европейской России в Сибирь, в целях предупреждения тяжелых последствий этого движения, смертности детей, роста преступности, эпидемических заболеваний, нищенства, роста спекуляции и пр. на почве голода. Сибирский революционный Комитет постановил.*

1. Признать дело улучшения жизни детей и устройство детей, прибывающих из пределов Европейской России, ударным боевым заданием, со всеми вытекающими отсюда последствиями, осуществление которого возложить на Комиссию по улучшению жизни детей в составе представителей ВЧК, Наркомпроса, Наркомздрава, Наркомпродт, ВЦСПС, Рабкрина при губисполкомах.

*Председатели губернских комиссий утверждаются губисполкомами, председатели уездных комиссий утверждаются уисполкомами.*

2. На основании пункта 1-го Комиссия по улучшению жизни детей при Сибревкоме преобразуется в Сибирскую Чрезвычайную Комиссию по улучшению жизни детей, в следующем составе: от ВЧК т. Павлуновский, от Сибнаробраза т. Вершина, от Сибздрава т. Донец, от Сибпродкома т. Краукле, от Сибрабкрина т. Мусунов. На которую возлагается срочное формирование аппаратов на местах.

3. Председателем Комиссии назначается т. Павлуновский

4. Права и обязанности Чрезвычайных Комиссий определяются постановлением ВЦИК и особой инструкцией Сибревкома.

*Вести в действие настоящее постановление по телеграфу.*

*Председатель Сибревкома  
Управляющий делами»*

Я выехал в Омск, где вместе с местными чекистами Константиновым и Тамбовцевым принял участие в ликвидации банды Козырькова.

Вскоре грянул «Западно-Сибирский мятеж».

Организовал и возглавил его бывший колчаковский поручик Родин. Это было особо жестокое выступление кулачества. Было убито свыше пяти тысяч коммунистов и сочувствующих. Советской власти в Сибири был нанесен тяжелый удар. Мятежники захватили железнодорожные магистрали по линиям Омск — Тюмень и Петропавловск — Курган. Были захвачены огромные сибирские территории — Омский, Шадринский, Челябинский и Тюменский уезды. Мятежники успели сформировать четыре фронта «Северный», «Кокчетавский», «Юго-Западный» и «Восточный», создали несколько своих дивизий, общим числом до ста тысяч человек. Во главе советских частей была поставлена «тройка» — председатель Сибревкома Н. И. Смирнов, «сибирский главком» В. И. Шорин, а председателем «тройки» был назначен Иван Петрович Павлуновский.

Самое «сердце мятежа» было предоставлено Павлуновскому, и он нанес крепкий удар в это «сердце»!..

Мятеж был ликвидирован. На его ликвидацию была направлена почти вся партийно-комсомольская организация Новониколаевска...

Я тоже был в числе мобилизованных коммунистов и работал в контрразведке.



## МОИ РОДНЫЕ СТАРОВЕРЫ

Есть у меня одна икона... Стоит в Петербурге, на полке среди других икон. Она для меня — самая главная.

Другие, современные, купленные в церковных лавках за последние двадцать лет — самые разные: яркие, блестящие, закатанные в пластик — и самые простые, бумажные, производства 1990-х годов. Есть и одна старинная: большая, потемневшая от времени, с металлическим окладом, в деревянном коробе, под стеклом — и лежит под ней чей-то давний венчалный веночек...

А моя — целиком из желтого металла, хоть и небольшая, но тяжеленькая, со следами грубоватого литья, и на обороте кое-где тронутая зеленью. Моя... Старобрядческая. Сколько ей лет? Не знаю, да мне и знать не надо. Досталась она мне от матери, Ольги Прокопьевны, а к ней попала... Самым необычным образом!

Где-то эдак в году 1965-ом мать была в одной деревне под Бийском. Сидела на берегу речки, где купались местные ребятишки и где ходил скот — и коровы, и лошади — место было и шумное, и затоптанное... Мать надумала сполоснуть ноги и, заходя в воду, на чем-то поскользнулась. Нагнулась, покопалась в пескеле — и вытащила икону!

— Я сразу ее узнала, — такая была и у бабушки...

Икона лежала изображением вниз — потому и поскользнулась мать... Поэтому и сохранилась — не повредили икону ни конские подковы, ни тележные колеса, ни что другое...

Почему нашла мать — будучи впервые на этой речке? Воля Провидения, воля Божия, никак не иначе!

Сколько лет пролежала? Трудно сказать. Могли забросить богоборцы 1920-30-х годов — да деревня-то не староверская, таких икон тут быть не должно. Получается — обронили с воза староверы, когда переезжали речку? А когда переезжали? Ого-го! Когда переселялись в глухие места, на пути в Горный Алтай, в поисках свободы для своей веры, свободы для себя, свободы от притеснений, в поисках царства добра и справедливости — Беловодья... А было это в конце XVIII — начале XIX-го века... Впрочем, как утверждают историки, подобные иконы в массовом количестве начали лить во второй половине XIX века, на Урале, и большинство алтайских икон — уральские. Есть еще один вариант, почему икона оказалась в реке: в 60-е годы XX века начался кризис староверских общин, умирали последние носители веры, и когда священный предмет передать было некому, его, по обычаю, могли закопать в лесу, оставить на ветке дерева или — опустить в реку. Отдать на Божий промысел...

Найденная икона жила со мной в Бийске, лежала на этажерке, среди моих книжек-учебников, я иногда брал ее в руки, рассматривал... Ничего, разумеется, не понимая — просто: нечто из другого мира, необычное. Чтобы повесить ее на стену, хотя бы на гвоздик — и в голову никому прийти не могло. Зачем?.. Никто вокруг ничего не знал о Боге, о Христе, не знал молитв, никогда не крестился — вообще ничего такого не знал и понятия даже не имел. А что имел — забыл...

Появись икона на стене — насколько бы она не соответствовала всему вокруг — и в доме, и за стенами дома — даже и сказать нельзя. Мы все были, я бы так определил, — естественные атеисты. Много лет спустя я прочитал слова Иоанна

Златоуста, смысл которых таков: если бы все люди были идеальные, то и религия была бы не нужна. Но мы-то были совсем не идеальные, и грех вокруг бурлил и кипел...

Чего стоило одно только беспробудное пьянство моего отчима — и многоэтажные маты! Да и не отчим он был мне, а так... Прибился к нам когда-то мужик: вначале было что-то вроде бы похожее на семейную жизнь, а потом он просто жил сам по себе. Так десять лет и прожил. В пьянке, матах и табачном дыму — до самой смерти. Впрочем, это отдельный сюжет... Были и какие-то проблески, отчего я сейчас иногда поминаю Валентина Алексеевича... Но отдельный, отдельный сюжет — тем более что он был не из староверов.

Лежала себе икона, лежала — и привлекла внимание одного моего приятеля, начинающего коллекционера.

— Да это и не икона — так, от створня часть, — определил он. — Ты мне ее продай, на обмен пойдет.

От створня часть — это часть створчатой иконы, значит; а на обмен — это он ее обменяет, значит, на что-нибудь для себя подходящее... Хотя наше семейство находилось даже не в бедности, а в глубокой, настоящей нищете, в каком-то люмпен-пролетарском положении, и каждый рубль для нас имел значение (а он предлагал целых десять рублей), я продавать отказался. Потом приятель приходил в мое отсутствие, пытался купить икону у матери — не купил... Не суждено было ей закончить свой путь в груди копеечных обменных предметов, переходящих из рук в руки.

Теперь стоит на полке в Петербурге, и смотрю я на нее с полным пониманием — давно уже. Хотя... Бывали такие времена — когда я только-только перебрался в Ленинград-Петербург... Не то что иконе — мне самому едва-едва находилось место — на полу, в чужом углу. Ей-богу, понятия не имею, как икона оказалась со мной в Ленинграде! Выражаясь по-ленински, я пребывал уже в архилюмпенском положении. Все свое ношу с собой — так сказать было нельзя. Все свое носил на себе. Однако икона оказалась на берегах Невы... Да впрочем, какой там Невы! Обводного канала — грязно-мутного потока на краю исторической части города. Думаю, только икона и помогла преодолеть ад тогдашней жизни — жизни в коммунальной квартире, когда я не то что про икону — про самого себя-то едва помнил, заедаемый клопами и комарами, осаждаемый крысами — и страшными питерскими коммунальными алкашами. И на работе тоже был ад.

Икона где-то тихо ждала своего часа, когда я, наконец, возьму ее в руки, как в юности, рассмотрю и — поставлю уже на видное место...

Проходили годы, мое терпение вознаграждалось, волшебная жизненная шка-тулка открывалась все шире — в ней находилось и счастье обретения веры, — и вот икона дождалась того часа, когда на нее люди помолились. Правда, сначала это был не я, а мои гости — православные люди из Америки, русские старообрядцы из штата Орегон — потомки тех староверов, которых двести лет назад икона хранила на их трудном пути в Горный Алтай, в поисках свободы, добра и справедливости...

\* \* \*

Мои родные-староверы почти все — родом из Горного Алтая. Даже если они происходят из Орегона, Бразилии, Китая, даже Аляски — все равно их корни — в Горном Алтае! А самые близкие мои родные-староверы — конечно, из Бийска, где я и родился; и с той поры, как я начал что-то понимать, на всю жизнь усвоил: Верх-Уймон, Усть-Кокса, Кокса, Мульта, Катунь, Белуха... и другие названия сел, рек, речек и гор — даже и не зная, что это такое и где находится. Особенно часто упоминался Верхний Уймон — родное село матери и тетки — Татьяны Прокопьевны, тети Тази. Она мне была как вторая мать...

В конце 1950-х — начале 60-х годов, когда мне было 8—12 лет, родственники мои были еще людьми молодыми. Молодыми, но уже и не молоденькими — под сорок, за сорок. Горный Алтай, где прошли детство и юность, они покинули уже давно, начиналась пора воспоминаний...

Верхний Уймон... И дедушка — Вахрамей Семёнович Атаманов. Именно он упоминался в первую очередь, не мама даже — Марьяна Карпеевна, не отец — Прокопий Варфоломеевич, а дедушка — Вахрамей, по-книжному — Варфоломей. Он был главой большого кержацкого семейства — полновластный хозяин дома, всего хозяйства, распорядитель всех житейских дел. И все это значило одно: он сам — первый работник, не указчик, не приказчик, а — работник. Кстати: кержаками, как я понимаю, сами себя уймонские старoverы не называли — так их называли люди сторонние.

Работа... Работа была с раннего утра — и до позднего вечера, по-другому и быть не могло. Представьте только себе: нет электричества, нет почти никакой техники — а любой продукт, любой товар нужно произвести, изготовить самому: хлеб, мясо, масло, одежду, телеги, доски — всё-всё-всё!

— Ох, рученьки мои, рученьки! — махал руками в изнеможении Вахрамей Семёныч — рассказывали мне мать и тетка.

Помашет руками, передохнет чуть-чуть — и снова в работу...

К работе приучались все, с раннего детства.

— Мы — пояски ткали, — говорили мне тетка и мать.

Пояс — важная часть старoverского бытия — даже не одежды, а именно бытия! Им подпоясывались рубахи и сарафаны, без него никогда и нигде нельзя было находиться. Почти как нателный крест! Он отделял человека от греховного мира, оберегал от нечистой силы... Он не только выполнял утилитарную функцию, он был предметом веры, символом веры.

Пояс является любимым изделием старoverов, изготавливается их много, самых разных цветов и видов. У каждого в доме хранится целый запас поясов: пользуются ими сами и одаривают гостей. У меня в Петербурге — целая коробка с поясами из Орегона! Они украшены не одними только геометрическими орнаментами, но и мудрыми изречениями из старообрядческих книг. Например: «Богородица, благословен плод чрева твоего, яко родила еси Христа Спаса, избавителя душам нашим»...

Из Орегона — все равно что из Горного Алтая, Уймона и окрестных сел, где сейчас возрождается традиция изготовления поясов. Достаю из оregonской коробки, рассматриваю... Теперь достаю привезенные из Верхнего Уймона — то же самое. Слава Богу, слава Богу — жива традиция, не этнография — сама жизнь!..

Впервые жизнь Верхнего Уймона я увидел в далеком 1964 году, когда мне было 14 лет, и нигде кроме Бийска я до этого не бывал... Чисто городской парень.

— Прямо Древняя Русь, — заявил я, стоя посреди улицы и оглядывая все вокруг.

До-о-лго потом мои родственники посмеивались, пересказывая друг другу мои слова... Бревенчатые дома, старые, от времени — серые, словно шелковые. Самое большое впечатление произвели заборы, ограды — так называемые прясла: толстые длинные жерди, лежащие своими концами на широких торцах вкопанных в землю бревен. Очень основательные сооружения.

Дома — вида сурового, безо всяких наружных украшений. Внутри — довольно просторная горница, большая русская печь, полати, широкие лавки вдоль стен... Узнала ли все это моя душа, отозвалась ли как-нибудь? Удивительно: нет! А ведь за мной стояли десятки крестьянских поколений — и многие века деревенской жизни. Как же легко обрубаются человеческие корни — одним ударом!..

К тому же я был уже почти взрослый, и жизни деревенской, повторяю, не видел. В Бийске мы жили в районе так называемой новостройки: двухэтажные кирпичные, деревянные дома, бараки — потом появились панельные пятиэтажки. Вокруг кипела Всесоюзная ударная комсомольская стройка! Строили целый комплекс оборонных предприятий, в народе называемый «лесные братья»: они находились в лесу. Благодаря этим «братьям» город вырос, думаю, раза в три... В Бийске появились невиданные доселе люди: москвичи, ленинградцы, да еще «чучмеки» — так называли кавказцев. И прочие, прочие, прочие... Были даже академики, как я потом узнал!

Ну, а я со всем своим окружением очутился в «бараках коммунизма». Это был прогресс! До этого, после потери всего имущества и хозяйства — от «раскулачивания», — мои родные-староверы, оказавшись в Бийске, снимали углы... А некоторые и без «раскулачивания» сбежали в город — жить в деревне было невыносимо...

«Бараки коммунизма» были разнообразные — мне довелось пожить и в интернате, и даже — недолго — в детдоме. Я становился настоящим советским человеком — что называется, до мозга костей. Естественным атеистом. Притом очень подкованным! Запросто мог целый кроссворд разгадать. Мой отчим, Валентин Алексеевич, бывший интеллигент, нередко посылал меня в газетный киоск.

— Сбегай, возьми газет — всех по одной.

Газеты стоили копейки, я притаскивал домой целую пачку, «всех по одной» — и мы сидели, и все подряд читали: и про международное положение, и про социалистическое соревнование, и про дальние города и страны, и про строительство коммунизма, и про «религиозный дурман»... Про все на свете.

Так что стоял я, четырнадцатилетний подросток, посреди уймонской улицы, как настоящий гражданин мира. Хоть из «бараков коммунизма» — но с мыслями о Париже и Нью-Йорке!

А в Уймоне жизни не было — так мне тогда показалось. Человеческая память устроена таким образом, что подростковые впечатления помнятся гора-а-здо лучше, чем, скажем, 30-летние, 40-летние... Помню я все прекрасно. Нет, разумеется, был в Уймоне колхоз, были фермы, поля, трактора, покосы и все остальное, только деревня стояла пустая... Покажется старик, пробежит ребенок — и больше ничего. Грязь на дороге, серые избы, заборы — и тишина. Всё серое: одежда, предметы — всё... А главное — пустота. Мне еще мать говорила, что после войны деревни и села опустели.

— До войны по деревне идешь, народу — полно! Разговоры, смех, веселье было, все как-то в жизни уже утряслось. У меня даже гитара была, хоть я и в чужом углу жила. Устоялось, утряслось... А после войны — пустота...

Пустоту я и заметил...

Однако были времена, когда жизнь в Уймоне текла широко, полнокровно, естественно, когда люди работали для того, чтобы выжить, знали время для отдыха и для праздников, всегда помнили о Боге — и знали, для чего они живут. Мои родственники получили прививку из этой жизни... Прививка оказалась столь сильна, что они прожили свой век... ну, почти в соответствии со словами Иоанна Златоуста! Потому и я, пишущий сейчас эти строки, истинно дивлюсь самому себе: и тогдашнему, 14-летнему, и 40-летнему, и даже 50-летнему... Не было же ничего, из-за чего я бы начал истинно жить! Только молитвы моих родственников, бабушек и дедушек, стоящих у престола Божия, и просящих за меня...

У престола Божия, в красоте Божией они прожили свою жизнь и здесь — на земле. Беловодье они ведь и нашли, и создали! Хотя, по сердечной простоте, все продолжали искать и мечтать о нем...

Красота Божия — это Уймонская долина, что в самом сердце Горного Алтая, там расположились деревни Верхний Уймон, Нижний Уймон, Мульта, маленькая Тихонькая — и большая Усть-Кокса... А вокруг — зеленые горы, а вдаль — горы в снежных шапках — белки... Впервые на одну из ближайших гор я забрался тогда, в 1964-ом, вместе с одним из многочисленных родственников, троюродным братом. Вот я — на фотографии, сделанной им: за мной, внизу — районный центр Усть-Кокса, а в долине сливаются реки, зеленая — Кокса, и голубая (белая!) — Катунь. И синее небо... Цвета я запомнил с тех времен — а фотография, разумеется, черно-белая.

Любовался ли я всем этим тогда? Человек в таком возрасте не любит — он живет всем окружающим миром!

Как и жили мои родные-староверы, во всяком возрасте... Работали, растили детей — и растили свою пшеницу, которую любовно называли «Аленька» — за ее красноватый цвет. Особая была пшеница, из нее, говорят, пекли караваи к царскому столу.

Скота до революции 1917 года держали без счета — масло также попадало в Зимний дворец... А в лесах, в горах — ягоды, грибы, всякие растенья и коренья, а в реках — рыба...

Божия благодать.

\* \* \*

«...И считает Вахрамей число подвод с сельскими машинами. Староверское сердце вместило машину. Здравое судит о германской и американской индустрии. Рано или позднее, но будут работать с Америкой... Народ ценит открытый характер американцев и подмечает общие черты. “Приезжайте с нами работать”, — зовут американцев. Этот дружеский зов прошел по всей Азии.

После индустриальных толков Вахрамей начинает мурлыкать напевно какой-то сказ. Разбираю: “А прими ты меня, пустыня тишайшая. А и как же принять тебя? Нет у меня, пустыни, палат и дворцов...”

Знакомо. Сказ про Иосафа. “Знаешь ли, Вахрамей, о ком поешь? Ведь поешь про Будду. Ведь Ботхисатва — Ботхисатв переделано в Иосаф”.

Так влился Будда в кержацкое сознание, а пашня довела до машины, а кооперация до Беловодья.

Но Вахрамей не по одной кооперации, не по стихирам только. Он, по завету мудрых, ничему не удивляется; он знает и руды, знает и маралов, знает и пчелок, а главное и заветное — знает он травки и цветики. Это уже неоспоримо. И не только он знает, как и где растут цветики и где затаились коренья, но он любит их и любитесь ими. И до самой седой бороды набрав целый ворох многоцветных трав, просветляется ликом, и гладит их, и ласково приговаривает о их полезности. Это уже Пантелей Целитель, не темное ведовство, но опытное знание. Здравствуй, Вахрамей Семёныч! Для тебя на Гималаях Жар-цвет вырос».

Так пишет о моем прадеде в книге «Алтай — Гималаи» художник Николай Константинович Рерих... Во время своей Центрально-азиатской экспедиции 1923—1928 годов, летом 1926-го, Рерих останавливался в доме Агаманова в селе Верхний Уймон в Горном Алтае. Несколько десятилетий там существует музей, построенный, созданный поклонниками Рериха со всех концов Советского Союза.

В Верхнем Уймоне мне довелось побывать и в 1983 году, когда там только-только создавался музей. По итогам поездки опубликовал я путевой очерк в журнале «Нева».

Всю жизнь имя Рериха сопровождает меня — в отдалении, в отдалении, но сопровождает. Когда-то мать и тетка рассказывали о приезде рериховской экспедиции — не зная ни о каком Рерихе и экспедиции, а называя всех одним словом: американцы. Потом сам что-то почитывал, репродукции рассматривал, на выставки ходил. Иногда рериховцы (члены рериховских обществ) интересовались моей скромной персоной — в связи с Вахрамеем и музеем... Почитал-полистал в свое время огромный труд доктора богословия, диакона Андрея Кураева — «Рерихи: сатанизм для интеллигенции». Об их учении...

Прошли годы, и вот что я могу сказать сам.

В том же 1926 году Рерихи побывали и в Москве, куда привезли послание махатм — восточных мудрецов, и ларец «со священной гималайской землей, на могилу брата нашего, махатмы Ленина». Н. К. Рерих пишет: «В 1926 году мы имели долгие добрые беседы с Чичериным, Луначарским, Бокием. Мы хотели тогда же остаться на Родине, приобщившись к строительству. Но мы должны были ехать в Тибетскую экспедицию, и Бокий советовал не упускать этой редкой возможности».

А вот какие строки содержатся в послании махатм: «На Гималаях мы знаем совершаемое вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий... Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов... Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости матери. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволю-



цию общины. Вы указали на значение познания. Вы преклонились перед красотой. Вы принесли детям всю мощь космоса... Вы увидели неотложность построения домов Общего Блага...

Знаем, многие построения совершатся в годах 28—31—36. Привет вам, ищущим Общего Блага!».

Такие вот премудрости... То есть, все, сотворенное большевиками, — махатмами одобряется, а Рерихом — принимается. В 1927 году в книге «Основы буддизма» Елена Рерих написала: «Учитель Ленин знал ценность новых путей. Каждое слово его проповеди, каждый поступок его нес на себе печать незабываемой новизны...»

Притом, что все 20-е годы, особенно — 30-е, в стране шло уничтожение, прямое уничтожение ни в чем не повинных людей. Миллионов людей! И участь многих из тех, с кем Рерих вел «долгие, добрые беседы» уже была предрешена...

И Жар-цвет на Гималаях вырос не для Вахрамея Семёныча. И пожелание: «Здравствуй, Вахрамей Семёныч!» — было не для Вахрамея Атаманова. Как раз в те дни, когда писались эти строки, он, как и миллионы других, был «раскулачен».

Мать и тетка рассказывали мне, как это происходило. Все-все отобрали — и отправили на север, в так называемый Нарым. Долго везли в телеге, и на барже везли — и высадили на пустой берег какой-то реки.

Люди пытались копать землянки, но мёрли как мухи — есть было совершенно нечего.

— Гнилушки толкли и ели, — рассказывала мать.

Через некоторое время детей увезли в детдом, а взрослые все остались там, на берегу. И могилка Вахрамея там осталась...

Такое вот «уничтожение семьи лицемерия».

...Беда ведь в том, что в царской России Рерих не один оказался таким, для которого «религия есть учение всеобъемлемости материи» — по махатмам.

По-православному — восточные лжепремудрости...

И когда сегодняшний человек начинает толковать про «бога в душе», показывать пальцем на сердце — значит, человек уже создал свою секту — пусть и только для себя... Это в конце концов и приводит к неразличению Добра и Зла. Всякому помутнению сознания...

Пошел я как-то в библиотеку, в Петербурге, взять домой «Живую Этику», почитать, освежить знания, так сказать. Сразу встретил «рериховцев». Едва только заговорил, зачем пришел, библиотекарша мгновенно заявила:

— Христианство — самая злая религия!

«Живую Этику», она, оказывается, хорошо знает, «Агни-Йогой» много занималась...

Что к чему?.. Чуть попробовал возразить — другая библиотекарша, проходя мимо, вздохнула мне в ухо:

— О, господи...

Чепуху, дескать, говорю...

Библиотекарши — дамы знающие, начитанные — посоветовали мне еще зайти в магазин «Роза Мира». (Можно поиронизировать в духе моего любимого Бунина: разумеется — Роза, разумеется — Мира!) Зашел. Книжки, плакаты, буклеты, амулеты. Представлены, кажется, все секты мира! Накурено благовониями, зудит восточная музыка, в клубах дыма бродят полоумные старушки, дамочки, блаженного вида граждане... Несколько полок — труды Рерихов. Есть солидные, дорогие издания, прямо академические. А есть — и много — вот такие, простецкие: на обложке — «Агни-Йога» — и все... Но тиражи — гигантские.

Вот вам и «разрушили тюрьму воспитания», вот вам и «сожгли войско рабов»...

На столе передо мной современная, 2003 года, красочная книга «Усть-Коксинский район» — в этом районе Республики Алтай и находится село Верхний Уймон. Пишет генеральный директор одного из предприятий:

«Самый серьезный барьер, с которым пришлось столкнуться — это многолетний алкоголизм рабочих и, как следствие, резкое ухудшение здоровья работни-

ков, прогулы, снижение качества выполняемого труда, отягощенная наследственность, общая деморализация и злокачественный атеизм».

Вот вам и «упразднили церковь»...

...Лет пятнадцать-двадцать назад по телевидению часто показывали большой, часа на полтора, документальный фильм о Рерихе. Многократный повтор в этом фильме — наплывающее на зрителя лицо Рериха на фоне окна дома Вахрамея Атаманова.

Смотрите, смотрите на реальность, Николай Константинович...

Впрочем, никакого дома не было уже в 60-е годы: низко и уныло стоял один этаж из двух, а к началу 80-х — лишь торчали остатки стен... Рериховцы для музея возвели неподалеку дом из лиственницы, а потом уж отстроили и дом Вахрамея, создав его похожим на прежний...

\* \* \*

В 2006-м еще раз съездил я на родину предков, в Горный Алтай. Поездка пришлась на знаменательные даты: 250-летие добровольного вхождения алтайского народа в состав России и 80-летие экспедиции Рериха. Приехав в Усть-Коксу, сразу же оказался на хорошем, полезном мероприятии: архивных чтениях в районной администрации — «Встреча эпох»... А после этого — и на застолье с любезными хозяевами. И уж на следующий день прошелся по знакомым — незнакомым — улицам, через 23 года...

Вспомнился 1983-й... С дороги тогда надо было перекусить, зашли в столовую: хлебная котлета, лапша комком, компот — желтая водичка, и цена — как в ленинградском ресторане. Выйдя на крыльцо столовой, увидели, как толпа штурмует фургон-хлебовозку: хлеб привезли, и прямо из кузова народ его и хватал... Потом, чтоб уехать в Уймон, — ждать-пождать автобус, который, по разговорам в толпе, то ли придет, то ли нет. Пришел, «пазик», куда втиснулась только треть толпы, а мы с чемоданами остались. Пошел я в здание рядом, райком или исполком — меня поразили дамы в бархатных платьях... Разрешили позвонить, я дозвонился в Уймон, родственникам, чтоб за нами приехали.

Приехали. На той стороне Катуня появился мотоцикл с коляской, его водитель накачал резиновую лодку, приплыл к нам — и мы, через кипящие струи Катуня, двинулись к мотоциклу. И с ветерком — на доброе застолье!..

Сейчас времена другие, как и везде — изобилие товаров, магазинов, кафе. А если надо куда уехать — сделай знак — вмиг домчат.

Однако прекрасным июньским утром 2006 года мы с семейством пошли пешочком по отличной дороге из Усть-Коксы в Верхний Уймон — около десяти километров. Красота вокруг — неопишуемая: широкая долина, вдалеке горы, на вершинах — снег, и над всем этим — голубое небо... Впрочем, мало ли на белом свете гор, долин и заснеженных вершин? А я вам приведу слова, которые сказала когда-то московский писатель Сергей Зальгин, в свое время — редактор журнала «Новый мир». Он и писатель был интересный, и человек мудрый:

— В Горном Алтае я бывал и в молодости, и в зрелые годы, а потом объездил весь земной шар, побывал на всех континентах, и могу твердо сказать: Горный Алтай — самое красивое место на Земле.

Как видите, и свидетельство авторитетное, и никакого квасного патриотизма с моей стороны.

Часть пути от Усть-Коксы с нами прошел случайный попутчик, местный резчик по дереву — сдавал в райцентре свои изделия. Проходили мимо небольшой деревеньки, и я вспомнил, как бывал в ней когда-то мальчишкой — расчувствовался, сказал об этом своему попутчику...

— Пьют по-страшному, — неожиданно ответил он. — Каждый месяц кто-нибудь умирает с пьянки.

Вернул на грешную землю, пусть и такую прекрасную... Перед самым Верхним Уймоном — еще одна красота, рукотворная: новый мост через Катунь. На-

конец — Верхний Уймон, небольшое село, известное не только в России, но и во всем мире благодаря Н. К. Рериху. И вновь я посетил, через много лет, музей его имени, прошелся по усадьбе прадеда, В. С. Атаманова...

После нашего культпохода вышли мы на дорогу. Никого. Только пьяный мужик попался навстречу. У него и узнали, где магазин. Купили чего надо, сели на берегу Катуня — одной из самых красивых рек мира — по словам Залыгина, помянули всех Атамановых... Ведь даже младшего, последнего сына Вахрамея — Симона — в 1937 году расстреляли. Ведь им (для верности, что ли?) кроме «кулачества» шили еще и «бандитизм». Комиссар Пакалн, пустоглазая чучундра, что расположилась в Улале — Горно-Алтайске, дело свое знал...

В Барнауле, в краевом архиве, я видел «дела» уймонских крестьян — там не только Атамановы, но и другие фамилии. В длиннющих протоколах допросов фигурируют: 1 (одна) винтовка и 1 (один) револьвер «Смит-Вессон».

Естественно, какое-то оружие у крестьян в тех краях в те времена было. Конечно, они возмущались и как-то противились новой власти. Вот строки одного из протоколов:

— Хлеб сдавать не будем. Что это за власть? Приходят, отбирают насильно, описывают, продают. Прямо-таки дневной грабеж!

Да еще: «банда», «бандиты»... И всех — сослали, расстреляли, разогнали по белу свету...

И вспомнились еще мне — из рассказов матери и тетки — не «кулаки» и не «бандиты» — одни из ближайших соседей Атамановых. Фамилию помню — однако не назову, сейчас поймете, почему.

Будучи детьми, мать и тетка забегали в этот двор — и через много лет, уже взрослыми, смеясь, описывали мне его так:

— Вся изба вокруг обгажена, огород бурьяном зарос, а сами все на лавках лежат. Бывало, придут к нам, упадут дедушке в ноги: «Вахрамей Семеныч, дай немного муки, Христа ради...» Дедушка и велит им дать пуд муки.

Нет, они были никакие не больные — просто известные на всю деревню лодыри: землю не пахали, огород не сажали, и даже уборную не строили — бурьян же есть...

Из лени лень! Но лень, хоть и страшна как грех, все же не самый страшный грех — потому и смеялись мать и тетка.

Самый страшный грех совершали те, кто уничтожал деревню, уничтожал Россию. И не надо прикрываться никаким раскулачиванием, никакой коллективизацией, «борьбой нового со старым».

А «неперспективные деревни», а бесовский «перестроечный» крик: «деревня — черная дыра»?!

Это было прямое, умышленное уничтожение. Умышленное!..

Вышли мы с бережка опять на дорогу. Никого. Вот-вот начнет смеркаться, пора бы ехать в гостиницу в Усть-Коксу. Вдруг появляется джип с новосибирскими номерами. Останавливаем. Нет, ему в другую сторону. В раздумье стоим на дороге: надо пойти по деревне, поискать родственников, нагряться, что называется... Но снова, теперь с другой стороны, летит тот же джип.

— Садитесь! До Усть-Коксы, оказывается, всего-то десять километров — отвезем!

И хорошие люди из Новосибирска, само-собой разумеется бесплатно, домчали нас до Коксы, развернулись, улыбнулись — и улетели по своим делам...

По пути в гостиницу — еще одна, последняя, сцена. Идем по улице, и в ряду других домов — маленький, серый, замшелый домишко, а во дворе — только трава, а посреди двора с неприкаянным видом сидит на чурбаке средних лет мужичишка. Я пару раз на него оглянулся, и он крикнул:

— Эй, чего смотришь?

Я помахал рукой — привет...

Сколько таких домишек-мужичишек по России?..

Горный Алтай, самое красивое место на земном шаре...

Самым красивым Сергей Залыгин его назвал в телевизионной беседе с Валентином Распутиным, когда обсуждалось строительство Катунской ГЭС — оба выступали категорически против. Не знаю, окончательно ли остановлен проект, или за минувшие 20 лет было просто не до него. Однако планы по развитию энергетики в России озвучены грандиозные: второе ГОЭЛРО, мол, требуется. Как бы не вернулись к старым планам на Катунь... Не в этом ли будет и заключаться «последняя битва добра и зла» — на реке Катунь, о чем говорится в книге Рериха?

Хочется верить: продолжится жизнь. Как виделось Рериху в добрых строках его книги «Алтай — Гималаи».

«И странно и чудно — везде по всему краю хвалят Алтай. И горы-то прекрасны, и кедрь-то могучи, и реки-то быстры, и цветы-то невиданны».

«Говорят, на Алтае весною цветут какие-то особенные красные лилии. Откуда это общее почитание Алтая?!»

«Приветлива Катунь. Звонки синие горы. Бела Белуха. Яркие цветы и успокоительны зеленые травы и кедрь».

...Увидели Белуху. Было так чисто и звонко. Прямо Звенигород»...

К счастью, к великому счастью — это все осталось.

Людам бы счастья на такой прекрасной земле...

\* \* \*

Навсегда запомнились названия деревень: Владимировка, Шурмак, Самагалтай, Балгазик... Хотя правильно, вроде, Балгазын. Но какой же русский, да еще старовер, будет говорить «Балгазын»? Балгазик!

Лето 1965-го для меня стало прямо-таки староверческим паломничеством: мы и в Коксу — Уймон еще раз съездили, а потом и в Туву — все по родственникам, по родственникам... Если Уймон помнится мне тихим и безлюдным, то в тувинских деревнях жизнь была ключом. И дети, и старики, и мужчины-женщины в расцвете сил. Они встречали нас со всем родственным радушием, хотя все они были нам двоюродные-троюродные, а то и далее того. По старой-то вере — до шестого колена родниться надо! Во всяком случае, шестиродным братьям-сестрам жениться-выходить замуж друг за друга запрещалось. Родня. Если в Уймоне и окрестных селах колена такого родства в 60-е годы вряд ли можно было отыскать, то в Туве картина другая. Народ сохранился. Судя по тому, что в каждой деревне у нас с матерью находилась масса всяческой родни, народ сюда перебрался из Горного Алтая. Впрочем, историческими изысканиями я не занимаюсь: возможно, русские деревни существовали здесь и ранее, а я пишу о том, что сам видел и слышал.

Мужики мне рассказывали, как происходило переселение: ехали они обозом, со всем домашним скарбом, семьями, с женами и детьми, со скотом — а тувинцы иногда налетали, пытались налетать на обоз верхом на лошадях. Тувинцев можно понять: они хозяева здешних мест, а к ним без спросу вторгаются какие-то чужие люди. Однако, по рассказам мужиков, достаточно было одного выстрела в воздух, чтобы всадники рассеялись кто куда... Тувинцы отделялись легким испугом, а положение русских староверов было гораздо серьезнее — это им приходилось спасаться бегством, как когда-то их прадедам, спасая себя, свой уклад, свой мир, свою веру... Хотя, казалось, жизнь уже так устоялась: и власть их давным-давно признала, и даже призвала защищать окраину империи от набегов «кыргызов и прочих инородцев и разгонять оных по всем горным щелям» — потому вплоть до 1914 года они были освобождены от воинской повинности. И воевать ни с кем было не надо, и разгонять... Сохранились только предания, как в XIX веке уймонцы и жители других сел ездили в гости к родственникам в Кузнецкий округ — и если в пути на них насканивали аборигены, то кержаки умело отбивались «батиками» — этакими палками с утолщением на конце. Вот и весь «разгон». Владели уймонские крестьяне «искусством батика» — украшали своих противников так, что другой раз супостаты к ним соваться остерегались.

Однако на такого супостата, как чучундра Пакалн в Улале, не говоря уж о московских супостатах, уймонский батик короток... Тут нужно было другое «искусство батика» — которым могли овладеть такие люди, как Рерих... Но они, как видите, купились на московский «батик» — сказочно фальшивый.

Бес хитер!

Не просто власть переменялась — антихрист пришел! Начал проводить «раскулачивание» — лучших крестьян истреблять, остальных — в колхозы сгонять, и веру христианскую уничтожать. Но козни бесовские Господь всегда разоблачает, и сегодня нам все так ясно, так ясно... Так ясно — как небо над Уймонской долиной после грозы — слава Богу, минувшей...

А пока приходилось крестьянам бежать — туда, куда власть антихриста еще не добралась — в тувинские земли. В 20-е годы Тува числилась независимым государством, и вошла в состав СССР только в конце 1944 года — так что кержаки нашли здесь землю обетованную. Спасение нашли. Начали строить дома, пахать землю, разводить скот, ловить рыбу... Жить своей жизнью. Ну, а потом — никуда не денешься — пришли все-таки колхозы, так что я уже встретил мирный расцвет колхозной жизни — сытный, спокойный, благополучный. Предложи им, в 1965-м году, вернуться к единоличному хозяйству — возможно, никто бы и не согласился. А молодежь, 17-18-летние, — образованные, современные, цивилизованные люди космического века!

И на религию власть не «наезжала»: церковей-то нет, закрывать нечего. А приказать не верить — ну, до такого и большевики не додумались. Однако строгой, истовой религиозности — и даже просто религиозности — я не заметил. Совсем не то, что в Орегоне, в 1989 году! Но об этом речь впереди.

Советский образ жизни все-таки быстро размывал многовековые устои. Именно так: ничего конкретного сказать нельзя — а просто-напросто не было религии места в жизни — вот и все. И это чувствовали, знали, понимали все — от Москвы до самых до окраин. Хотя и телевидения еще почти не было, и газеты читать незачем, и на радио — ноль внимания, и партия с комсомолом — сами по себе, а вот поди ж ты... Все понимали: Богу места нет. В космос люди слетали, на самое небо слетали — и сказали: Бога нет.

В небе нет — и уж тем более на Земле нет. Так люди решили. В Москве решили — ну, и далее везде такое поветрие пошло, и до Тувы дошло. Старики от веры, конечно, отказаться не могли, а в молодых это поветрие чувствовалось, чувствовалось. По всем разговорам, делам, интересам, пристрастиям — к технике, например! К тем же мотоциклам — в первую очередь.

Не-е-ет, тут опять же тонкая материя. Уж какие автомобильные страсти видел я у староверов в Орегоне!.. Но религии такие страсти совсем не мешали — ни на йоту не мешали. Тувинских кержаков мотоциклетная материя захватила крепко — да опять же, не одна она! Вся, так сказать, аура бытия была материалистическая — вот в чем дело.

Ну, про мотоциклы. Мотоциклы — это одно из первых моих тувинских впечатлений. На деревенской улице, на пыльном пяточке происходил мотоциклетный съезд известных и доступных на то время марок. Про автомобили и речи быть не могло — их просто не было, а вот мотоциклы — пожалуйста. Они и сейчас любимый деревенский транспорт — что уж говорить про тогдашние времена. Мужики и парни стояли, обсуждали достоинства и недостатки, попинывали колеса, садились, давали газу, совершали круг... Ритуал! Тут же стояла и некая «дристопулька» — нечто четырехколесное, дымит и трещит — но едет!

Прокатился и я на мотоцикле. Да нет, это была целая многокилометровая поездка на реку Тес-Хем, с рыбалкой. Поймали первую рыбку, мелко порезали и продолжали ловить на эти кусочки. Никогда больше не видел такую рыбалку... Осман рыба называется.

Река — хоть и быстрая, горная, но текла уже по степи. Вообще Тува мне запомнилась не горами, а степями: едешь по дороге, на автобусе, а вокруг — степи и степи, горы где-то далеко-далеко... Так мы перебирались из деревни в деревню, встречаемые родственниками — и в одной из них для нас устроили

особенно широкое застолье. Хозяева наварили-напекли — всего было много, но всё — самые простые блюда-кушанья — это я помню, хотя, как понимае-те, в 15 лет на такие вещи мало обращаешь внимания. Еще знаю, что не было в те времена такого понятия, как «салат», «гарнир» — среди простых-то людей. Это пришло позже, с распространением столовых, появлением кафе, рестора-нов... В Бийске на гулянках на стол выставлялась большая миска соленой ка-пусты, можно сказать, тазик — вот вам и салат. Вареная картошка — вот вам и гарнир.

А вот шанежки тувинские, открытые пироги с ягодой — это помню!

Хозяева пили бражку, а для гостей — для меня с матерью — купили в мага-зине сладкую наливку. Я глоточек из стаканчика попробовал, хозяева ласково-за-ботливо посмотрели, чтобы лишнего не хлебнул, дали закусить хлебом с толстым слоем домашнего масла — чтобы не захмелел.

Между прочим, господа-дворяне тоже когда-то учили своих детей, как пить: в 12 лет давали рюмочку водки — и объясняли, что это такое, и самое главное — как к этому делу в жизни относиться. Стопроцентная трезвость — исключительное явление, спиртные напитки сопровождают человека всю его жизнь, и надо не не пить уметь — надо иметь трезвое, ясное отношение!.. Среди моих старOVERов я не встречал ни трезвенников, ни пьющих людей. Выпить могут — всегда, пить бес-пробудно — никогда! Бог милует...

За столом мои старOVERы пили брагу кружками. Пили — и пели! Духовные песни. Никаких плясок — старOVERы не пляшут. У меня перед глазами по сей день стоит картина: полная комната ярко, нарядно одетых мужчин и женщин — по-ющих вдохновенно, от всей души! Песни, правда, очень необычные, мною доселе не слыханные. Я-то уже был набит не только газетными сведениями, но и эстрад-ными песнями.

«Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи о зем-ную ось...»

Это я, между прочим, впервые услышал по радио в столице Тувы — Кызыле. Услышал — и заморожено прослушал. Всё такое легкое, веселое, задорное — и так не соответствующее окружающей сермяжной правде — и зовущее жить легко, весело и задорно!.. Большая, большая политика — именно это и есть большая, серьезная политика...

Но не только на застольях да на рыбалках я бывал — довелось и потрудиться немного. На уборке сена. Люди метали стога — ну, и я что-то делал, помогал. Среди других работал и седобородый дедушка, наравне со всеми работал: под-цеплял сено вилами — и подавал на вершину стога. Нелегкая ведь работа! Однако дедушка сумел увидеть между делом, что у меня порван один сандалий, и когда вернулись с поля домой, он мне его сразу зашил. А было этому дедушке, одному из моих родственников, уже 100 лет... Нет, даже больше — 102 или 103. Сейчас он, конечно, в селениях праведников...

Да — интересный факт, связанный с тувинскими стариками-старOVERами: многие из них... отказывались от пенсии. Грех, дескать, получать незаработанные деньги. Как их ни уверяли, что эти деньги — заработанные... — Грех!..

А в деревне Шурмак я провел диспут на атеистические темы... Хозяева — люди хотя и молодые, но оказались строго религиозные. Слово за слово, и я, эда-кий весь подкованный, эту свою подкованность показал.

— Ни один волос с головы вашей не упадет без воли бога вашего...

— Ага! — а я вот не верю в бога — как же он это позволяет? Получается, по его же воле я в него не верю?!.

Хозяева на мою казуистику реагировали спокойно, без малейшего раздраже-ния — хотя я, войдя в агитационный раж, разговаривал с ними как с людьми от-сталыми, непонимающими, даже темными. Свысока вещал...

А они, понимая, что мой атеистический жар — как и всякий атеизм — дело преходящее, не позволяли себе даже оттенка снисходительности. Возражали мне просто и спокойно.

И вот я, чуть не полвека спустя, свободно пройдя через все жизненные испытания, оберегаемый ангелом-хранителем, — вспоминаю эту беседу в маленькой деревушке Шурмак.

Все в жизни состоялось по воле Его — для вразумления моего. И я благодарю Господа, что он дал мне это понять...

\* \* \*

Бийск, слякотный осенний вечер 1967 года, я сижу у тети Гаси и смотрю футбол — своего телевизора у нас с матерью не было. Интересный футбол прерывается событием невероятным, для меня поистине судьбоносным: на пороге квартиры появляется гостя, молодая женщина — сказочная фея из далекой страны. Так в мою жизнь вошла Галина Васильевна Атаманова, дочь одного из сыновей Вахрамея Атаманова — Василия.

Василий, с группой уймонцев уйдя в Китай, завел новую семью — так уж получилось. Родились дети, сыновья и дочери, одна из них — Галина, моя двоюродная тетя. Приехала из Швеции. О судьбе Василия и его детей я расскажу позже, а пока — Галина.

Жителям XXI века трудно себе представить сказочность сюжета: появление гражданина Швеции в городе Бийске. Существовал настоящий «железный занавес», отделявший Советский Союз от всего остального мира. Говоря по-нынешнему — виртуальный занавес, но покрепче всякого железного. Сталь, броня!.. Это сейчас человек Запада — естественное явление: покупаю я в бийском киоске газету, открываю — а там интервью с американским профессором, живущим и работающим в городе Бийске. Свободно описывается, как живет-работается американцу в российской глубинке, глубже которой и не бывает.

А в 1967 году западный человек в Бийске — инопланетное явление! Держала Галина себя так просто-естественно, родственно-дружески, что я сразу и навсегда принял ее как по-настоящему родную, свою...

— Здравствуй, тетя Галя! — написал я ей вскоре.

— Если я немного старше, так уже и тетя? — ответила она мне.

И навсегда она стала для меня просто Галей.

Как же я ждал ее писем, открыток — и каким радостным, ярким событием было их появление в почтовом ящике! Письма — всегда интересные, ровные, спокойные — хотя наверняка были у нее свои сложности в благополучной шведской жизни. В Швецию она приехала недавно, из Бразилии, язык не знала, работала на кухне в какой-то лечебнице... Однако никогда — ни слова — о трудностях. Только доброе, только хорошее — и о соседях, шведах, и вообще обо всем и обо всех — вот они, письма, у меня под рукой — за все годы, за многие десятилетия. Ни одно не потерялось! Хотя и вскрытые приходили, и с какими-то печатями «досмотрено»... Не потерялись — еще и наверняка потому, что в каждом были слова: Спаси Христос, храни вас Бог, желаем от Господа Бога всех земных, наипаче небесных благ...

И Господь нас хранил. И ласковые слова согревали: «целую, Галина». Между прочим, для того чтобы с нами встретиться, тогда, в 1967-ом, она потратила на поездку в Сибирь свои чуть ли не первые — а может и первые — отпускные деньги... Так что тут не просто обычный оборот письма: «целую» — это шло действительно от сердца и от души.

А какие красивые открытки присылала нам Галя! Особенно на Пасху и Рождество. Эх, не понимал я тогда смысла этих праздников... Красоту видел, чувствовал, глубоко чувствовал, а смысла не знал. Но, видимо, по капле, по капле, наполнялась моя душа красотой и радостью веры, и когда дошло до определенного уровня — всё и открылось.

Открытки были почти в каждом письме: виды Стокгольма, Гетеборга, а также Парижа, Греции, Африки... Они даже пахли как-то по-особому! А иногда — и просто какие-нибудь красивые картинки, симпатичные кошки, словно живые —

эти я все передал знакомым девчонкам... А виды Упсалы — города, где жила Галина?! Древний собор, королевский замок — люди, улицы, дома... Это был прямо бальзам на мою жадную до всякой экзотики душу! Я эти открытки словно под микроскопом изучал: каждое человеческое лицо, фигуру... Многих людей наверняка уж на свете нет — но их души помнят мои тихие счастливые минуты, мое внимание!

Иногда Галина баловала нас и небольшими посылками: авторучки, нейлоновые рубашки, что-нибудь из секонд-хэнда, который в Швеции был бесплатным... Люди, пожившие в Советском Союзе, меня поймут — они знают, какова была ценность каждой западной вещицы. Ну, и очки для меня. В своих заметках о советской жизни, перестройке, событиях 1991 года, я посвятил теме очков-оправ немало строк... Коротко: западные оправы лицо украшали, советские — уродовали. Так что спасибо шведской тете, имел я некоторую возможность покрасоваться в суровые годы повального дефицита...

Конечно, Галина приглашала приехать в гости, посмотреть, как люди живут. Помню даже, сколько это стоило в начале 1970-х.

— Ты набери, Гена, 400 рублей, и приезжай, обратно мы тебе билет купим, — писала мне она.

Четыреста рублей... В переводе на сегодняшний день — это тысяч пятьдесят с лишним. Для поездки на Луну — а Швеция в те годы была дальше — сумма достаточно реальная. Но... Я был студентом, а мать получала копеечное пособие по болезни — так что у нас и пятидесяти рублей на руках не бывало. И все-таки о поездке я подумывал, пока не пришло известие:

— Гена, цены у вас повысились вдвое, надо 800 рублей...

Приехали! И — странное дело! Времена меняются, эпохи сменяются, государственный строй, а тенденция все одна и та же: цены повысились вдвое...

Через тридцать лет, живя в городе Санкт-Петербурге, собрались мы семейством в круиз по Европе, и в Швецию должны были заехать, а там — я страшно обрадовался, когда увидел маршрут — в город Упсала! Боже мой, я даже названия улиц до сих пор помню, где жила Галя и которые когда-то старательно выводила моя рука, обмакивая перо в чернильницу: Eriksgatan, Norrlandsgatan... Живо представил себе, как войду в королевский замок, древний собор, пройду по местам, где ходила она, войду в дом, где жила она!..

Увы, заезд в Упсалу отменили, да так ловко все обставили, что и претензии не к кому предъявлять. Однако в Стокгольме я увиделся с родной сестрой Гали — Кирой Васильевной. Она очень готовилась встретить нас у себя дома, но времени было в обрез, и мы встретились только в центре города, посидели в кафе. Хотя мы видели друг друга впервые в жизни, встреча оказалась очень теплой, настоящей родственной.

Потом, стоя на платформе железнодорожного вокзала в Стокгольме и глядя на табличку «Упсала», я представлял, как Галина, будучи в Стокгольме, отъезжает домой, в Упсалу... «Здесь очень красиво, деревья в снежных кружевах» — пишет она мне в открытке 1970 года, отправленной с этого вокзала. А я попал в дождь, и это считается хорошей приметой — на счастье. И все время, пока мы находились в столице Швеции, небеса все окропляли и окропляли нас — на счастье, на счастье...

\* \* \*

Заграница для немалой части моих родных-староверов началась в 30-х годах, когда Василий Атаманов с группой уймонцев ушел в Китай. Так что не все оказались в Нарыме, на пустынном берегу северной реки, обреченные на смерть от голода, горя и страданий. И теперь потомки Вахрамея Атаманова есть по всему свету — от Швеции до Бразилии. Но вначале был Китай, где сибиряки, вместе с другими русскими людьми со всех концов России, стали налаживать свою жизнь... Все закончилось в 1945 году с приходом советских войск. Василий был арестован, отправлен в Советский Союз, получил срок, побывал на стройках ком-



мунизма. Остался жив. Когда освободился, поселился в городе Братске, жил в семье дочери от первого брака. Бывал и в Бийске, навещал своих племянниц — мою мать и тетку. Я его помню! В 67-ом году с Галей, приехавшей к нему из Швеции, Василий отправился на родину, в Горный Алтай. Умер в начале 70-х, похоронен рядом с первой женой. Вот такая судьба...

А русские из коммунистического Китая двинулись в Латинскую Америку, по большей части — в Бразилию, в том числе и семья Василия Атаманова. Один его сын, Виктор, стал архитектором в Сан-Пауло, другой, Михаил — инженером, работал в США, дочь Кира была сотрудником банка — в Швеции. Ну, а про Галю вы знаете...

С момента первого приезда Галины в Россию прошло двадцать лет, я за это время обосновался в Ленинграде-Петербурге, так что на встречу с ней, прибывшей в Москву — из США, с семьей, на празднование 1000-летия крещения Руси — мне было ехать недолго: ночь в поезде.

Днем мы встречали американцев в аэропорту. Вместе с Галиной приехали ее муж — Прохор Григорьевич Мартюшев и сын — девятилетний Гаврюша. Группа, прилетевшая рейсом из Нью-Йорка, оказалась невероятно колоритной! Мужчины — бородатые, в косоворотках, украшенных вышивкой, подвязанных поясами с кистями; женщины — в косынках, длинных платьях-таличках... Ткани все блестящие, яркие, шелковые, вышивка нарядная! А люди все крупные, рослые, свободные, уверенные в себе, спокойно-веселые, улыбчивые, говорливые... Наверное, аэропорт «Шереметьево-2» со дня своего основания не видел таких людей — при том русских, настоящих русских!

Прохор Григорьевич, которому было уже за 60, в Россию приехал впервые.

— Бедная страна, бедная, — произнес он после объятий и приветствий.

Это он углядел из окошечка самолета деревеньки, пригороды Москвы, «частный сектор» — убогие домишки, серые заборы, пыльные дороги... А сравнить ему было с чем: белый свет он повидал чуть не весь.

Из аэропорта поехали в гостиницу «Украина», поднялись на высокое крыльцо, на широкую площадку перед входом, где нас встретили подъехавшие ранее русские — из Бразилии, Австралии — отовсюду...

— Надо же, как ты похож на Виктора Атаманова, — сказали мне, — сейчас удостоверись.

Подвели ко мне маленького мальчишку, который меня не знает, а Виктора Атаманова знает. «Это кто?» — показывают на меня.

— Это дядя Витя из Бразилии...

Дядя Витя, правда, тогда не приехал — но, как видите, я его заменял!

Шучу. Каждый из нас занимает свое место во всемирном клане Атамановых...

Остаток этого дня был посвящен отдыху: фотографировались, ходили обедать в ресторан, гуляли вокруг гостиницы... Отдельный, особый поход совершили в магазин «Берёзка» при гостинице. Как бы это объяснить человеку XXI века, что это такое — магазин «Берёзка» в Советском Союзе? Сказочная пещера Али-бабы? Нет, это выход за «железный занавес»! В магазинах «Берёзка» продавались товары западного производства, которых не было в советских магазинах, но купить которые можно было только за валюту — которой не было — и быть не могло — у советского человека. Магнитофоны, джинсы, французские духи... Наши родственники купили нам с женой в подарок японский магнитофон! Вон он, и сейчас стоит, функционирует — что ему сделается?..

Набрав еще баночного пива — чудо из чудес, — под восторженно-завистливые взгляды продавцов двинулись в свой номер. Пиво оказалось слабенько-кисленьким, безвкусным — про пастеризацию мы тогда еще ничего не знали — но я сидел, упорно дул его...

Галина Васильевна с устатку прилегла отдохнуть, задремала, сняла с руки часы, положила их на тумбочку передо мной... Я пригляделся: легендарные швейцарские Longines! Взял, показал жене... Галина Васильевна заметила, сказала:

— Оля, заberi их себе на память, часы хорошие, золотые...

Вот такая она была — моя тетька Галя!

Ну, часы мы повертели, как диковинку, и положили на место...

Долгий летний день закончился веселым ужином в ресторане гостиницы «Украина» — с музыкой, вином и тесным дружеским общением всесветного русского братства. Переодевания к ужину, как вы понимаете, не было — разве что рубахи понаряднее надели, пояса покрасивше подвязали. Бороды расчесали — бороды ведь длинные, и «трогать», то есть подстригать, их нельзя!

Гости Москвы — такие колоритные, хотя и друг на друга похожие, да все как на подбор из дальних стран — произвели фурор среди прочей ресторанной публики. На вид они, вроде, супер-деревенские, а приглядишься — ан нет! Среди них, скажу я вам, даже настоящие американские миллионеры были...

Я подслушал один разговор. Порфирий Торан — русский из Турции, живущий в США, высокий молодой красавец — привлек внимание ресторанной дамы.

Пристально глядя на него и будучи уверена, что перед нею участник какого-нибудь известного фольклорного ансамбля, она спросила:

— Скажите пожалуйста, а где вы танцуете?

Порфирий, а попросту — Перфил, с улыбкой ответил:

— Вообще-то, я больше пою...

На следующий день мы отправились в Рогожскую слободу, где находится духовный центр Русской православной старообрядческой Церкви — здесь прошли торжества, посвященные 1000-летию крещения Руси. Увидел я древлеправославное благочестие, не спеша прошелся по старинному Рогожскому кладбищу, посмотрел на знаменитую колокольню — она вторая по высоте после Ивана Великого, стоял у древних икон, намоленных за века многими поколениями русских людей...

Когда настало время прощаться-разъезжаться, маленький Гавриил, правнук Вахрамея Атаманова, не хотел уезжать из России.

— Зачем отсюда уезжать? Здесь же все говорят по-русски...

И правда: устами ребенка глаголет истина!

\* \* \*

Расставаясь в Москве, мы договорились встретиться на следующий год в Америке... Вскоре нам с женой пришли красивые бланки-приглашения на посещение Соединенных Штатов — встал вопрос о покупке билетов. Вопрос неразрешимый, поскольку быстро выяснилось: билеты купить невозможно, их просто нет — и не бывает никогда. Причина проста: любые поездки на Запад стали большим коммерческим предприятием. Люди привозили оттуда, скажем, компьютер, продавали его — и получали чистую прибыль... ну, где-то 30-40 тысяч рублей. Абсолютно фантастическая по тем временам сумма. Первые, самые-самые первые «перестроечные» капиталы делались именно на этом. Устроить кому-то приглашение — и пять тысяч рублей в кармане!

Один знакомый уболтал меня, вышел на Галю, та сделала ему приглашение, он рванул в США — и остался там, затерялся... Обдул-облапошил нас. А Галю навещали сотрудники ФБР: где ваш гость? Хорошо, обошлось без последствий.

Начинались серьезные дела...

Так что мне, собравшемуся «просто в гости», делать у международных касс «Аэрофлота» было нечего... Но билеты я купил — поистине чудом. Когда об этом узнал мой знакомый, пожилой врач-еврей, у которого на руках имелось такое же приглашение, он сказал:

— Геннадий Иванович, я готов встать перед вами на колени, только вы мне скажите, как вы купили билеты?!

Вот такие пошли дела. Близилась новая революция.

Каждому разумному, думающему человеку было понятно — к власти в России рвутся те же силы, которые устроили в свое время так называемый «Великий Октябрь». Те же самые, из-за которых миллионы русских людей оказались за границей.

Вместе с новыми экономическими реалиями набирал обороты и страшный, остервенелый «демократический» хай... Он всех и оглушил, и разума лишил — даже многих разумных, думающих людей.

Но в 1989 году еще не верилось, не верилось, что буквально через два года эти силы полностью захватят власть, преступным образом развалят страну — и «демократическим» путем, путем обмана, через всеобщие «свободные» выборы заставят народ своими же руками посадить себе на шею новую диктатуру — «демократическую». В экономике — латиноамериканский вариант, в идеологии — изошренный сатанизм. И жертв «демократическая» революция принесет больше, чем коммунистическая — новые технологии! И русских людей за границей окажутся десятки миллионов. А роль оппозиции будут выполнять карикатурная ЛДПР да бессильная КПРФ, парализованная марксизмом-ленинизмом...

В августе же 1989-го в аэропорту «Шереметьево-2» еще царила тишь да гладь да божья благодать. Людей в зале — наперечет, каждый, где надо, взят на учет... Избранные счастливыцы заполнили бумажки и по большому приставному коридору-рукаву, мимо улыбающихся стюардесс, проходили прямо из зала в «Боинг»...

— Уф-ф-ф-фа-а-а-а!..

Даже запах другой. Атмосфера... ну, свободы — не свободы, а некой другой жизни. Я вообще первый раз ехал-летел за границу, да еще сразу — в Америку. Не верилось. Видимо, я волновался, так что стюард подошел ко мне, и — еще до взлета — предложил шампанского. Принес бокал, потом другой, потом кипу жарких журналов подал.

Не верилось...

«Ну, — думаю, — когда где-нибудь над Германией полетим — тогда поверю!»

Сию, попиваю шампанское... Да! А сколько же с меня сдерут за этот шампейн?! Хотя мы сегодня и при валюте, однако пропивать ее, даже с места не тронувшись... Ведь нам еще ехать из Нью-Йорка через всю страну — в штат Орегон!

Шампанское оказалось бесплатное, журнальчики очень занятные... Полетели.

В Нью-Йорке сели, багаж получили, в паспорта печати нам шлепнули...

— Ай эм фри? Я свободен? — спросил я у служащего.

Ты свободен! — с улыбкой воздел он руки к небу.

И поехали мы из Нью-Йорка через всю страну, от океана до океана... на автобусе. Как сели на 8-й авеню на Манхэттене — так и ехали трое суток, день и ночь, до города Портленда — только пересаживались иногда с автобуса на автобус. Во-первых, денег хватило, во-вторых — Америку посмотрели! И по Чикаго несколько часов побродили, и великую реку Миссисипи пересекли, и портреты американских президентов, высеченные среди скал, посмотрели... Среди кукурузы целый день ехали — тоже интересно!

Прибыли на автобусную станцию Портленда. Позвонили родственникам, и в скором времени — вот они, подъехали на машине.

Смотрю сейчас на фотографию, где запечатлен момент нашей встречи... Вот я: весь такой советизировано-демократизированный, в полосатой импортной рубашке, купленной по какому-то невероятному случаю в «Гостином Дворе»; в легких летних штанах, заказанных в ателье — и все равно сшитых не так, как надо... Боже, сколько же мороки было в те времена буквально с каждой тряпкой... Рядом со мной — Прохор, в самошивной косоворотке, перехваченной самодельным поясом под изрядным пузцом; в ладно скроенных широких штанах... Я поинтересовался, где бы мне такие купить...

— Да в секунд-хэнде, за два доллара! — был ответ...

Думаете, я крохобор-тряпичник? Ну что вы, что вы... Если уж самые серьезные, умные люди считают, что вообще всю советскую власть разрушил дефицит... Вот и считайте.

Галина — в длинном цветастом сарафане, а к ней прижался Гаврюшка, в голубой вышитой рубашечке... А рядом с ними Ольга — в хорошем розовом костюме, с шикарной прической, над которой в Питере долго колдовал парикмахер, когда ему сказали: в Америку человек едет!

В общем, мы старались. Так, что в Нью-Йорке, в аэропорту, здоровенная толстая негритянка-полицейская, когда решался какой-то вопрос, несколько недоверчиво переспросила у меня:

— Это ваша жена?..

Дескать, слишком шикарно рядом со мной выглядит.

По пути заехали в магазин, прикупили того-сего к столу, сыграли в какую-то лотерею за один доллар — но где выигрыш может быть огромным!.. Помню, еще покупали бананы у входа в магазин: они чуть «в крапинку», а потому стоили буквально центы.

Почему я обо всем этом толкую... Галина и Прохор — люди очень простые, как и все русские староверы, с кем довелось мне тесно общаться в Орегоне. Их день с утра до вечера наполнен вещами и делами абсолютно простыми, практическими. Зато душа, от момента пробуждения — и до отхода ко сну — обращена к Богу. Мелочи жизни остаются мелочами, а сама жизнь идет строго в соответствии с заповедями Божьими. И все дела идут успешно.

До понимания, осознания такой истины многим православным людям в России, как мне кажется, еще далеко... Потому и быт заедает, и всякие мелочи жизни — жизнь отравляют, и грех уныния одолевает... Только вера, постоянное молитвенное состояние души, помогает человеку обратить в радость каждое дело — от маленького до большого, помогает ясно видеть, чувствовать и понимать каждое событие — большое и малое. Кстати, защитит она и от грозной болезни нынешнего века — депрессии, то есть, попросту говоря, нежелания жить. Когда окончательно выдавим атеистическую заразу, тогда и будем жить полной жизнью...

Как мои родные староверы!

\* \* \*

По отличной дороге, меж высоких сосен, близ океанского простора, мы быстро пролетели и Портленд, и столицу штата — город Сейлем, и городок Вудбурн, и вот он — крохотный Bethlehem — Вифлеем — несколько домов среди ягодных плантаций. Дороги, как и всюду, где бы мы ни были в Америке — в идеальном состоянии. Причина проста: каждый штат США обсчитывает все свои нужды — абсолютно все, в том числе и на строительство-ремонт дорог — и подает заявку в Вашингтон, федеральный центр. Заявка удовлетворяется на 100 процентов. Вот и весь секрет. Такова система власти в Соединенных Штатах Америки — не система финансирования, а система власти!

Едва мы приехали, со всей округи к дому потянулись любопытные, желающие взглянуть на нас — и поговорить, поприветствовать. Даже бабушка в инвалидной коляске подкатила. Гости из далекой России — Советского Союза — тогда еще были в диковинку. Да чего там: даже в автобусе, в котором мы ехали через Америку, водитель однажды произнес в микрофон: в нашем автобусе — туристы из России! И все посмотрели на нас — и даже раздались приветственные возгласы...

В диковинку гости, наверное, и сейчас. Какая уж нам нынче Америка, какие поездки за компьютерами?.. Уже в середине 1990-х, мой гость из США, пройдясь по Петербургу, заметил:

— Мне кажется, всяких товаров здесь даже больше, чем у нас...

То же самое — завалить полки магазинов всякими товарами — можно было сделать и в середине 1980-х — безо всякой «перестройки». Тем более что все заводы и фабрики тогда работали, а в середине 90-х — стояли. Политика!

А просто так, просто в гости — кто же попрется из России — на край света? И на какие шиши?.. На какие шиши — можно было и тогда спросить, в 1989-ом.

На поездку в Америку мы потратили все-все-все свои деньги — несколько тысяч рублей, что откладывались «на кооператив». На покупку кооперативной квартиры, то есть. Очередь на которую еще неизвестно когда подойдет, через много-много лет — но деньги «на кооператив» надо копить уже сейчас, отказывая себе во всем... Кстати, про этот «кооператив» мне до сих пор попадают какие-то

сладенькие рассказы: дескать, можно было «встать на кооператив» — и купить квартиру без очереди, по доступной цене.

Чушь!

Во-первых, чтобы поставили в очередь «на кооператив», нужно, чтобы тебя еще признали нуждающимся, потом стоять чуть не столько же лет, сколько на бесплатную квартиру — и все время откладывать деньги, а потом, въехав в этот «кооператив», продолжать за него выплачивать каждый месяц, много лет... Попросту говоря, одних вынуждали покупать квартиру, а другим давали бесплатно. Хотя у всех было равенство в бедности, и государство могло бы не устраивать никаких «кооперативов».

Да и не покупал никто этот «кооператив»! Собираемые за него деньги — это были сущие гроши от реальной стоимости квартиры, но для отдельного человека — деньги всей жизни...

С чего это я пустился в такие рассуждения? Да ведь это самый больной в России вопрос! В России, но не в США и где бы то ни было, даже в любой мало-мальски развитой стране.

Вспомнил я сейчас свой клоповник-крысятник-комарятник площадью 10,3 квадратных метра в коммуналке на улице Курляндской — и дом Прохора — Галины, вполне бедных людей. У Прохора была пенсия 800 долларов, у Галины, гражданки Швеции, — пособие по болезни, 200 долларов. И всё. А дом... Прежде я никогда в таких домах не бывал, хотя на вид он совершенно простой. Но какой большой, просторный, удобный! Сколько метров квадратных? Да кто его знает, наверное, метров 200 будет, хотя американцы меряют дом не метрами, а количеством спален. Скажем, две спальни, три спальни — и всё понятно. У Прохора с Галиной было две, в каждой — свой туалет. Кроме этого, в доме еще несколько разных помещений: кухня — и рядом — столовая, далее — ванная. Рабочий кабинет Прохора, с компьютером. Кабинет, а не закуток — как обычно бывает в России. Баня еще только строилась... Самое же главное — все большое, просторное, сразу чувствуется: никто не стремится ужать эти пресловутые квадратные метры, понизить потолки, сэкономить на удобстве — на жизни человека, в конце концов! Никуда не надо протискиваться, пролазить, всюду можно свободно шагать, с размаху стул отодвигать, широко руками разводить, двери распахивать! А в туалет, на унитаз, влезет любой ширины человеческий таз... А гостиная?.. Ах, гостиная моя, ты гостиная... Петь хочется, стихами говорить! Дверь с веранды распахнул — и в гостиную сразу шагнул. И шагай — хоть прямо, хоть вправо, хоть влево, и присаживайся на диван — диваны идут по кругу, дорогого гостя ждут...

Однако, войдя в дом, гость обязательно первым делом перекрестится, да с поклоном. Главные в доме — иконы, большие и малые, в каждой комнате развешанные-расставленные, с любовью украшенные цветами, расшитыми яркими полотенцами...

Нам с Ольгой выделили комнату с двумя кроватями — и со своим туалетом, разумеется... Едва мы поставили свои вещи, как сразу — за стол. Кроме нас и хозяев был еще один гость, свой, орегонский, Семен Созонтьевич Фефелов — они с Прохором Григорьевичем да-а-вние друзья... И в Китае вместе жили, и в Бразилии, и на Аляске — и даже несколько лет в Уругвае! Да, был такой период в жизни Прохора — Галины, уругвайский. На память о нем у меня имеются несколько открыток с уругвайскими видами, да несколько марок — с лицами уругвайских генералов... А сейчас мы сидим за столом в поселке Вифлеем, пьем «канадиян» — канадский виски — и разговор у нас все вертится вокруг моего приезда — прямо-таки явления в старообрядческом мире орегонской общины. Явления настолько невероятного, что забежавший на минуту сосед, знакомый вам Порфирий Торан — Перфил, аж воскликнул:

— Да ... какой же черт тебя сюда занес?!

Это было первое — и последнее ругательное слово, услышанное мною в Орегоне! Перфил тут же спохватился, что сказал не то... Ну, а в последующие дни мы стали отличными друзьями!

Пока же — Прохор, Семен, огромная пластиковая бутылъ «канадияна», запиваемого кока-колой, и уже поздний вечер, и в глазах у меня всё начинает переворачиваться вверх тормашками, и сердце у меня куда-то проваливается, и всё это не столько от «канадияна», сколько от нескольких бессонных ночей — в самолете, в зале ожидания аэропорта имени Джона Кеннеди, в летящем день и ночь автобусе... И тут Семен неожиданно заявляет:

— Ты же, наверное, еще и подзаработать хочешь? Я в четыре утра еду на Аляску — поехали со мной?..

Я встрепенулся:

— И что же я там буду делать?

— Как что? Круглое катить, плоское тащить!

— И сколько заработаю?

— Ну... тысяч по пятьдесят-то возьмем!

Помаленьку, слово за слово, выяснилось, что ехать надо в поселок Николаевск на Аляске, на морскую путину, недели на две, и время отъезда перенести никак нельзя, поскольку срок путины государство определяет строго по дням и даже часам. А ехать надо километров четыреста до канадской границы, и там еще тысячи две — через всю Канаду, с юга на север, да еще по Аляске... А у меня уже не только в глазах всё переворачивается — я и сам уже переворачиваюсь.

Пришлось отказаться. Хотя про эти 50 тысяч долларов я до сих пор (сами понимаете), до сих пор иногда с сожалением вспоминаю... Хотя... Бог знает, к чему бы эти 50 тысяч в «лихие 90-е» меня привели, и что бы с ними стало, и что со мной стало, окажись они у меня — тогда...

Пока же мы с Семеном Созонтъевичем расстанемся, но встретимся еще, встретимся!

\* \* \*

Спал я последующую ночь сном праведника. Проснулся поздно и, оглядывая комнату в ярком свете дня, увидел у изголовья большую, богато украшенную икону... Боже, какой же путь проделала она, через какие опасности прошла, чтобы обосноваться здесь. В Орегоне, в поселке Вифлеем, чтобы охранять мир и покой верных ей людей?! Но пока что этот мир был для меня закрыт, и начались обычные будничные хлопоты.

По русскому обычаю — в баню бы надо с дороги, но поскольку с вечера идти в баню не было никакой возможности... Ближайший сосед, Перфил, повез нас в баню куда-то на машине. Подъехали прямо к бане, на задний двор. Хозяина не было видно, а хозяйка занималась своими делами неподалеку.

— Можно в баню?

— Можно...

Услыхав про гостей из России, она поглядела на нас, приложив ладонь ко лбу, от солнца, козырьком. Интересно, конечно, да мы-то ей — никто... Собралась уже было пойти к дому, да напоследок спросила: как фамилия?

— Атамановы.

Хозяйка преобразилась! Подскочила к умывальнику, сполоснула руки, быстро подошла к нам, радостно улыбаясь, подала руку для знакомства.

— А моя девичья фамилия — Атаманова!

Надо ли говорить, какое застолье нас ожидало после бани? Евдокия Тарасьева и Кирилл Васильевич Бабаевы расстарались вовсю: даже пельмени настряпали! Явился на стол и уже знакомый мне «канадиян». Выпили за встречу, за приятное знакомство, разговорились, кто есть кто, откуда приехали такие Атамановы. Быстро выяснилось: для Евдокии Тарасьевны мы никакая не родня, просто однофамильцы — и безо всяких сомнений, потому что она и Кирилл Васильевич из турецких русских, в Орегоне их называют — турчане. Они — казаки-некрасовцы, потомки тех русских, что несколько веков назад, ведомые атаманом Игнатием Некрасовым, ушли в Турцию после поражения крестьянского восстания под руководством Кондратия Булавина... Двести пятьдесят лет прожили русские в чуждом

окружении — и ни с кем не смешались. Община покинула Турцию в 1962-м году: кто-то поехал в СССР, а кто-то в Америку.

Конечно же, только вера помогла им сохранить себя и добиться уважения окружающего народа. Кирилл Васильевич, например, даже служил офицером в турецкой армии. Говорит, молил Бога, чтобы не пришлось воевать против русских...

Как видите, несмотря на всю простоту компании, разговор у меня везде и со всеми собеседниками сразу переходил на глобальные темы — время было такое. Я, гость, узнавал историю и жизнь орегонской общины, а хозяев страшно интересовала наша перестройка, Горбачев и перемены в жизни Советского Союза. Шел 1989-й год, и все мы были полны самых радужных надежд. Некоторые из орегонцев, как вы знаете, за год до этого побывали в Москве на праздновании 1000-летия крещения Руси — побывали на земле своих предков, встретили знакомых и незнакомых родственников. А мы с Бабаевыми — побывав у них в бане и на послебанном застолье — стали просто не разлей вода!

Сказав о турчанах, скажу и о других составных частях орегонской общины: это харбинцы и синьцзянцы. Тут всё понятно: это те русские, которые в годы гражданской войны, а потом и коллективизации, ушли в Китай — в район города Харбина, что на востоке, и провинцию Синьцзян, что на Западе. Между прочим, это очень далеко друг от друга — тысячи три километров! Потому и синьцзянцы — харбинцы, по своим привычкам, оборотам речи, некоторому бытовому укладу — люди разные. Мои Галина Васильевна и Прохор Григорьевич — харбинцы, и Прохор Григорьевич, например, подшучивал над некоторыми привычками синьцзянцев...

Впрочем, не только эти три основные группы составляют русскую общину Орегона — мне доводилось встречать даже русских из Ирана. А в конце 1980-х годов здесь стали появляться русские из Румынии, так называемые липоване — тоже не один век живущие за пределами России. Их приветствовали в Штатах в качестве женихов и невест для орегонских русских.

А сблизила столь далеких друг от друга русских людей не только вера, но и дела церковные.

\* \* \*

Еще где-то в конце 1970-х, в одном из писем Галина написала, что они с Прохором пришли к мысли: нужна святость — то есть нужны священники, нужна церковь. Мысль естественная и простая: все когда-то были в лоне церкви, духовно окормлялись священниками, но потом, вследствие раскола и гонений на старую веру, утратили священство и церковь — стали беспоповцами. Когда же появляется возможность утраченное вернуть — надо возвращать. Прохор съездил в Румынию, к липованам, которые сохранили старую веру такой, какой она была до раскола на Руси — поговорил, посмотрел... Когда вернулся в Америку, вокруг него мало-помалу образовался круг желающих вернуться в лоно старообрядческой церкви.

Появилась в Орегоне и церковь. По воле Божией появилась — и трудами орегонских мужиков, умеющих делать своими руками всё. Вот она — стоит, как игрушечка: яркая, нарядная, красивая. Свет истины православия на тихоокеанском берегу Америки.

Но! Сразу надо сказать: многие орегонские русские не приняли священство, остались беспоповцами. Людей можно понять: ведь и этой традиции уже не один век! Словом, в общине произошел самый настоящий раскол. Со временем он, конечно, сгладился, но тогда, в 1989-м году, был весьма и весьма острый. Люди, до этого прожившие бок о бок не одно десятилетие, прошедшие вместе по странам и континентам, оказались разделенными — не смогли найти согласия по самому главному вопросу...

Церковь находится прямо напротив дома Прохора и Галины: выходишь на крыльцо — и вот они, сине-белые купола. Метров сто по тропинке, по траве-мураве (словно где-нибудь в России!) — и ты у входа. Первые двери можно открыть

и в притвор войти, однако в саму церковь не пройти: батюшка не разрешает. Во-первых, я без бороды; во-вторых, хоть и крещеный, а все равно что некрещеный: в 37 лет крестился в никонианской церкви, и без полного погружения в воду. Некрещеный... Предложили мне и моей супруге Ольге покреститься с соблюдением всех древлеправославных — истинных — канонов. Мы долго не раздумывали — согласились.

Погожим летним утром двинулись в путь — на речку, где есть подходящее место для крещения. Путь оказался неблизкий, километров тридцать на машине ехали. Батюшка, мой крестный отец — Прохор Григорьевич, Ольгина крестная мать — Евдокия Тарасьева, и мы с Ольгой. Приехали. Очень красивое место, прямо Горный Алтай! Невысокие горы, хвойный лес, и неширокая, быстрая — но ласковая, теплая горная речка. Место для крещения сам Господь создал: ровный каменный приступок, выдвинутый в реку, а глубина перед ним — по горлышко, и хорошее галечное дно. Зашли мы с Ольгой в воду, батюшка совершил обряд — и трижды нас окунул, положив нам ладони на головы. И вышли мы из воды уже как равные всем православным христианам люди...

Теперь могли и в церковь войти, тем более что я бороду со времени приезда бритвой не трогал, а крестный подарил мне красивую вышитую косоворотку — и пояс. Ольге подарили платье-таличку и платок. Крестики нам обоим дали золотые. Таким образом, преобразились мы и внешне, и внутренне.

На церковных службах стояли вместе со всеми. И так, день за днем, день за днем, скоро и подошли к другому важному событию в своей жизни — венчанию. Помню, помню, как стояли мы, нарядные, пред алтарем, святыми иконами, и отец Тимофей скреплял наши узы брачные древними святыми молитвами...

После венчания нам устроили веселое брачное торжество — именно так: более веселое, нежели торжественное. Кстати, тут хочу сказать о характере орегонских староверов. У нас в России до сих пор со словом «старовер» связывается нечто суровое, хмурое, отшельнически-замкнутое. Наоборот: я встретил людей открытых, улыбчивых, гостеприимных — даже, можно сказать, компанейских.

Есть у меня видеозапись нашей орегонской свадьбы: такого искреннего веселья, притом в большинстве своем людей пожилых, я и не припомню. Народу собралось-съехалось довольно много, некоторых видел первый — и последний — раз. Как я понял, они просто хотели порадоваться за новобрачных — и одарить хотели! Меж гостями с круглым ярким подносом, уставленным рюмками, ходил так называемый «тысячка» — и с прибаутками собирал рубли для молодых. Да-да, зеленые американские доллары гости называли рублями! (А мы, особенно в то время-то, хмыкали — «деревянные»...) Поднос — яркий, с перламутром, золотом, стоит у меня сейчас дома, на подставке. Сувенир. Память...

Смотрю видеозапись — «тысячка» среди гостей ходит, приговаривает:

— Ножками идем, ручками несем — добрые слова скажите, а чашечку позолотите. Одна тарелочка сколько стоит, а я хочу тысячами vorочать!

Гости рюмки выпивали, зелеными «рублями» тарелочку золотили...

— Это на дорогу — чтобы молодые в гости к нам приехали!

В гости не приехали — а сердцем всегда с вами, дорогие мои староверы...

*(Окончание следует.)*





Дмитрий НЕЧИПУРЕНКО

## ВОСПОМИНАНИЯ\*

*Когда отец вышел на пенсию, он сказочно разбогател. Нашёл дело по душе: при отделе рабочего снабжения ему дали мастерскую со станками — там одних токарных три станка, а ещё фрезерный, точильный, сверлильный!.. ОРС — это все магазины в городе и посёлках. В этих магазинах постоянно что-то случалось — то замок сломается, то отопление прохудится, то резак для мяса затупится. И директора магазинов или на поклон к отцу: выручайте, Дмитрий Алексеевич!*

*Отец чинил замки, придумывал новые резаки и прессы, конструировал системы отопления. А в благодарность получал мёд и масло, сыр и яйца, рыбу и мясо... Так что пришлось ему даже завести второй холодильник — в одном уже всё не помещалось. И так продолжалось... Не год и не два, а двадцать с лишним лет! Уже когда отцу было за восемьдесят, кончилась эта лафа — но не потому, что он не мог или не хотел работать — позвали его переехать в Херсон, поближе к родне.*

*Там начался у него новый виток жизни: отец стал записывать свои воспоминания — о службе в авиаполку на Дальнем Востоке, о работе на заводе, о Великой Отечественной войне, — их я и предлагаю вашему вниманию.*

Юрий НЕЧИПУРЕНКО

## ЛЁТНАЯ ШКОЛА

В 1935 году мне исполнилось 22 года, и по повестке я явился в херсонский военкомат. Там собралось много призывников, и после переключки всех строем отправили на вокзал. Но меня не вызывали, моего дела не нашли и дали повторную повестку. По дороге домой вспомнил слова моих недоброжелателей: «Его в армию не возьмут — он внук самого богатого кулака на селе». Вдруг за время отсрочки, что они дали, в военкомате узнают о моём происхождении, и тогда — прощай служба в армии [1].

Но всё обошлось, через три дня военком заявил:

— Документы нашлись! Я вас порадую — со всей области мы отобрали только троих призывников, в том числе и вас, в особую Краснознаменную Дальневосточную Красную Армию. Ею командует маршал Советского Союза Блюхер. А сейчас, — добавил он, — я отвезу вас на вокзал к поезду.

Примерно через час мы — трое избранных — уже сидели в плацкартном вагоне. Военком провожал нас как своих детей — даже о постели позаботился.

В Харькове нас встретили военные и повели к длинному составу. В каждом вагоне размещалось по 32 человека.

Примерно через 20 суток мы прибыли на место службы: станцию Куйбышево-Восточная в ДВК (Дальневосточном крае), это 60 км от Благовещенска. Я ехал рядом с Василием Кручковским и рассказал ему за это время чуть ли не всю свою жизнь. Прибыли ночью — и нас строем повели в баню. Из бани выш-

---

\* Публикация Юрия Нечипоренко. Печатается в сокращении.

ли уже в новом обмундировании. Потом — казарма и койка с чистой постелью. Утром — подъем и зарядка.

Через неделю старшина лётной школы Ветренко предупредил курсантов, что на утренней поверке будет начальник школы майор Маслов.

Начальник рассказал, что школа будет готовить нас по специальности «стрелок-радист», объяснил, что это такое. Потом ответил на вопросы курсантов — и обратился к нам:

— Мне нужен человек, как говорят, мастер на все руки. Если есть такой, прошу сделать один шаг вперед.

В строю воцарилась тишина. В шеренге за моей спиной стоял Кручковский. Он так толкнул меня в спину, что я вылетел вперёд и чуть было не распластался на плацу.

Я быстро выровнялся и принял стойку смирно. Курсанты засмеялись, улыбнулся и начальник школы.

— Вот и хорошо, — сказал он, — после окончания утренней поверки явитесь ко мне.

Жить я стал теперь не в казарме — в отдельной комнате, вместе с бухгалтером школы (он тоже был отобран из курсантов).

В школе я много чего делал. К примеру, в новом здании не было дверных ручек, и достать их было негде. Вместо них к дверям были прибиты ремешки. Я сделал ручки из медных труб, выглядели они добротно, с благородным красным отблеском. Приходилось мне писать лозунги и рисовать углём на полотне портреты больших военных чинов. Мог и фотографировать, если надо было.

Почти сразу же обратил я внимание на доску с номерками для курсантов: номерки были изготовлены из простой жести, имели неприглядный вид. За неделю мне удалось изготовить стальной штамп с названием школы, и после двух ударов тяжелого молотка из листового алюминия получались аккуратные номерки.

Первый отштампованный номерок я показал начальнику штаба Филимонову. Он заинтересовался, как я это делаю. Затем повёл меня к начальнику школы:

— Вы знаете, что у нас в школе скоро начнут штамповать деньги? — И показал ему мой номерок. [2]

Пришлось мне продемонстрировать и начальнику школы, как штампуются эти номерки. Он распорядился выдать мне денежное вознаграждение.

Меня начали уважать, кое-кто из начальников стал приглашать домой. Частенько заходил я к майору Филимонову. У него была милая жена и сын-подросток: майор всегда советовал ему приходиться ко мне в школу и смотреть, как и что я делаю.

Приглашал меня к себе и начальник строевой службы школы капитан Новиков. Интересовался, откуда я родом и где учился мастерству. А когда узнал, что я не хожу на утреннюю зарядку — возмутился и потребовал, чтобы я ежедневно являлся к нему в 6 часов утра — чтобы вместе бегать по 3-4 км. Потом холодный душ и — «по домам», как он выразился. Меня это не очень-то прельщало, но приказ есть приказ. Капитан мне понравился: он оказался интересным и много знающим человеком. Наверно, и я ему понравился.

Однажды он показал мне дорогую ему книгу — альбом с репродукциями. Интересно, что раньше при моём появлении он этот альбом прятал под подушку. Там были собраны шедевры мирового искусства, были и изображения обнажённых молодых женщин. Я попросил разрешения перерисовать несколько картин, но он не согласился. И попросил меня об этой книге никому не рассказывать.

На следующее утро меня разбудил старшина школы Ветренко. Ночью арестовали всё начальство школы и большую часть преподавателей. Курсанты были отправлены на занятия по стрельбе. Когда мы были на полигоне, то увидели бегущего военного. Это был преподаватель военного дела Немцов, и бежал он к приближающемуся грузовому поезду.

Мы помчались вслед за ним, но опоздали; опоздал и Немцов: он не успел броситься под поезд — его только сильно ударило буфером в правое плечо, от-

бросило от железнодорожного полотна. Когда мы подбежали к нему, он ещё раз попытался броситься под колёса. Через рубашку сочилась кровь. Он тихо, с трудом вымолвил:

— Ребята, зачем вы мне помешали, мне всё равно уже не жить.

Подъехала легковая машина, двое военных посадили в неё Немцова и увезли.

На следующий день ко мне пришла жена Филимонова. В школе её хорошо знали, она руководила кружком самодеятельности.

— Вы же были частым гостем у нас, разве мой муж хоть раз что говорил против Советской власти? Какой же он враг народа? — плакала она.

Я старался убедить её, что произошла какая-то ошибка и что её мужа скоро освободят (его правда освободили через два месяца).

О Немцове же пошли слухи, будто в его сейфе хранились секретные чертежи нового пулемета «Шкас». И каким-то образом фотографии этих чертежей оказались у японцев.

Вокруг японского шпионажа на Дальнем Востоке было много шума. Почти ежедневно в краевых газетах жирным шрифтом публиковались фамилии людей, замешанных в шпионаже. Рассказывали, что в это дело впутывали детей. Например, в авиагородке Белоногово возле столовой начал появляться мальчик 6-7 лет. При проверке обнаружили в его карманах спички без коробок. Оказалось, что при входе посетителей в столовую мальчик перекалывал спички из одного кармана в другой. Так вёлся подсчет военных в лётном городке.

В лётной школе у меня был друг, Михаил Болгарин — мы были еще до призыва хорошо знакомы: он был моим земляком, из соседней деревни, что через речку Ингулец. Раз Болгарин пришёл как в воду опущенный, очень переживал: в Особом отделе ему предложили сотрудничать, но он не хотел, чтобы его называли стукачом — и отказался. Тогда его спросили: «Вы что, против Советской власти?» Он был за Советскую власть — но кто же ему поверит...

Вскоре он пропал. Перестал бывать у меня. Я сам пришёл к нему в казарму и обнаружил пустую койку. Соседи сказали, что Болгарина куда-то забрали со всеми вещами. Больше о нём я ничего не узнал...

Вскоре и мне предложили «сотрудничать». Я понял, что отказываться, как Болгарин, нельзя — исход будет плохим. Мне поручили принимать доклады и передавать то, что заслуживает внимания, в Особый отдел. Докладывать должны были Нечитайло и Дибров. За всё время учёбы в школе мы вместе не разоблачили, конечно же, ни одного врага народа.

Репрессии в армии продолжались не один год. В 1937-ом я стал свидетелем арестов уже не в школе, а в военной части. В это время я служил стрелком-радиостом в 22 авиаполку на ДВК. Командовал полком подполковник Громов, которого все уважали. Однажды ночью его арестовали, а тогда судили так: «Арестовали — значит, враг народа». Через три месяца Громова, однако, освободили. Объявили приказ всему лётному составу полка собраться в армейском клубе. Перед нами появился Громов. Выглядел он не лучшим образом: заметно постарел, на лице появились морщины. Со всеми поздоровался, ему радостно и дружно ответили. Громов начал говорить по-военному — кратко и ясно:

— Мне очень жаль, но я приехал попрощаться с вами. Поблагодарить вас за то доброе отношение, которое вы проявляли ко мне. Мне предложили вернуться в полк, но я отказался — и только потому, что в вашу среду — добрых и порядочных людей — вписался один стукач, из-за которого не только я, но и вся моя семья пережила трагедию. Разоблачить мне его не удалось, но я знаю, что он находится среди вас, поэтому решил — в полк больше не возвращаться.

Потом он пожелал всем успехов и удач и, козырнув, покинул зал. Было видно, что ему было тяжело уходить из полка, которым он так дорожил. Больше я о Громове ничего не слышал.

## ВОЙНА С ЯПОНИЕЙ

После того случая с Грозовым я служил в армии ещё почти четыре года. Полк наш стоял в авиагородке Белоногово. Помню, как я волновался, когда меня направили из школы в полк. Как-то меня встретят, кто у меня будет командиром?

Старший лейтенант Логинов отнёсся ко мне доброжелательно. Добрым и порядочным человеком оказался и штурман самолёта Довгуша. Вскоре командир уже беседовал со мной по душам. Я узнал, что рос он без отца и матери, был воспитанником ленинградского детдома. Он мне признался:

— Знаешь, Димка, сердце у меня барахлит. Только так странно: как пойду на медкомиссию — работает как часы. А в полёте иногда прихватывает. Только ты никому не говори, куда я пойду — я же лётчик, ничего больше не умею.

Эскадрилья, в которой я служил, облётывала новые машины и перегоняла их из Иркутска в Хабаровск. Однажды, на полпути, я получил закодированную радиogramму, адресованную командиру эскадрильи майору Калинушкину. В ней говорилось: «Немедленная посадка аэродром Уккурей». Я сразу же доложил об этом командиру. Оказалось, что аэродром как раз под нами — и командир, не теряя времени, вышел перед эскадрильей. Условным взмахом крыльев приказал следовать за ним. Все самолеты приземлились благополучно.

Комендант аэродрома сообщил, что два часа назад с этого аэродрома полк истребителей по тревоге вылетел в Монголию — началась война с Японией. Мы ждали, что и нас туда пошлют, но этого не случилось.

Этот полёт запомнился мне больше всех. Помню, как переживал, когда командир повёл эскадрилью на посадку: «А вдруг я в радиogramме в чём-то ошибся... Что будет тогда?» Эту радиogramму обязаны были принять все радисты, тем более — радист командира эскадрильи. Но почему принял её один я? Моё беспокойство заметил командир:

— Старшина, не волнуйся, ты всё сделал правильно, из Хабаровска уже пришло подтверждение этой радиogramмы.

Потом выяснилось, что радиogramму принимали и другие радисты, но их командиры не осмелились повести эскадрилью.

На этом аэродроме нас продержали в полной боевой готовности целую неделю; затем отправили по прежнему маршруту в Хабаровск, а из Хабаровска поездом отправили на место базирования, в Белоногово. Обстановка была напряженной. Шла подготовка к широкомасштабной войне с Японией. Весь лётный состав эскадрильи был обязан знать назубок расположение аэродромов и стратегических пунктов противника. Мне на всю жизнь запомнились такие города, как Хайлар, Харбин, Цинциннар, Фашань и другие.

Вблизи нашей границы начали появляться японские истребители. Это обеспокоило командование. Надо было узнать, где же находится их аэродром. И тут помог случай. В одну из ночей на берегу Амура со стороны противника раздался шквальный пулеметный огонь. Вскоре он затих. Наши пограничники увидели плывущего к нашему берегу человека. Его проводили в штаб пограничной службы. Там выяснилось, что этот беженец — участник строительства нового подземного аэродрома Тудаудзянь. Из троих сбежавших смертников только ему одному удалось остаться в живых. Так на нашей лётной карте появился ещё один японский подземный аэродром.

Во время войны японцы выпускали в радиоэфир передачи на русском языке, где рассказывалось о репрессиях и ужасах коллективизации. В полёте командир как-то раз говорит:

— Давай, Димка, послушаем японцев.

Настроил я радиостанцию на их волну, послушали-послушали, потом командир выругался:

— Хватит, ити их мать!

В Особом отделе в полку у меня допытывались:

— Японцев слушаете?

— Нет, что вы...

## КАТАСТРОФЫ И ЧИНЫ

В эскадрилье у нас произошёл редкостный случай, который мог привести к человеческим жертвам. Было это так. Летчик Абрамов испытывал в воздухе двухмоторный самолет Р-6. Пять-шесть человек на земле (в том числе и я) следили за полётом. Наш аэродром был рядом, и было хорошо видно, как Абрамов после окончания испытания пошёл на посадку, но посадка почему-то не получилась — а он, не меняя ни курса, ни высоты, шел прямо на авиагородок. Сначала самолет задел колёсами конёк крыши двухэтажного дома. Дальше на его пути оказались бельё, развешанное на проволоке во дворе, и дощатый туалет общего пользования.

Бельё с проволокой он утащил за собой, а туалет снёс крылом, да так удачно, что сидевшая в нем женщина в оторопи какое-то время оставалась сидеть на виду у всех, а когда опомнилась, кулаком начала грозить улетевшему лётчику за то, что он уволок её бельё. Делала она это стоя — и даже подол забыла опустить. Эту женщину мы все хорошо знали, она была женой командира эскадрильи Николая Тихонова. Понятно, что всё то, что я описываю, происходило очень быстро.

Нужно было как можно скорее узнать, что же случилось с самолётом и с лётчиком. Мы прибежали к месту посадки как раз вовремя. Абрамов стоял на крыле с папиросой во рту и собирался зажечь спичку... Криками мы помешали ему это сделать — и как после выяснилось — правильно поступили. В системе подачи горючего была обнаружена течь, и его парами был заполнен весь самолёт, так что зажжённая спичка могла привести к взрыву.

В это время, о котором я пишу, в Советском Союзе, особенно в авиации, происходило много событий. Понятно, что о том, что прославляло родину, много говорилось: по радио, в печати. А про неудачи молчали — всё держалось в строгом секрете. Это случилось и с прославленным женским экипажем самолета «Родина» — Осипенко, Гризодубовой и Расковой.

Нужно было показать всему миру, что в Советском Союзе героями могут быть не только мужчины, но и женщины. Экипаж совершал беспосадочный перелет на Дальний Восток. Но самолёт, пролетев две трети пути, потерял связь с землёй. Подвела и погода: пропала видимость. Горючее должно было уже закончиться, все переживали — а за этим полётом следил сам Сталин.

На поиски пропавшего экипажа была брошена военная авиация, но безуспешно. Дня через два-три самолет нашёлся. Его случайно заметил в тайге пилот гражданской авиации Сахаров, летевший с почтой из Комсомольска в Хабаровск. На это место на военно-транспортном самолёте был срочно послан парашютный десант. Вслед за ним на самолете «Дуглас» полетел штурман Бряндинский. Но самолёты столкнулись в воздухе над местом вынужденной посадки «Родины». Пятнадцать человек погибло, четверым десантникам удалось спастись. Если об Осипенко, Гризодубовой и Расковой много шумели в печати и по радио — как о героинях, то об этой катастрофе все молчали.

Лётному составу прочитали секретный приказ, в котором говорилось, что Бряндинский проявил самоволие, что он хотел примазаться к чужой славе.

Был приказ и по случаю гибели Чкалова. Он тоже обвинялся в самовольстве и невнимательном отношении к советам обслуживающего персонала. Более длинным по содержанию был приказ по случаю гибели Осипенко и комкора Серова. Они оба погибли из-за нарушения основных правил лётной службы.

За время службы в армии я встречался с тремя военачальниками: маршалом Блюхером, начальником политуправления Красной Армии Гамарником и командующим Дальневосточной Красной Армией Коневым. Блюхера я видел, когда он посещал нашу лётную школу. Маршал потребовал, чтобы все курсанты в казарме подошли к нему как можно ближе. Мне удалось его хорошо рассмотреть. Коренастый, среднего роста, в полотняном костюме с большими маршальскими звездами на петлицах... Его сопровождал какой-то чин, записывал в блокнот все вопросы, которые задавали курсанты. Блюхер подробно расспрашивал курсантов, чем они довольны, а чем недовольны на службе. Он понравился всем курсантам.

Нашу школу посещал и Гамарник. Бросались в глаза его большая чёрная борода и длинная шинель (как у Держинского). Глаза его показались мне строгими и злыми. Рядом с ним тоже шёл военный чин с двумя ромбами на петлицах. Я плёлся в хвосте процессии со связкой ключей от классов. В мою обязанность входило открывать ту дверь, на которую укажет пальцем Гамарник. За время хождения по коридорам школы он задал начальнику школы один-единственный вопрос: «А голланки (камины. — *Д. Н.*) проверяли?» Гамарник посетил и Красный уголок — и чем-то остался недоволен. После выяснилось, чем. Среди портретов военачальников Красной Армии его портрета не было. На второй день после ухода Гамарника меня вызвал к себе в кабинет Маслов и признался:

— Нехорошо получилось, что в Красном уголке не оказалось портрета Гамарника. Этот наш пробел необходимо ликвидировать.

Вручил мне фотографию Гамарника и потребовал срисовать с неё портрет.

Вскоре портрет был готов — и одобрен начальством. В тот момент, когда я собрался нести его в Красный уголок, в мастерскую ворвался курсант, по национальности мордвин, с топором в руках. Взглянув в его разъяренные глаза, я не на шутку испугался и подумал, что он сошёл с ума. Не обращая на меня внимания, он подбежал к портрету Гамарника и со всего размаха разрубил раму. Когда он уже полностью разделался с портретом, то повернулся ко мне и заявил: «Ты нарисовал врага народа!» Я ему не поверил — и побежал к майору Филимонову. Тот подтвердил, что действительно только что передали по радио, что Гамарник — враг народа — и что он застрелился.

Трагично сложилась и судьба маршала Советского Союза Блюхера. В это время шла война с японцами на Хасане. Руководил боями сам Блюхер. Пошли слухи, что Сталин был недоволен ходом войны и по телефону очень ругал Блюхера. Маршал не сдержался и бросил трубку: отказался выслушивать Сталина. После чего был срочно вызван в Москву. Его портреты были отовсюду сняты. Вскоре он вернулся, и его портреты были повешены на прежние места, но ненадолго. Блюхера опять вызвали в Москву, объявили врагом народа и расстреляли.

Вместо Блюхера командующим Дальневосточной Красной Армией был назначен Конев. Мне пришлось встретиться с ним весной 1939 года. В то время нашей эскадрилье было дано задание перегонять собранные самолеты «СБ» из Спасска на аэродром Хабаровска. Все самолеты взлетели благополучно, только в нашем один мотор забарахлил: из выхлопных труб повалил густой дым, что-то загрохотало. Это заметил комендант аэродрома — и пустил впереди самолета красную ракету, запрещающую полёт. Мой командир был вынужден вернуться на аэродром, но ненадолго. Он снова пошёл на взлет — оба двигателя заработали нормально. Самолёт взял курс на Хабаровск с опозданием на 10 минут — и мы полетели по упрощённому маршруту — по «компасу Кагановича». Так тогда назывался маршрут над железнодорожным полотном — в честь министра ж/д транспорта. Помню, что в этом полёте я неосторожно развернул свою карту из планшета, и её вырвало из рук потоком воздуха. В довершение всех бед, подлетев к аэродрому Хабаровска, мы не увидели самолётов нашей эскадрильи.

На аэродроме возле посадочной полосы стояла легковая машина, а рядом — три человека, в том числе и командующий армией Конев. Они ожидали эскадрилью. Как только наш самолет приземлился, кто-то из них махнул рукой, дал знак подойти к ним. Командир, прижав планшет рукой к боку, побежал к командующему; ему навстречу вышел сам Конев. Доклад был короткий, и командир побежал обратно. Мы со штурманом двинулись ему навстречу.

— Старшина, — крикнул мне командир, — командующий вызывает тебя, беги, только не волнуйся, — крикнул он мне вслед.

Мой доклад командующий прервал вопросом:

— Вы радист?

— Так точно.

— Тогда скажите, куда улетели самолеты?

— Не знаю.

— Доложите своему командиру, что вы плохой радист.

Как раз в это время с восточной стороны донёсся гул, а потом появились и самолеты.

Всё же я доложил своему командиру, что я «плохой радист». Он улыбнулся и ответил: «А при чём тут ты?» В общем, всё обошлось благополучно. И через два дня весь личный состав нашей эскадрильи вернулся на место дислокации в Белоногово.

## ОТПУСК С ПИСТОЛЕТОМ

По ходатайству командира мне предоставили отпуск с поездкой домой, на родину. Меня это очень обрадовало — дома я не был около трёх лет. Понятно, что домой хотелось уехать с пистолетом, но при оформлении отпуска личное оружие необходимо было сдать на склад, иначе отпуск не оформят. Ведал этим хозяйством старший техник Кругов:

— Что, старшина, пришёл пистолет сдавать?

— Да.

— А хочется домой поехать с пистолетом?

— Конечно, — засмеялся я.

— Где будешь проводить отпуск — в деревне или в городе?

— В деревне.

— Ладно, езжай с пистолетом, только не подводи меня.

Он дал еще 10 патронов в запас: «Где-нибудь постреляешь».

На следующий день я уже ехал в купе с лётчиком Николаем Корецким. Он увидел у меня пистолет и удивился: «Старшина, как тебе удалось уехать в отпуск с пистолетом? Я обращался к командиру полка, ничего не вышло, не разрешают, и всё!»

В то время Дальневосточная армия была в большом почёте, и вагон с военными встречали с цветами, в гостиницах принимали вне всякой очереди. В Москве мы с лётчиком решили посетить Мавзолей Ленина. Я волновался — как же быть с пистолетом? В гостинице оставлять нельзя, но и в Мавзолее могут быть большие неприятности. Всё же рискнул пойти в Мавзолей с пистолетом. Хорошо его заматал в большой носовой платок и спрятал в карман.

Все обошлось благополучно, хотя я очень волновался, особенно когда при входе увидел табличку с надписью «Вход с оружием запрещается».

Через три дня я уже был дома. Конечно, больше всех приезду обрадовалась мать. За время моего отсутствия в семье произошли немалые перемены. Сестра Вера вышла замуж. У неё подрастал малыш Вася. Он начинал ходить, смотрел на меня — и улыбался. Он мне понравился; как понравился и его отец — Николай Гончаров. Мы с ним подружились. Как-то нам с ним захотелось пострелять из пистолета. Пошли на речку Ингулец, но там, кроме лягушек, больше ничего не оказалось. Ну что ж: лягушки так лягушки!

На следующий день мы с Николаем пошли в соседнее село Давидов Брод. Там я учился в школе, там жили мои друзья и знакомые. Возле центрального магазина нас окружили люди. Я отвечал на вопросы, когда к нам подошёл какой-то седой человек. Он злобно посмотрел на меня — и куда-то исчез. Мне показалось, что я его где-то видел. Потом вспомнил его фамилию: Мороз. Я учился в одном классе с его дочерью, и он приходил на родительские собрания. Тогда о нём ходили плохие слухи, якобы он принимал самое активное участие в раскулачивании крестьян — и жестоко с ними обращался. Мороз добивался, чтобы меня исключили из школы как внука кулака.

Когда мы с Николаем уже уходили домой, нас догнал мой одноклассник Геннадий Дармосюк и сообщил, что он был в поссовете, и туда пришёл Мороз. Тот высказывал свое возмущение председателю, мол, как это так: внук кулака пробрался аж в лётчики, ходит здесь, да ещё и с оружием. Председатель ответил ему: «Товарищ Мороз! И когда вы уже утихомиритесь, кулаков у нас уже давно нет, их всех выслали».

Отпуск закончился — и спустя две недели я уже был на месте службы.

## НА ЗАВОДЕ

Незадолго до окончания срока службы меня вызвали к командиру полка полковнику Кравченко.

...Вот я в кабинете полковника. На его груди поблескивает звёздочка Героя Советского Союза. Он получил её за участие в боях в Испании. Полковник вежливо пригласил меня сесть.

— Товарищ старшина, — начал он, — срок вашей службы в армии уже истёк. Мы предлагаем вам остаться в нашем полку. Вам будет присвоено звание младшего лейтенанта с назначением на должность начальника связи полка.

Конечно, предложение было заманчивым, но желание уволиться из армии было сильнее. Я поблагодарил полковника за такое доверие и признался ему:

— Моё призвание — работать на заводе.

— Не имею права задерживать вас в армии. Желаю вам успехов!

Он протянул мне руку.

В Николаеве меня приняли токарем на судостроительный завод. Завод предоставил и жильё. До призыва в армию я уже имел пятилетний стаж работы на разных токарных станках. Поэтому вскоре я начал выполнять и перевыполнять план. Примерно через месяц ко мне подошёл мастер Степан Иванович Дьяченко и похвалил. Сказал, что переводит меня в отдел по изготовлению червячных валов. Это была очень ответственная работа: такие валы вращали башни военных судов.

Там работал Коровин, который через неделю уходил, — он оказался специалистом высокого класса, рационализатором: имел на счету несколько внедрённых рационализаторских предложений. Отнёсся он ко мне доброжелательно; сам он работал на трёх станках. Один из них оказался довольно сложным.

Примерно через неделю я уже мог работать самостоятельно. Мы с Коровиным распили по сто грамм — и расстались приятелями.

Я оказался на Доске почёта, вскоре мне присвоили звание стахановца. А тогда был такой порядок — если ты стахановец, то должен делиться опытом с теми, кто менее успешно работает. Как-то подошёл ко мне мастер и сообщил, что завтра до начала рабочего дня он соберёт всех рабочих токарного цеха, и я должен буду выступить перед ними. Я стал было возражать, но он пояснил мне, что это распоряжение начальника цеха — и что он сам будет присутствовать на собрании. Делать было нечего — пришлось согласиться.

Помню, я спал плохо, все думал — что я им скажу? Я знал, что на этом собрании будут рабочие со стажем более десятка лет, а я-то работаю всего лишь полгода! Что поделаешь — я набросал конспект своего выступления — и вызубрил его.

На завод явился пораньше. Рабочие тоже уже начали собираться и усаживаться на длинные дощатые лавки. Мастер заметил, что я волнуюсь, и шёпотом успокаивал меня: «Не волнуйся: как выступишь — так и будет, надо же тебе не только хорошо работать, но и говорить».

Собрание началось. Радостных лиц я не увидел, некоторые показались мне безразличными. Не помню, сколько прошло времени, 15 или 20 минут, когда я закончил рассказывать о своём опыте. Мне даже поаплодировали. И кто же? — мастер, начальник цеха и ещё три человека. Остальные разошлись — и даже не посмотрели в мою сторону.

Я пошёл к станку и уже начал надевать спецовку, когда заметил, что ко мне направился рабочий-строгальщик средних лет. Он присутствовал на собрании — и я начал догадываться, что разговор будет неприятный. Было мне тогда 27 лет, а выглядел я ещё моложе.

— Сынок, — обратился он ко мне, — ты заметил, что аплодировали тебе только начальники и нормировщики? Они так и рыщут, как бы нам увеличить норму выработки — и тем самым уменьшить зарплату, а у меня трое детей.

Я прервал его речь и заявил, что хорошо всё понял, пообещал ему, что на эту тему я больше не буду выступать. На этом мы с ним разошлись.

Этот день оставил в душе неприятные воспоминания. Зато второй день, а это было воскресенье, обрадовал приездом самого дорогого гостя — матери.



Утром встречал, а вечером уже провожал. Поезд уже отошёл и набирал скорость, а я продолжал бежать за ним, чтобы как можно дольше видеть в окне вагона милое и доброе лицо матери. Не обошлось и без слез...

Вернулся к вокзалу, чтобы купить папирос, — и здесь меня окликнули. Голос показался знакомым. Я оглянулся: передо мной стояла Галина. От неожиданности я растерялся и выпалил:

— Это ты?

— Я...

Она показала левую руку. Немного выше ладони был виден шрам, он был оставлен пулей. Для того чтобы рассказать, с кем я встретился, необходимо вернуться в 1935 год.

## ВЫСТРЕЛ

Тогда я работал токарем в райцентре Березнеговатое. Свободное время проводил в парке, в клубе и на танцплощадках. В один из вечеров ко мне подошел приятель — Ваня Ковалёв и признался, что девушка, с которой он встречается, хочет со мной познакомиться. Я согласился. Она вела себя довольно раскованно: попросила разрешения примерить мою фуражку. А когда примерила, в ней домой и ушла вместе с Ваней. Правда, он успел мне шепнуть: «Я фуражку завтра принесу». Я понял, что новая знакомая пыталась намекнуть мне кое о чем.

Вечером через день-другой я встретил Галину с подругой. Подруга под каким-то предлогом ушла, и мы с Галиной остались вдвоём. Она сообщила, что Ванька (так она его назвала) уехал в командировку на две недели, и что якобы он не возражает, если я буду провожать её домой. Так получилось, что с этого вечера мы с Галиной стали встречаться.

Время мы с ней проводили славно. Разговоров о её бывшем ухажёре не было. Но однажды она сказала: «Ванька вернулся из командировки, и с ним состоялся неприятный разговор». О чём именно, она не пожелала мне сообщить, да я и сам мог догадаться. Мне было неудобно перед приятелем после всего, что случилось. Знал, что теперь мне от него добра не ждать...

Когда мне исполнилось 16 лет, мать подарила мне маленький шестизарядный пистолет. Он ей достался от белогвардейцев. В Гражданскую войну они занимали нашу хату и при отступлении оставили множество оружия: пистолеты, патроны, гранату. Мать всё это собрала в ведро и закопала в землю. А вручила она мне этот подарок по-своему — оригинально.

Как-то вечером она предупредила, чтобы я никуда не уходил. А когда стемнело, велела взять лопату и идти за ней. На вопрос — куда идти и зачем лопата — ответила: «Будем откапывать тебе подарок». В конце нашей усадьбы росла роскошная верба. Мать подошла к ней, отмерила два шага в сторону дома и показала, где я должен начать копать. Можете представить себе, с какой энергией я начал рыть эту землю! Вначале показался уже прогнивший толь, а потом и крышка эмалированного ведра. А когда я снял крышку, то увидел пистолет и всё прочее... Хотя в нашей семье не принято было целовать кому-либо руки, но я матери от радости поцеловал их несколько раз [3].

И вот, с этим пистолетом (вдруг возникнет необходимость самообороны) я и пошел на очередное свидание с Галиной. Не помню, как получилось, что она его обнаружила и начала просить дать ей «поклацать». Сначала я не соглашался, но она настаивала на своём, и я, вынув патроны, дал ей пистолет. Но по халатности я не все патроны вынул — один остался. Когда она дурачилась, раздался выстрел, — мы испугались и решили как можно скорее бежать. Но куда? «К моей сестре», — предложила Галина и пояснила, что сестра живёт неподалёку.

В доме сестры светились окна. Услышав стук, она открыла дверь. И тут, при свете, я увидел, что у Галины насквозь прострелена левая рука, и что из неё обильно течет кровь. У сестры после того, что она увидела, стало плохо с сердцем, и всё же она смогла сказать, где находятся йод, бинт и вата. Мы с Галиной вместе занялись её рукой, залили йодом, наложили вату и замотали бинтом. Галина по-

теряла много крови и поэтому выглядела бледной. А когда её сестре полегчало, мы вместе начали думать, что же делать дальше. Обращаться к врачам было нежелательно. О таких ранениях они обязаны сообщать в милицию. Вдруг Галина заявила: «Нужно ехать в Николаев, там наша родственница работает медсестрой». Так и решили.

На следующий день мы с Галиной на машине отправились к поезду на Николаев. По пути договорились, что если с рукой будет всё в порядке, она на имя сестры пришлёт телеграмму. Через трое суток такая телеграмма пришла.

А расстались мы с Галиной потому, что Ванька Ковалёв подговорил дружков — и они мне написали письмо в армию, что она якобы задружилась с морячками. Я тогда перестал ей писать. А когда после армии приехал домой, выяснилось, что всё это клевета, Галина меня очень ждала.

И вот теперь, спустя пять лет, мы вновь встретились. Мы присели на лавочку и долго-долго разговаривали — у нас было что рассказать друг другу.

Галина попросила меня проводить её домой. От трамвая мы отказались — и пошли пешком. Ходу было примерно полчаса. Она рассказала, что замуж вышла неудачно, что муж начал «заглядывать в бутылку» и что за это его могут уволить из армии. Показала мне и дом, в котором жила. А когда я уже собрался уходить, то почувствовал, что Галина чего-то испугалась.

— За нами следом муж идёт! — шепнула она.

Я как можно быстрее постарался затеряться в толпе людей — и вскоре уже был дома. «Видел ли он меня?» Если видел, то Галине будет нелегко оправдаться перед ним. Он знал про меня, знал, что я служил в авиации, а провожал я Галину в лётной форме: выходной одежды у меня тогда ещё не было [4].

## ЗЕМЛЯК

Я любил свою работу на заводе — и шел на неё, как на праздник. В свободное время готовился к поступлению в вуз. Рисовал маслом картины. Учился по самоучителям играть на гитаре и баяне, читал (помню, как на войну в 1941 году ушел с книгой Герцена «Былое и думы»).

В общем, дела шли хорошо. Только вот за полгода жизни в Николаеве не встретил ни одного земляка. Но вот однажды в гости приехала мать и передала маленькую бумажечку. На ней было написано: «Гаркуша Григорий работает сталеваром в г. Николаеве». Этого было достаточно, чтобы его разыскать.

Через три дня у меня уже был его адрес. Мы раньше жили по соседству в селе Новогригоровка Березнеговатского района. В то время как раз началось раскулачивание крестьян. Григорий уже знал, что это коснётся и его отца, и заранее ушёл из дома. Куда именно, властям выяснить не удалось. И вот сегодня, в субботний день я встречаюсь с ним!

Ходу до его дома, где он жил, примерно 10 минут, за это время чего я только не передумал. Григорий старше меня на три года, — женат он или холост? Если женат, то какая у него семья? Как он меня встретит?

Нажал кнопку звонка.

— Кто там? — услышал я женский голос.

— Григорий Семёнович здесь живет?

— Да, — ответил тот же голос.

Дверь открылась — и белокурая стройная женщина пригласила меня войти. Услышав разговор в прихожей, к нам вышел и сам Григорий. Он встал передо мной — и от неожиданности растерялся. Я смотрю на него, а он на меня, а потом, как по команде, мы бросились друг к другу в объятия. На нас с интересом смотрели его жена и две дочери.

Григорий обратился к жене:

— Ира! Накрывай стол, к нам пришел очень дорогой гость — бывший мой сосед из Новогригорьевки. Я тебе о нем рассказывал.

Григорий познакомил меня со всей своей семьей — женой Ирой, старшей дочкой Аней. Младшая дочь, Жанна, ещё малышка, сама представилась.

Первый тост Григорий поднял за меня, он говорил, что очень и очень рад моему приходу. Рассказывал своим, как я, ещё будучи подростком, ходил к его отцу учиться кузнечному делу, хвалил меня за мастерство...

Когда выпили по второй, мы с Григорием начали вспоминать о нашем селе. Оба знали, что оно ещё молодое — плод столыпинской реформы. Его основали крестьяне, собравшиеся со всей Херсонской губернии. Там, где они жили раньше, им недоставало пахотной земли. А здесь всё было: и целинные земельные угодья, и прекрасная река Ингулец. Здесь же был строительный материал — камень, песок и глина. Лес помогало доставать государство. Вскоре новый посёлок уже мог похвастаться усадьбами с фруктовыми и декоративными деревьями, виноградом и, конечно же, кустами роз и сирени.

Время уже было позднее, мне пора было собираться домой, но я ничего не узнал о жене Григория — кто она и как они поженились? Я начал было об этом разговор, но Григорий дёрнул меня за штанину. Я замолчал. Григорий настоял на том, чтобы проводить меня. «Хочу посмотреть, где ты живёшь», — сказал он. Шли мы не спеша. Григорий рассказывал мне о своей жене, — они жили вместе уже пять лет. До этого у неё был муж Павел Сильверберг. Он работал ведущим инженером на судостроительном заводе, пользовался большим авторитетом. Жили в добротной квартире с маленькой дочерью Аней.

Когда начались репрессии, в 1936 году, её муж не вернулся домой. Ирина Васильевна обращалась к близким, друзьям и знакомым (а их было немало), но узнать о муже ничего не смогла. Даже те, которых она считала преданными друзьями, старались избегать встречи с ней.

Григорий замолчал и предложил сесть на лавочку возле какого-то двора. Мы с ним оба закурили. Григорий продолжил свой нелёгкий рассказ. Пояснил мне, почему он так подробно знает о трагедии этой семьи:

«Вначале я познакомился на рыбалке с мужем Ирины Васильевны. Потом он пригласил меня домой. Я подружился с этой семьей — и относился к ним с большим уважением. Особенно тогда, когда у них случилось горе. Я готов был оказать им любую помощь. Ирина Васильевна об этом знала и поэтому однажды сказала мне:

— Пока я не увижу могилу мужа, не буду верить в то, что его нет в живых. Прошу тебя, Григорий Семёнович, найди его могилу и покажи мне.

Я растерялся и даже не знал, что ей на это ответить. Потом сказал, что это не только трудно, но и опасно.

— Знаю, — ответила она, — а ты попробуй, предложи деньги.

Я не мог отказать убитой горем женщине.

На следующий день, а это было воскресенье, я пошёл на кладбище — и направился в ту сторону, где были видны свежие могилы. Немного в стороне я заметил несколько могил без крестов и надписей. Я был уверен, что это и есть те могилы, которые искал. Что делать дальше? Охранники кладбища должны знать, кто похоронен в этих могилах.

Я спросил охранника о безымянных могилах. Сначала он насторожился: зачем, дескать, мне это нужно. Вместо ответа я потихоньку шепнул ему на ухо: «Я вам хорошо заплачу». Тогда он спросил, как фамилия человека, могилу которого я ищу. Я назвал, он посмотрел в блокнот — и согласился. Сделка состоялась и, наверно, она у него была не первая.

Я сразу зашёл к Ирине Васильевне. Узнав о моей удаче, она твердо решила в эту же ночь идти на кладбище. В это время у неё гостил брат Сергей, он согласился идти с нами.

Прихватив с собой две лопаты и фонарь, в 11 часов ночи мы уже были у могилы. Земля была мягкая: два-три месяца назад образовалась здесь эта могила. Ирина Васильевна стояла рядом, с траурным шарфиком на голове. Я старался не смотреть на неё. Можно было представить её состояние в это время.

Мы с Сергеем трудились без отдыха. Глубина ямы была уже достаточна, чтобы лопатой достать крышку гроба, но крышки не оказалось. Показалась мешко-

вина. Мы начали разгребать землю руками. Ирина Васильевна, не отрывая глаз, смотрела, что и как мы делаем. А когда увидела, что мы начали работать руками, тихим и неузнаваемым голосом промолвила: “Я хочу сама посмотреть в его лицо”.

Могилу мы вскрывали со спусками вниз, и с нашей помощью она сошла к покойному, посмотрела в лицо и твердо заявила: “Это не он”. Потом обратилась к Сергею с просьбой — посмотреть у него золотую коронку на переднем зубе. Он посмотрел, но там, где она должна была быть, не оказалось ни коронки, ни зуба».

После этих слов Григорий как будто онемел, потом достал папиросу — и опять закурил. Какое-то время мы оба молчали. Первым заговорил Григорий. Он признался, что ему очень тяжело рассказывать о том, что происходило с Ириной Васильевной, когда она все-таки убедилась, что это был действительно её муж Павлик, так она его называла. Домой они с Сергеем вели её под руки.

После рассказа Григория я стал задумываться о репрессиях. Мне пришлось быть свидетелем того, как они проходили в армии, но то же самое творилось и на гражданке. Мой дядя Иван — младший брат матери — был крестьянином, имел образование три класса. Во время Октябрьской революции воевал на стороне советской власти. Когда началась коллективизация, он отказался вступать в колхоз, и его за это раскулачили, имущество конфисковали. Так же, как и Григорий, он бежал в Николаев. Устроился на работу, но его нашли. Судили и отправили в лагерь строгого режима без права переписки.

Интересоваться судьбами осужденных было опасно и даже рискованно, особенно их родственникам. Но младшая сестра дяди Ивана — тётя Анна — решила хоть что-то узнать о своём брате. Она была членом колхоза, жила бедно и как-то сказала: «Мне терять нечего». Куда она только ни обращалась — никакого ответа не получила. Только спустя двадцать лет пришел ответ. Оказалось, что уже 15 лет как Ивана не было в живых. Сообщалось, что брат тети Анюты, Иван Аксентьевич Шевченко, реабилитирован посмертно. Вот такая трагическая история моего дяди Ивана. А сколько было таких историй — миллион или больше, сейчас, наверно, уже никто не скажет.

*(Окончание следует.)*

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Отец родился в деревне Новогригорьевка Березнеговатского района Херсонской области в 1913 году. Детство его пришлось на гражданскую войну, юность — на коллективизацию. Дед отца — Трофим Елизарович Нечипоренко имел лучший дом на селе, дружил с местным помещиком Балашем, держал лошадей на выезде, мог служить за попу в церкви. Он был раскулачен, но скрылся от властей — и в конце жизни заведовал складом на руднике под Кривым Рогом. Мать отца — Домна Авксентьевна Шевченко развелась со своим мужем после рождения четвёртого ребёнка, возможно, по этой причине их семья не была раскулачена.
2. Заметим, что начальник школы был недалёк от истины: денег отец не штамповал, но ему пришлось вырезать печати сельсовета — для справок, в которых нуждались раскулаченные родственники: надо было спасать людей... Дело это было рискованное, никому он в том не признавался, но пару справок «для своих» сделал.
3. Этот экстравагантный по нынешним меркам поступок матери моего отца (дело было в 1929 году) свидетельствует о большом доверии, которое царило в семье. Она вообще пользовалась большим уважением на селе; так, в голодные годы, когда не хватало зерна, именно ей доверяли печь хлеб на всё село.
4. Отец поддерживал переписку с Галиной до последних дней её жизни.

Татьяна ЛАПТЕВА

## О ПОЭЗИИ СТАНИСЛАВА ЗОЛОТЦЕВА

Два эссе

### О МУЗЫКЕ СТИХОВ И НЕ ТОЛЬКО...

Музыка, внешняя и внутренняя, наполняет мир Поэта. В древние времена музыка и поэзия были неразрывны. В XX веке об этом вновь напомнил О. Мандельштам, сказав: «...и слово, в музыку вернись!» Музыка наполняла и мир поэта Станислава Золотцева. Она помогала ему и в жизни, и творчестве. Она была одним из сильнейших источников его, можно сказать — вдохновения, а можно — рабочего настроения на творчество... Она стала составной частью его поэзии.

В Золотцеве поражало замечательное качество — над стихами он работал практически постоянно на протяжении своей жизни, и работал упорно, методично, как мастер, или, как он часто себя называл, — мастеровой. Он одновременно и ждал, и искал тему, находил её и, воплощая в стихи, уже действовал, «работал», прилагая мощную внутреннюю силу: искал ритм, рифму, слова, созвучия, соразмерности, длинную строку, короткую строку... И получалось, что почти всегда в его стихах усилиями упорного труда пробуждалась некая музыкальная *стихия*, которая способна захлестнуть читающего своим темпераментом, страстью, из чего бы она ни рождалась: из воспоминаний или «злободневности», любви или ненависти.

Пейзаж или портрет у него тоже стихийно-подвижен, динамичен, окрашен невероятными переливами красок и чувств, наполнен внешними наблюдениями и глубокими психологическими поэтическими мыслями.

Современный читатель ищет в стихах, если уж он открывает какую-нибудь книгу, соответствия своим чувствам, совпадения, общую тональность, «гармонию» с автором. О! — думает читатель, это — совсем как у меня, я так же чувствую, и слова даже мои, какие-то знакомые... Избалован наш читатель. Обыватель считает, и это его право, что поэзия должна утешать, «ублажать», «гармонизировать» его и — действительность...

С другой стороны, многие читатели стали, может быть, невольно, «по моде», приверженцами постулатов поставангардизма, откровенно принижающего поэзию до обыденности. Беспросветный и безнадежный быт героя сам по себе должен окрасить его существование в трагические (?) тона... В этой эстетике поэтической доблестью считается достаточно унылое описание всех подробностей и «гадостей» жизни («муха в стакане», «давно немытое окно»). В этом направлении тоже неизбежны поиски слова, но искать гораздо легче, наверное, — оно почти всегда оказывается как-то под рукой... Поэзия на этом пути опускается до обывателя, и кажется, нет

ничего страшнее. «Отцов» этого направления спасало чувство иронии... С одной стороны, ирония в XX веке достигла художественных высот (Зощенко, Шостакович, Шнитке...), но — с другой — стала обывательской, «пофигистской» — и это тоже страшно.

Ну, и, кроме того, читатель в наше время сам взялся за перо, вернее, сел за клавиатуру, а значит, плагиат и подражание стали законами нового псевдо-поэтического времени. По словам Золотцева, «Россия пишет... как никогда ещё не писала». Да, пишет, под лозунгом: «И я так могу, насколько хватит». Хватает на разное и надолго...

Настоящее чтение стихов Золотцева начинается, если приходит осознание, что его, Золотцева-поэта, понимание и восприятие жизни как-то сразу выбивает из колеи обыденности, будоражит, напрягает, вплоть до невольного сопротивления и неприятия — когда речь идёт о «больных» темах, порождённых «лихими» девяностыми, и речь стиха становится гневной, безудержной в выражении боли, стыда, возмущения. Кажется, что — это слишком, слишком громко, что ли, зачем же так... Таким помнится мне первое впечатление от знакомства с его стихами из книги «Летописец любви» (2001). Не уныло, но мрачно и бурно, с внутренним отчаянием, ожесточением:

**Злобой века мы обручены  
Были с лихолетьем —  
Как с распятым...**

(«Прощание славянки»)

Или:

**Декабрь уходит по чёрному льду,  
Под снегом солнце распятое пряча...**

(«Новогодняя песня»)

И ещё:

**Так снова здравствуй, время холодов.  
Зажги меня своим огнём суровым.  
Просторы дремлют под седым  
покровом...**

(«Дневник смуты»)

Золотцев возрождает право поэта на выражение в стихах жизненной дисгармонии. Важно оценить его художественные достижения в создании стихов в таких трудных лирико-публицистических жанрах. И всё оправдывает понимание, что в

своих «больных» стихах поэт не стонет, не скрежещет зубами от боли, он не мучительно косноязычен, нет, — он рокочет, пророчествует, возвещает великолепным мощным языком... В «Дневнике смуты»:

**Как легко быть печальным пророком  
В нашей богохранимой стране  
И вещать о столетье жестоком,  
Что наступит в кровавом огне...**  
<...>

**Нет, Россия, ты себя не сохранила.  
Ты себя, Святая Русь, не сберегла.  
Черeda веков была твоим горнилом,  
а двадцатый — надломил твои  
крыла...**

<...>

**Сколько лживых к нам пришло  
пророков!  
Слово их — как в сердце  
ржавый гвоздь...**

<...>

**...где могильником ядерным стала  
Почва пашен, лесов и полян,  
Где живут по заморским уставам  
Внуки вольных и гордых славян...**

И знаменательно, что продолжением его полемических, возмущённых стихов 90-х стали произведения, написанные в высоких жанрах «реквиема» (о защитниках Белого дома), гимна («Гимн грядущей России»), элегии («Ах, душа моя!»)... А стихотворение «Русская душа», буквально потрясающее своей словесной, речевой энергией, можно отнести к особому жанру, это — своеобразный алхимическо-аналитический этюд — исследование, симфоническое по своему звучанию.

**Я душу накренил — и в склянке  
золотой  
отнёс её частицу на анализ  
туда, где над земною суетой  
верхи галактик в вечность  
окунались...**

Как музыканту, воспитанному на классической музыке, поэзии и литературе, и продолжающему их любить, мне невероятно трудно было сначала привыкнуть к таким, например, строчкам:

**Как смола ядовитая тянется  
смута нашего хмурого дня...**

Казалось, слова «смола ядовитая» звучат острым, невыносимым диссонансом. Правда, такой же эффект производили на меня в свое время стихи В. Ходасевича,

у которого в каждой внешне «серебрянозвучной» строфе находилось слово-диссонанс, мгновенно разрушающее внешнюю гармонию всей строфы. Здесь же, у Золотцева, стихи растут уже не из «сора», а из того самого *сплава* боли, стыда, возмущения; но — вдруг, вопреки всему, рождается певучая строка, которую поначалу с мукой произносишь, словно сглатывая невыносимую горечь, но затем, в следующих строчках стихотворения чувствуешь, как встрепенулась неубитая душа... («Ах, душа моя, нам бы только дожить до зари»). В стиле этих песенных строчек сохранилась преемственность с яркими и во многом счастливыми, оптимистичными и звучными стихами 80-х. Сравните «музыку» стиха:

**...Заиграет она, забагрянится,  
в поле вешнем прогреет ростки... —**

и:

**И однажды в чаду одуревшей  
от грохота площади...  
словно древний припомнится миф...  
(«Два коня»)**

Какие со-звучия!

Если осмыслить его поэтическое творчество 90-х, видишь, что он, как хроникёр или репортёр, не оставлял без внимания ни одной темы — не только в стихах, но и в обширнейшей газетной публицистике, здесь отразилась вся трагедия крушения нашего государства, многолетнего последующего, невероятно тяжёлого «выживания» разных поколений. Поэтическое творчество, вернее, способность творить поэзию в эти годы тоже подвергалась испытанию. Ведь потрясения и их мучительное переживание могут привести поэта к молчанию. Золотцев не молчал, утверждая, что нет страшнее ничего, «чем удушье от молчанья своего».

Золотцеву помогали выживать нерастраченные силы в области лирики, ведь именно лирика — сердцевина творческой вселенной поэта; а также помогали громадные ресурсы, заложенные воспитанием и университетским образованием. Золотцев не просто был поэтом. Он любил поэзию, как одержимый. В молодости, а затем и в зрелые годы он потрясал окружающих своей феноменальной памятью. Он много знал и постоянно читал других поэтов. Особенно — своих кумиров:

Ивана Бунина и Сергея Маркова, а также — Заболоцкого, Блока, Мандельштама, Некрасова, Дилана Томаса (которого сам и переводил), реже — Пастернака, Бродского, которых он прекрасно знал, но критиковал и не боялся этого делать.

Он дружил в течение многих лет с плеядой потрясающих сибирских поэтов, в основном — своих ровесников. Сильное впечатление производит их переписка. Письма представляют собой обмен яркими жизненными впечатлениями, но, главное, — это настоящий мужской разговор о проблемах современной литературы и поэзии, обмен своими новыми «нетленками» и критика, обсуждение творческих удач и неудач. Вспомним, что, начиная с 90-х годов, журналов стало множество, но тиражи их были такими ограниченными, что возникла, как некая неизбежность, разобщённость профессиональной пишущей братии по всей России. Поэты, сохраняя свои старые связи, старались преодолеть её общением на расстоянии. И, читая московские и сибирские журналы (присланные по почте!), видишь, как самобытны и оригинальны сибиряки, но широкого отклика ни на ту, ни на эту поэзию по всей России нет и уже не будет. Нет пространства поэзии, оно свернулось; нет читательского и критического «эха», которого так ждут поэты. Поэты превратились в невостребованных профессионалов.

С какой болью приходится говорить, что эти имена — Вишняков, Казанцев, Кобенков, — уже также стали историей. Поколение 70-х, к которому принадлежал и Золотцев, дети Победы, родившиеся во второй половине 40-х, оказалось поколением трагическим, оно ушло, не исчерпав своих жизненных ресурсов. А они были, и какие!..

Давно пора признать, что любовная лирика Золотцева — во многом совершенно самобытна. Вспомним, как, рассуждая от имени своего героя в одном из своих романов («Тень Мастера») о проблемах писательской «перестройки» в «злосчастные» 90-е, он с «белой завистью» описывает профессиональные успехи своей знакомой писательницы, которая неожиданно нашла себя в сфере эротических романов, легко добившись известности и материальных успехов в новые для литературы





**Но что такое грех, когда  
В нём каждый миг — самосожжение,  
И каждый вздох — ожог стыда...**

Читая лирику 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х, хочется сделать обобщение: стихи постепенно складываются в роман-эпопею, где меняются герой и его окружение. Неудивительно, что поэт постепенно и осторожно переходил в своём творчестве к прозе: повестям, рассказам, романам. На наш взгляд, уже в его ранних лирических стихах проявился мощный повествовательный «элемент», который превращает лирическое стихотворение в «историю» с яркими персонажами. Более того, сильно проявляется в его лирике и скрытый драматический «элемент». Он заключается в том, что лирический герой у поэта — скорее антигерой, усталый, неудачливый, подавленный жизнью. До высот любви, до невероятных взлётов любви его поднимает женщина — любимая, возлюбленная, Муза, колдунья, ворожея, искусительница, соблазнительница, хищница, всадница, «паромщица»... Каждая (вопреки его утверждению «всегда, всегда, всегда одна и та же») — в чём-то неповторимая, узнаваемая как некий новый персонаж. И всё же побеждает демиург — Поэт, так как именно он превращает множество историй любви в мгновения любви, явления преходящие, а затем они — его жестокой волей — складываются и превращаются в многоцветное мерцание вечности. Лирика превращается в музыку, её недостаточно читать «про себя», она должна звучать!

Лирика Станислава Золотцева кажется всеохватной по темам. Чем больше вчитываешься в одно стихотворение, проникаясь его глубиной, тем ярче возникает предчувствие новых открытий и откровений. В творчестве Золотцева сложилась система символов, воплощающих образы горячо любимой им малой родины — Пскова и Псковщины: звонницы, колокола, храмы, крепости, словенские ключи, цветущая вишня, в которой утопал когда-то тихий послевоенный Псков, сирень, рябина, смородина, кони, снегири, луговые травы...

Псковскую сирень Золотцев воспел во множестве стихотворений 70-х — 2000-х, среди которых и оды, и элегии, и романсы, баллады и вальсы. Некоторые

из них положены на музыку местными композиторами, потому что очарование, ритмическое и звуковое, «Сиреновой песни» и «Осенней сирени» создаёт манящее ощущение лёгкости, с которой это можно сделать, ритм стихов словно «подсказывает» мелодии. Век-то у нас не «серебряный», банальность в цене... Сам Золотцев сетовал иногда, что некоторые музыканты, с энтузиазмом накидываясь на его стихи, слишком упрощённо понимают ритм и, вслед за этим, смысл текстов. (Пример тому — обманчиво-простой «Псковский мотив» — «...целовались мы с тобой».)

А вот уже другие стихи о сирени, «сиреневый сонет», — «Опять бушует псковская сирень, в распахнутые вваливаясь окна» — кажутся гораздо более самобытными с их неукротимым стремительным ритмом и весенним «рокотом»! А «Баллада о сирени», на мой взгляд, является очередным шедевром поэта. (В одном ряду с «Соколиной балладой» и «Словенскими ключами».) Игра стихотворных ритмов и вереница образов в неторопливом повествовании «Баллады» просто кружат голову своей красотой.

И вновь возникает иллюзия, что вы прочитали роман или печальную, полную любви повесть, к которой, как полагается, автор приложил сложный эпитаф из ранних изысканий самого же поэта на эту тему.

И невозможно удержаться от попытки превратить перечисленные стихи в «Сонатку сирени», состоящую из четырёх частей:

**Allegro** («Сиреневая песня»):

**Вновь у каждого окна  
Цвет кипит лиловый.  
И земля пьяным-пьяна  
От сирени новой...**

**Adagio** («Баллада о сирени»):

**И снова я везу в Москву из Пскова  
в мешке льняном земное колдовство.  
Сирень... сирень! — таинственное  
слово:  
певуч, как птица Сирий, свет его...**

**Andantino** («Осенняя сирень»),  
вальс:

**Как внезапно вспыхнуло тогда  
В нас двоих сладчайшее горенье,  
И мои осенние года  
Запылали майскою сиренью...**

**Allegro molto** («Псковская сирень»):

...чистейший по земле несётся шквал,  
Сквозь камни к солнцу рвётся

молодая,  
Густая смесь мгновений и веков...

Получилось ещё и невольное и красивое подражание Чюрленису, с его живописными «сонатами»... Но согласитесь, что живописность, красочность, владение внутренним пространством стиха — это неотъемлемые свойства стихотворных произведений Станислава Золотцева.

## МЕТЕЛЬНЫЙ МИР В ПОЭЗИИ СТАНИСЛАВА ЗОЛОТЦЕВА

Станислав Золотцев вошёл в поэзию в семидесятые годы. И уже тогда, с первых публикаций в центральных литературных журналах, он привлёк внимание читателей мощным звучанием своего поэтического голоса. В его многочисленных выступлениях природная сила и звонкость голоса, помноженные на внутреннюю взрывную энергию его стихов, неизменно покоряли слушателей.

В стихах Золотцева, в игре слов и выражений постоянно «вспыхивают» ассоциации с образами его любимых русских поэтов, оживляя прошлые эпохи. Его поэзия претендует на всеохватность, всеобщность. Она откликается на «злобу дня» и обращается к вечным темам. Здесь много ярого солнца, огня, костров, гроз, жгучей радости и жгучей боли, полыхающей любви, бушующих цветущих садов, опаляющих звёздно-синими пожарами зим, жар-птиц, мятежных, бредящих любовью соловьёв. В ранних стихах — в «каждой росинке» полыхает солнце, а в поздних — ночное небо вспыхивает, как «тысячеглазый Аргус».

И на пересечении многих тем у него, «солнечного» и «огненного» поэта, становится сквозной, проходящей через всё его не только поэтическое, но и прозаическое творчество, — тема метели. Метельная зима, метельная Россия, метельная Родина.

Эта тема рождается не случайно.

Пушкинская метель — как символ и образ России и русской жизни, отражение русского ума и русской души XIX века —

в XX веке нашла воплощение в великом творении Георгия Свиридова, в его музыке к кинофильму «Метель».

**Царит метель в моей стране:  
Весь год метёт она — и даже летом  
Кружится пух. А по весне  
Заметены сады вишнёвым цветом.**

**И снегопад, и звездопад,  
И золотой листвы летучий терем...  
Звенящий свет, мятежный взгляд...  
И сердце русское горит в метели!.. —**

это стихи Золотцева на музыку знаменитого романа из «Метели».

Результатом увлечения пушкинско-свиридовской темой стали многочисленные очерки, юбилейные статьи, напечатанные в журналах и сборниках конца прошлого и начала нынешнего века. Роман «У подножия Синичьей горы» был опубликован в 90-е годы XX века в «Роман-газете», а в 2013-ом — вышел книгой в Пскове и Москве.

Станислав Золотцев неизменно восторгался музыкой и личностью композитора Георгия Свиридова, и в своём творчестве искал всё новые и новые приёмы, чтобы запечатлеть этот вечный пушкинский, ставший музыкальным, «метельный» образ.

Поэт родился и значительную часть своей жизни прожил и проработал в Пскове, на Псковщине, на *пушкинской* земле, и ещё поэтому обращение к этой теме он ощущал как призвание. Но одно дело — эксплуатация темы в многочисленных транскрипциях, аранжировках, вариациях. И другое — когда тема становится *своей*.

И, похоже, Станислав Золотцев нашёл свою «золотую жилу».

**Метель навек! Метель — повсюду.  
И над серебряным родным простором  
Звенит-поёт живое чудо —  
Свеча любви моей — Святые Горы!**

**Метель — судьба, метель — подруга,  
В морозной нежности, в разгульной  
силе  
«Оставьте мне метель да вьюгу...»,  
Да песню вольную в полях России.**

**И смерти нет сердцам людским!  
И дышат радостью снега и взоры,  
Когда влюблён, когда любим,  
И сквозь метель видны  
Святые Горы...**

Для поэта Золотцева эта интонация восторга и восхищения — естественна, как для человека, родившегося с красивым, самой природою поставленным голосом. Образ метели в этом стихотворении — многокрасочный, «радужный», праздничный, радостный для русской души — это и есть, на наш взгляд, «золотцевская» находка...

«Метельная» тема и «метельные» мотивы зазвучали, замерцали, зазвенели, запели в его стихах:

За тридцать морозы,  
а почва почти без покрова.  
Давно не бывало такого у нас  
января...  
Лютует зима наступившего года  
шестого,  
Грядущее лето бесплодем даря...  
... Нет, небо запенится  
звёздно-пушистым цветением,  
И наземь падёт, и спасёт нас  
от гибельной тьмы  
Метелью свиридовской,  
пушкинской дивной метелью,  
Мятежную песнею  
сказочно-русской зимы...

В следующих строчках образ метели ассоциируется с затянувшимся смутным состоянием души, с разочарованием:

Завтра весна, хоть сегодня  
метелью заносит  
Землю мою и неладную душу мою...

А здесь — метель-кутерьма становится воплощением души, охваченной радостью новой любви:

Ах, какая нынче знатная зима  
Прозвенела над моею головою!  
Ах, какая молодая кутерьма  
Сердце мне заволокла немолодое...

И, сводя меня, как в юности, с ума.  
В небесах цвела лучистая Венера...  
...Ах, какая нынче знатная зима  
Над моею головою прозвенела!

А в этом, очень «песенном», стихотворении метель и вьюга превращаются в символ весеннего возрождения души:

Пурга вишнёвая сады завьюжила,  
На волю вырвался певучий зов  
В зелёном кружеве, в смолёном  
кружеве,  
В белёном кружеве густых лесов...

Возможно, благодаря «метельной» теме поэт, по собственному определению, превращается из лирика в «летописца любви», описывая смену чувств как смену времён года и при этом погружаясь в игру стихий и высших сил, управляющих судьбой лирического героя.

К теме Пушкиногорья, священного места для всех русских поэтов, Станислав Золотцев приходит через многокрасочное, словно пропущенное сквозь сказочную призму смены времён года, видение. У него пение весенней свирели невольно рифмуется с пением новой метели:

Там по весне над буйным яроводьем  
Поёт свирель Тригорского холма,  
И серебром в морозном новогодье  
Звонит синеволосяя зима...

Многократно звучит в стихах Золотцева и мотив вьюги как воплощения лица, смуты, драматических событий в жизни:

Под звон пасхальный и грачиный  
грай,  
Восстав из вьюг, устав от разрушений,  
Родительский и прадедовский край  
Становится землёй твоих свершений.

И надо жить, пока жива душа....

В стихотворении, входящем в «Сыновнюю поэму», написанном на рубеже тысячелетий (31 декабря 1999), образ вьюги появляется как особый, знаковый:

И новый год, и новая эпоха  
В последний день возникла в декабре:  
И от столетья остаётся кроха —  
Двухтысячный завьюжил на дворе...  
...Зима, метель... Россия! Смута...  
Вот он —  
Тысячелетья нового порог.

И, наконец, обращаясь к главному в наследии поэта, к его любовной лирике, в одном из лучших его стихотворений, «Соколиной балладе», видим этот «мотив» метели, введенный как тонкий штрих:

И до утра, пока последней змейкой  
Не уползала с улицы метель,  
Висела рядом с белою шубейкой  
Колючая моряцкая шинель...

## КНИЖНАЯ ПОЛКА

### БЕЗ ПАФОСА И РОМАНТИКИ

**Владимир Седых. Таксаторы и Бичи. Первооткрыватели сибирской тайги.** — Новосибирск, 2012.

Автор этой книги — доктор биологических наук, работает в Институте леса имени В. Н. Сукачева СО РАН. Более полувека назад судьба и диплом выпускника лесного факультета Харьковского сельскохозяйственного института привели его в сибирскую тайгу. Об экспедиционных буднях, о поучительных случаях, о ярких человеческих типах рассказывает он в своей книге, состоящей из небольших очерков.

Если о геологах, например, написано немало книг, снято фильмов, сложено песен, то кто знает о таксаторах? Однако «зеленое море тайги» осваивали в первую очередь они. Нередко случалось, что в отдаленном районе экспедиции таксаторов, геологов и геофизиков работали рядом, помогали друг другу.

Кстати говоря, геолог, как и геофизик, — профессии сравнительно молодые, а вот за таксаторами, ведущими описание и учет леса, — вековая традиция, еще с петровских времен. Даже язык хранит это отличие. Без труда можно уловить нотки некоторого превосходства в следующих строчках автора: *«Таксаторы, в отличие от геологов, пионеров, туристов, зек, свое временное поселение называют не лагерем, а табором».*

Хорошее слово, не безлико-стандартное, в нем читается вечное кочевье, тепло очага под крышей неба... Особенно приятно его встретить в сухой инструкции или пунктах строгого приказа.

Ну, а почему в заглавии вынесены также и «Бичи»? Да еще с большой буквы? Видимо, потому, что «Бичи» — это целое явление, это особая сила, без которой освоение таежных богатств просто невозможно. Как правило, это люди, закаленные лагерными «общими работами», и только они, а не «комсомольцы-романтики», убежден автор, способны были справиться с ежедневным изнурительным трудом при самом скромном устройстве быта, вдали от цивилизации, среди таеж-

ного гнуса и прочих напастей. Но это не только эффективная и безотказная рабочая сила — это особый мир, в который надо вступать с осторожностью.

В начале книги автор приводит целый свод правил под заглавием «Инструкция. Как комфортно жить в тайге». И в нем, наряду с советом выбирать место для ночевки «сухое, высокое и с хорошим обзором», содержится также следующий пункт:

*«Бичей никогда не учи, как жить, лучше вникай в их жизнь. Слушай их и присматривайся к ним. Без усилий пройдешь еще один курс университета жизни, и это пойдет тебе только на пользу. Ты станешь намного умнее».*

Перед нами проходит целая галерея бичей: оригиналов, простодушных, себе на уме. Однако ни один из них не объясняется притчами или афоризмами, не сыплет вековой мудростью. Почему же тогда общение с ними приравнивается к университету?

У них у всех есть общая черта: наличие «принципов», большей частью странных, но неколебимых. В общем — трудный в обработке материал, пилить — только зубья ломаешь. В этом они сродни всему в тайге: нельзя переупрямить огонь или горную реку, но огонь тебя обогреет, а река доставит в нужное место, если знать их характер. Равнозначно это университетскому курсу или нет, но умение выстроить отношения в немногочисленном коллективе вдали от «большой земли» значительно важнее, чем правильное обустройство табора.

В чем же главный сюжет внешне лишенной сквозного сюжета книги? Конечно, каждая из рассказанных таежных бывальщин занимательна сама по себе, но, кроме того, мы следим за превращениями, которые происходят с самим рассказчиком. Вот он стажер, не понимающий, зачем его наставник позволил двоим бичам прилюдно подраться, и вообще не понимающий большинства его методов (очерк «День святого Владимира»). Вот он — растерянный, готовый впасть в истерику на первом самостоятельном «заходе» в тайгу (очерк «Крещение»). А вот, всего лишь через два-три сезона, он уже матерый руководитель таксаторского отряда,

способный решительно поставить на место значительно более взрослого коллегу, мало того — отца начальника экспедиции (очерк «Тайга-хозяин»).

Отдельно следует сказать об иллюстрациях в книге. Начинается она роскошным пейзажным рядом: красоты, буйство красок. Но это первый, поверхностный взгляд на тайгу, та самая романтика, которой автор советует не увлекаться. Дальше, как и положено, идут черно-белые будни. В которых обаяния еще больше: вот пес лежит на носу лодки, кругом река, и он законно отдыхает; вот двор, заваленный экспедиционным добром, все типовое, но опытный взгляд ищет самое лучшее; а вот дощатый стол, палатка и... микроскоп посреди тайги.

Происхождение всего этого богатства простое — автор не расставался в экспедиции с фотоаппаратом. Если мы вспомним, что в те времена фотограф вручную промывал пленку, устанавливал диафрагму, наводил на резкость, а главное — должен был аккуратно хранить как чистые, так и отснятые кассеты, если представим,

сколько это весило и занимало места... В уже упомянутой «Инструкции...» содержится перечисление всего, что обязан иметь при себе таежник. Про фотоаппарат там ни слова, зато чуть позже уточняется, что весит рюкзак со всем необходимым 17—20 кг и ездит на плечах хозяина он сотни верст. Увлечение Владимира Седых обошлось ему в немало тонно-километров, но зато теперь мы можем «один раз увидеть».

Как во всякой хорошей книге, каждый читатель найдет здесь что-то лично себе адресованное. И пусть вы даже уверены, что вам никогда не пригодится умение не потеряться в лесу, провести моторку через пороги, употреблять неразбавленный спирт посредством «салазок», в вас все равно откликнется, например, более универсальное правило (можете заменить слово «тайга» на то, что вам географически ближе):

*«Жизнь в тайге отравляют только скучные люди и маменькины сынки. Без подначки и юмора не будет мира, и конфликты будут неизбежны.»*

**Михаил КОСАРЕВ**

---

## «ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК» ФЕРАМОН

**Карпов В. Малинка.** — М.: Издательство «У Никитских ворот», 2013.

Главный герой романа В. Карпова «Малинка» (в журнальном варианте — «ФеРАМоН»), наподобие былинных, а может быть, сказочных персонажей, отправляется в великое путешествие. Нет, не за чашей Грааля он отправляется, не за тайной бессмертия, не за «философским камнем». Он отправляется на поиски той единственной Женщины, которая способна будет разжечь в его сердце Великий огонь любви.

Пожалуй, стоит подчеркнуть, что в романе именно мужчина, а не женщина жаждет Великого огня любви. Мужское начало традиционно активно, а женское — лишь принимающая сторона.

И мужское же начало, настигая цель, одухотворяет женщину, наполняя ее своими смыслами. Поднимая ее до сакральных высот, вдыхая в нее Бога, всю мощь своих

счастливых открытий и откровений, приобретенных в горьком и сладком постижении бытия.

При этом в романе — поразительное, волшебное и даже таинственное сочетание вышеописанного смысла повествования и собственно сюжета.

Сюжет не просто земной, а очень земной. Даже слегка заземленный. Суть его в том, что наш герой, конечно же, встречает свою Великую Любовь.

Но.

Герой наш... слегка, как говорится, женат. Да и новая его избранница, совсем еще молоденькая девушка, имеет молодого человека.

Наш герой, изрядно, между прочим, потертый жизнью... пасует. Любовь-то он, к счастью, нашел, но — к несчастью — тут же от нее и отказался. Из всяческих благородных, разумеется, резоннов: не буду тебе ломать жизнь, ты такая-сякая молодая, у тебя вот и паренек под стать, а я, типа, старый хрыч — ну и тому подобные доводы среднестатистической морали, которой ведь наплевать на Великую любовь!

А то, что любовь такова — герой наш вскоре и понимает. Он уже и не может без своей Малинки! И пошел второй виток героического эпоса — победоносное вторичное завоевание малодушно уступленной другому Великой любви.

Между тем не прошло время даром и для нашей героини.

Она, послушавшись нашего героя, таки вышла замуж за своего почти уже бывшего молодого человека и быстро родила ему первого ребенка. При этом не прервала связи с нашим благородным Ферамоном. Настолько тесной, что, когда родился второй ребенок, Ферамон какое-то время пребывал в уверенности, что он от него.

Героиня наша при всем том еще и пела в церковном хоре. А также ходила в местный ДК, где совершенствовала свое певческое искусство под руководством некоего господина, с которым также... Так же... как с мужем и Ферамоном. Вот какая интересная и насыщенная жизнь была у нашей Малинки. Ничуть не беднее, чем у самого Ферамона, столь опрометчиво выпустившего из рук свою Великую любовь на первом витке большого странствия.

Финал этой захватывающей истории хорош: «очарованный странник» Ферамон вырвал свою Малинку из лап двух мужиков и увез ее с чужими детьми в свой дом. К своему холодному очагу. Великая любовь победила все, даже простила те некоторые щекотливые моменты, которые кого-то, возможно, и смутили бы, не будь этой любви.

Такова сюжетная канва романа В. Карпова «Малинка». Основная канва. В романе немало интересных сюжетных отвлечений («Алтай»), встреча со слепой девушкой и т. д.), но о главном я сказал.

А теперь о самом главном.

Я имею в виду особый дар, умение Владимира Карпова почти внезапно впадать в транс вдохновения. Способность видеть предмет или явление сразу в нескольких измерениях. За его спиной — вдруг — разворачивается парус, и автор взлетает от какого-нибудь вполне себе бытового, земного факта ввысь, на самый гребень больших смыслов и обобщений. И повествование обретает неожиданно онтологическую глубину, духовный объем, пафос.

Вспомним, например, как воспаряет автор, описывая (может быть, впервые в нашей литературе) сам физиологиче-

ский процесс зачатия новой жизни на клеточном еще уровне. Ведь ему удастся описать это как великое приключение во временах и пространствах, от поколения к поколению переходящую эстафету самой жизни человечества!

Эта удивительная способность В. Карпова была заметна и в его первых работах. В повести «Вилась веревочка», в рассказах «Юркин журавль», «Ермолаев, встаньте по диагонали!», в «Хали-гали под саксофон», в повести «Двое на голой земле» и бесподобном, любимом моем рассказе «Я могу хоть в валенке дышать!». А в романе «Танец единения душ», где речь шла о разведчиках и добытчиках якутских алмазов, эта способность явлена во всей полноте.

В романе «Малинка» автор, помимо «любовных страданий», трезво и жестко описывает современную Россию, по которой герой его катается из конца в конец в своем французском авто. Не тарантас Гоголя, не «жигули» В. Аксенова, конечно, но в чем-то — продолжение традиции «больших путешествий». Любовный сюжет созревает у Карпова на трагическом фоне растерзанной, униженной, преданной России. С заброшенными полями, разрушающимися заводами, фермами, фабриками, опустевшими деревнями и... так же страшно, опасно опустошенными и потерянными людьми.

Но в центре повествования — человек, наделенный необыкновенно мощным мужским началом. Осознав цель, он идет к ней, преодолевая препятствия без колебаний и сомнений. Он уверен: мужчина приходит в этот мир за женщиной, а женщина приходит в этот мир за ребенком. И потому, настигнув, завоевав, вырвав из слабых рук свою сильную, как и он сам, женщину, герой наш принимает безоговорочно и ее детей, потому что прозревает в них воплощение ее великой миссии. Вот — любовь!

Так, может быть, перед нами — роман о герое, воплощающем в себе самую настоящую национальную идею? Сильный мужчина — во времена стремительного и катастрофического вырождения мужского начала. На «розово-голубом» закате Европы. В синюшной от пьянства России...

Это мужское начало в прозе В. Карпова было изначально. И сейчас, в этом его первом романе о любви, оно проявилось во всей своей мощи.

*Владимир КУНИЦЫН*

## АВТОРЫ НОМЕРА

**Атаманов Геннадий Иванович** родился в 1950 г. в городе Бийске. Член Союза журналистов России. В «Сибирских огнях» публикуется впервые. Живет в Санкт-Петербурге.

**Веселова Нина Павловна** родилась в 1950 г. в Ленинграде. Журналист, поэт, прозаик. Работала в Вологде журналистом, писала статьи, сценарии. Публикации: роман «Годовые кольца», сценарии фильмов, стихи, пьесы. Член Союза российских писателей с 1997 г. Живет в Костромской области.

**Ковалев Василий Андреевич** родился в 1978 г. Поэт, критик. Публиковался в журналах «Звезда», «Нева», «Новый мир» и др. Автор поэтических книг «Форма жизни» (2002), «Другими словами» (2006), «В свете сказанного» (2011). Живет в Санкт-Петербурге.

**Косарев Михаил Алексеевич** родился в 1961 году в Новосибирске. Окончил факультет журналистики Томского государственного университета. Литературно-критические статьи публиковались в журналах «Литературное обозрение», «Сибирские огни». Живет в Новосибирске.

**Кручинин Сергей Иванович** родился в 1939 году в г. Ивантеевка. Окончил новосибирскую консерваторию, 41 год работал в академическом симфоническом оркестре филармонии, возглавляемом Арнольдом Кацем. Писал сценарии для «Новосибирсктеелефильма» и для московской студии «Центрнаучфильм», издал несколько повестей и рассказов. Живет в Новосибирске, член Союза писателей России.

**Куницын Владимир Георгиевич** родился в 1948 г. в Тамбове. Окончил философский факультет МГУ и аспирантуру МГУ по кафедре эстетики. Автор множества статей, рецензий и трех книг. Работал на «Мосфильме», во ВНИИ теории и истории кино. Был литературным консультантом журнала «Литературная учёба», обозревателем «Литературной газеты», заместителем главного редактора журнала «Советская литература». Член Союза писателей России.

**Лаптева Татьяна Александровна** — музыковед, композитор, музыкальный критик. Автор вокальных, инструментальных, хоровых произведений, опубликованных и исполненных в разные годы. Дипломант международных и всероссийских музыкальных и театральных конкурсов. Член Союза композиторов России. Живет в Пскове.

**Матвеева Марина** родилась в 1979 году. Поэт, прозаик, критик, журналист, культуртрегер. Автор нескольких поэтических книг. Публиковалась в изданиях Украины, России, США, Канады, Германии и пр. Редактор отдела поэзии журнала «Брега Тавриды» (Крым). Культурный обозреватель и публицист информационного портала «Крымское эхо», крымских изданий, сетевых литературных журналов. Живет в Симферополе.

**Моряков Пётр Фадеевич** родился в 1914 году в селе Улановка Томского уезда. Окончил среднюю школу, учился на литературном факультете Томского педагогического института. В годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом. В мирное время работал корреспондентом областного радио в Новосибирске. Автор нескольких поэтических сборников. Член Союза писателей России. Живет в Новосибирске.

**Чванов Михаил Андреевич** родился в 1944 году в деревне Старо-Михайловка Салаватского района Башкирии. Окончил филологический факультет Башкирского государственного университета. Автор более 20 книг прозы и публицистики. Награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени, орденом Почета. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Уфы, вице-президент Международного фонда славянской письменности и культуры, президент Аксаковского фонда, директор уфимского Мемориального дома-музея Сергея Аксакова, лауреат Большой литературной премии России, премий имени Константина Симонова и Сергея Аксакова.